О книге

Книга подготовлена пользователями библиотеки . Читайте или скачивайте эту и другие книги на сайте библиотеки бесплатно и без регистрации.

Адрес публикации:

.

АНРИ ТРУАЙЯ

Рассказы «Лабирінт», 1996

М. Венгреновская, перевод

1996

Содержание

Господин Цитрин. . . . . .

4 Руки . . . . . .

33 Возвращение из Версаля . . . . . .

41 Колдовство . . . . . .

51 Истина . . . . . .

60 Недоразумение . . . . . .

70 Удивительное приключение мистера Бредборо . . . . . .

77 Фальшивый мрамор . . . . . .

83 Подопытные кролики . . . . . .

88 Тандем . . . . . .

101 Суд Божий . . . . . .

106 Столик для верчения . . . . . .

140 Умопомрачение . . . . . .

151 Ошибка . . . . . .

155 Филантроп . . . . . .

161 Дама в черном . . . . . .

173 Прибой . . . . . .

182 Портрет . . . . . .

190 Сын Неба . . . . . .

Господин Цитрин

Глава I

Упираясь руками в полусогнутые колени и оттопыривая зад, профессор Оврей-Пелиссак наклоняется перед дверью и заглядывает в замочную скважину.

– Сколько их? – спрашивает господин Цитрин.

– Семь или восемь. Есть далее несколько женщин, хотя в объявлении было специально оговорено, что требуется только юноша без специального образования. Очевидно, они надеются, что лучше всего будут отвечать второму требованию и вы забудете о первом! Хотите взглянуть?

– Нет, нет, – возражает господин Цитрин.

Но он тоже наклоняется, отодвигает пальцем язычок замка и заглядывает в скважину.

Сначала он видит мужчину, сидящего лицом к окну. Немного передвинувшись, он видит второго, а затем третьего. Господин Цитрин внимательно их рассматривает: один вытаскивает из кармана билетик метро и начинает чистить ногти, но вдруг, спохватившись, что вытащил совершенно чистый билетик, спешно прячет картонный прямоугольничек в карман жилета.

Второй беспокойно ощупывает пуговицы на ширинке, проверяя, застегнуты ли они. Какой-то нахал встает, причем сидение с грохотом откидывается, берет со стола газету, разворачивает ее с возмутительной непринужденностью, вроде у себя дома, или в гостях у друга, или в приемной явно безобидного зубного врача.

Господин Цитрин выпрямляется и отступает от двери, зардевшись от стыда, будто только что подсмотрел чужой секрет. Ему противна мысль о том, что он должен принять этих ничтожных представителей человеческого рода, расспросить их, оценить и отослать, как отсылают портному испорченный костюм. Он уже сожалеет, что оторвал этих незнакомых людей от их повседневных занятий или развлечений. Господин Цитрин сердится на Оврей-Пелиссака, который склонил его к этому, и на себя самого за то, что дал себя уговорить.

– Я никогда не сумею с ними говорить, – жалуется он.

Оврей-Пелиссак качает своей красивой большой головой немного неуравновешенного психиатра со смуглым от загара лицом, обрамленным седыми кудрями, и ярко-голубыми глазами.

– Не бойтесь, – успокаивает он, – я сам их опрошу. Вы только будете сидеть за столом и время от времени качать головой в знак согласия. Вот так. Сделайте многозначительный вид. Наклоните голову, возьмите авторучку, пододвиньте блокнот, чтобы его было видно. . . Хорошо. . . Я начинаю. . .

Он направляется к двери и широко ее распахивает:

– Кто первый?

Первый кандидат заходит в комнату. Это седенький старичок, худенький, сухонький, с морщинистым лицом, розовыми прозрачными ушами и глазами цвета мокрицы. Он останавливается. Прижимает к животу шляпу, как неумелый актер, играющий стыдливого героя.

Оврей-Пелиссак стоит спиной к окну, как это принято среди роковых женщин и следователей, которые, сами оставаясь в тени, стараются, чтобы свет падал на лицо собеседника.

– Садитесь, – приглашает он.

И вдруг подходит ближе к бедняге, кладет руку ему на плечо и, пристально вглядываясь в глаза, быстро говорит:

– Господин Цитрин держит свое белье на полках в чуланчике, свои костюмы – в шкафу, обувь – в деревянном ящике в передней, записную книжку с адресами хранит в левом ящике письменного стола, а почтовую бумагу – в правом ящике. Где господин Цитрин хранит свою записную книжку с адресами?

– Я. . . я не знаю, – пролепетал старичок.

– Я вам только что сказал.

– Извините. . .

– У вас, очевидно, туговато с памятью?

– В моем возрасте. . .

– А как у вас со слухом?

– Что греха таить. . .

– А может, вы невнимательно слушали?

– Возможно. . .

Оврей-Пелиссак рассматривает его с жестоким спокойствием.

– Плохо, плохо, – говорит он, – Память, слух, внимание. . . Спасибо, милейший. Если нам понадобятся ваши услуги, мы вам сообщим письменно.

Когда дверь за старичком закрывается, господин Цитрин вскакивает с кресла. Он совершенно раскис и плаксивым голосом просит:

– Хватит, хватит! Эта комедия ужасна! Мне жаль, что я вас послушал! Отпустите этих людей! Уходите и вы вместе с ними. Мне никого не нужно, оставьте меня в покое!

Оврей-Пелиссак дует на ногти и протирает их бортом пиджака с таким видом, будто вотвот рассмеется. Наконец он отвечает:

– Займите свое место. Я вызываю следующего кандидата.

И господин Цитрин снова послушно занимает свое место в кресле и склоняется над столом.

Он слышит, как поворачивается ручка, открывается дверь и кто-то идет по паркету, поскрипывая подошвами.

Новый кандидат – юноша среднего роста, с суховатым продолговатым лицом, черными, гладко причесанными волосами и карими глазами, спрятанными за стеклами очков в черепаховой оправе. На нем темный костюм. Из внешнего кармана пиджака торчит карандаш с резинкой на конце и шариковая ручка.

– Присаживайтесь, – приглашает Оврей-Пелиссак.

Юноша садится, не закидывая при этом ногу на ногу, и улыбается искренне и уверенно.

Господин Цитрин уже понял, что это умный, энергичный, воспитанный парень. Он ловит себя на желании, чтобы Оврей-Пелиссак не очень придирался к юноше.

Но Оврей-Пелиссак уже повернулся спиной к окну. Он выпячивает нижнюю губу под щеточкой усов и собирается говорить. Он уже говорит:

– Господин Цитрин держит свое белье на полках в чулане, свои костюмы – в шкафу, обувь – в деревянном ящике в прихожей, записную книжку с адресами хранит в левом ящике письменного стола, а почтовую бумагу – в правом ящике. Где господин Цитрин хранит свою записную книжку с адресами?

Какой ужасный вопрос! В комнате наступает тишина. Господин Цитрин готов подсказать ответ юноше, который не знает, что сказать, но тот даже не смотрит в его сторону. Он думает.

А потом просто отвечает:

– Я не понимаю. . . Вы же сами только что сказали, что господин Цитрин хранит свою записную книжку с адресами в левом ящике.

Зажмурив глаза, господин Цитрин наслаждается охватившим его чувством облегчения. Но бас Оврей-Пелиссака уже угрожающе бубнит:

– Правильно. Перейдем к следующему. Не могли бы вы мне сейчас описать, что делал господин Цитрин с той минуты, как вы вошли в комнату?

Юноша удивленно молчит, широко раскрыв глаза, улыбка застыла на его лице. Господина Цитрина возмущает эта новая ловушка. Он елозит в кресле, скрещивает руки на груди, снова кладет их на стол, закидывает голову назад и нервно покашливает.

– Когда я переступил порог, – наконец начинает юноша, – господин Цитрин делал вид, будто что-то пишет в блокноте, лежащем перед ним. Он поднял голову. Оттолкнул блокнот.

Когда я шел от двери, он снял очки и потер указательным пальцем переносицу, на которой остались два красных полумесяца от оправы.

Господин Цитрин победоносно взглянул на профессора.

– Продолжайте, – сказал непоколебимый Оврей-Пелиссак.

– Потом господин Цитрин долго чесал голову, а затем одним щелчком выбил перхоть из-под ногтя. . .

Господин Цитрин, покраснев, перебивает его:

– Хорошо, хорошо. . .

И повернувшись к Оврей-Пелиссаку, говорит:

– Думаю, дальше продолжать не стоит.

Оврей-Пелиссак, что-то записывающий в блокнот, бросает коротко:

– Рассказывайте дальше.

– Затем, когда вы задали мне первый вопрос, господин Цитрин подмигнул в сторону ящика, в котором, по его мнению, лежала записная книжка с адресами. Но он ошибся, потому что подмигнул правым глазом, в то время как вы сказали, что записная книжка должна лежать в левом ящике. Но, возможно, вы сами забыли, с какой стороны он хранит записную книжку, и тогда. . .

– Довольно! – останавливает его Оврей-Пелиссак. – Эти ответы меня удовлетворяют. Я считаю, что вы справитесь с работой, которую мы вам дадим.

Наступает молчание, в котором вдруг отчетливо слышится разговор нетерпеливых посетителей в прихожей и шум соседней улицы. Оврей-Пелиссак с непроницаемым лицом, заложив руки за спину, меряет шагами комнату. Господин Цитрин сложенным вчетверо носовым платком утирает с лица пот. Наконец юноша не выдерживает:

– Не могли бы вы мне объяснить, для какой работы меня нанимают?

Круглолицый господин Цитрин вспыхивает как рак. Оврей-Пелиссак останавливается, задиристо встряхивает головой, засовывает большие пальцы рук в проймы жилета и говорит медленно, как человек, собирающийся очень долго развивать беспокоящую его мысль:

– Так вот: недавно господин Цитрин серьезно пострадал в автомобильной катастрофе.

Он получил такое сотрясение мозга, что почти утратил память. Случилось это в Меце, где господин Цитрин жил до недавнего времени. Я случайно попал в этот город. По совету друзей господин Цитрин обратился ко мне за консультацией. Я никого не принимал, но для него сделал исключение. Я осмотрел его и обещал вылечить при условии, что он согласится на некоторое время переехать в Париж, куда я должен был вскоре вернуться. Он согласился и за те два месяца, в течение которых я его лечу, состояние больного, по моему мнению, значительно улучшилось. Речь идет уже не о полной амнезии. . . Но у господина Цитрина еще случаются провалы в памяти, то есть он иногда не может припомнить то или иное, 7 Анри Труайя Господин Цитрин значительное или незначительное событие дня. . . Он жалуется, что не может восстановить в мыслях стройную последовательность воспоминаний, наполняющих жизнь, делающих ее целеустремленной. Вы понимаете?

– Конечно. Но пока не могу понять, в чем будет заключаться моя работа. . .

Сердце господина Цитрина бьется так часто, что он наполеоновским жестом засовывает руку под жилет и пытается глубоко дышать.

Профессор пододвигает стул и садится рядом с юношей.

– Я подумал, что хорошо было бы нанять для моего пациента, чтобы он смог избавиться от провалов в памяти и неуверенности в себе, какого-нибудь молодого человека, энергичного, наблюдательного, который ходил бы за ним повсюду и вечером самым подробным образом отчитывался бы о том, что господин Цитрин делал в течение дня. Таким образом, нашему больному будет казаться, что он вполне здоров, он сможет наконец избавиться от чувства беспокойства и неполноценности, которые тормозят сейчас полное выздоровление. Вы будете получать две тысячи франков в месяц, вас обеспечат жильем, бельем, питанием. . .

Господин Цитрин больше не может слушать. Он умирает от стыда.

– Итак, вы согласны?

Господин Цитрин затаил дыхание. Молчание, кажется, длится вечность. И вдруг юноша говорит:

– Да, согласен, – голос его звучит спокойно.

Господин Цитрин поворачивает голову. Он видит лицо юноши, на котором нельзя прочесть ни насмешки, ни удивления, одно лишь сосредоточенное внимание. Господина Цитрина охватывает

слабая радость выздоравливающего человека. Как все просто и легко! Юноша не удивляется и не смеется над ним! Он его понимает! А может быть, даже жалеет! Будто сквозь сон он слышит, как доктор Оврей-Пелиссак излагает практическую сторону дела, а юноша кивает головой:

– Вы будете жить в этом доме, в комнате, смежной с комнатой господина Цитрина. Ваша работа будет заключаться в том, что вы повсюду будете следовать за ним, но на определенном расстоянии, так, чтобы он вас не видел. Должен вам сказать, что господин Цитрин очень близорук и это значительно облегчит ваше задание. Вечером вы будете составлять отчет о том, что господин Цитрин делал в течение дня, и будете читать его господину Цитрину перед тем, как вручить. Не скрою, что работа будет требовать от вас большой наблюдательности, безупречной честности, и надеюсь. . .

Речь течет быстро, мягко, мелодично. Тихо спускаются сумерки, и чужой парень уже кажется не таким и чужим. Господину Цитрину представляется, что они знакомы давно, но расставались на какое-то время, а теперь снова встретились через много лет. Это ощущение давнего знакомства ему очень приятно, хотя он хорошо знает, что оно ошибочно. ОврейПелиссак встает:

– Мне остается только спросить, как вас зовут.

– Жан Пиге.

Глава II

До несчастного случая господин Цитрин жил в Меце, на тихой улочке, в розовом кирпичном доме, стоявшем посреди цветущего садика.

Он был холост, жил на ренту и умел разумно организовать досуг. Утром он копался в садике или мастерил мух для наживки. Делал он их из гороха, крылышки из кусочков целлофана, а лапки из лески. Он мог также часами раскладывать, клеить, отклеивать и переклеивать многочисленные марки своей коллекции. После обеда он отдыхал до пяти часов, давая желудку возможность спокойно переварить еду. К нему часто заходили друзья. У господина Цитрина было немало друзей. Его отзывчивость, добродушный юмор, беззаботность, искренняя приветливость привлекали людей. Гостей он обычно принимал, сидя среди подушек в глубоком кресле, с двух сторон обставленном маленькими столиками, на одном из которых стояли прохладительные напитки, а на втором – соленые сухарики для возбуждения жажды.

Старуха Марта, экономка господина Цитрина, не успевала проводить вас в гостиную, а уже сам хозяин торопился навстречу с раскрытыми объятиями и доброй улыбкой.

«Неужели это вы? Вы?» – приговаривал он, одновременно радуясь и как бы удивляясь, даже тогда, когда он точно знал, что вы должны прийти в определенное время. Он немедленно увлекал вас к стулу, который располагал против своего, и со сладостной растроганностью смотрел, как вы усаживаетесь, приговаривая: «Вот так! Вот так!..» – будто каждое ваше движение приносило ему особенное удовлетворение. Затем он расспрашивал о вашем здоровье, о ваших делах и упрашивал попробовать какой-нибудь напиток или пирожное, чтобы подкрепиться, неизвестно после чего.

– Я знаю, что вы любите, – говорил он, – вы попробуете вот это, это и это, а выпьете вот это!

Если гость отказывался, он кричал:

– Марта! Нашему гостю больше не нравятся ни ваши пирожки, ни ананасовый сок!

Гость, смеясь, возражал, а господин Цитрин, тоже посмеиваясь, потирал руки, покачивая головой, и повторял:

– Ни пирожки! Ни ананасовый сок! Ничего не понимаю. Но, может, выпьете хоть немного апельсинового напитка?

Гость наконец давал себя уговорить, и господин Цитрин радостно подмигивал и приговаривал:

– Постойте! Постойте! Постойте! А я уже решил, что вы не голодны! И не хотите пить!

Когда гость уже угощался, господин Цитрин заводил с ним медленный разговор на какуюто общую тему, например, о будущем сельского хозяйства во Франции, либо о влиянии пейзажа на характер человека, либо о том, как было бы хорошо построить «деревню братства», где все друзья господина Цитрина жили бы каждый в собственном маленьком домике.

Он говорил, зажмурив глаза, время от времени быстро облизывая губы так, будто ктото нарочно намазал их медом. Эта мимика и эти разговоры, которые постороннему могли бы показаться странными, были у господина Цитрина проявлением искренней радости. Он всегда радовался каждому гостю, независимо от того, кто приходил. Каждый раз его удивляло и приятно поражало,

будто незаслуженная им награда, то, что кто-то, кто бы он ни был, побеспокоился, зайдя к нему. Правду говоря, ему нравилось быть всеобщим любимцем. Это чувство могло бы перерасти в манию, если бы господин Цитрин не жил в таком благоприятном окружении. Поэтому после несчастного случая его удручала далее не так потеря памяти, как 9 Анри Труайя Господин Цитрин то, что ему придется уехать из города, в котором все знали и уважали его, туда, где никому не будет до него дела. Он так, наверное, и не решился бы на эту поездку, если бы не уговоры друзей, угрозы Оврей-Пелиссака и твердое обещание, что старуха Марта поедет вместе с ним.

Вот уже два месяца он в Париже, а до сих пор жалеет, что дал себя уговорить. Но впрочем, делалось все для того, чтобы он не замечал неудобств, связанных с таким неуместным изменением в его жизни. Хотя он и нанял в Нейи полностью меблированную квартиру, старуха Марта сделала так, чтобы оформление комнат напоминало ему их домик в Меце. Особенно она позаботилась о письменном столе, за которым господин Цитрин долго и охотно сидел.

Если бы не серая стена соседнего каменного здания, которая затеняла окно, можно было подумать, что это их гостиная в Меце, где господин Цитрин угощал когда-то своих многочисленных друзей. Заботливая служанка привезла с собой даже коллекцию настенных часов, которой ее хозяин особенно гордился. Часы эти имели круглые, продолговатые, звездчатые, раскрашенные и покрытые странными отверстиями циферблаты, тикали, звонили и мелодично били, когда им вздумается, под колпаками из гладкого стекла. После сытного обеда господин Цитрин, как и когда-то в Меце, засыпал в кресле под их тихую музыку. Но каким грустным и невыносимым было пробуждение! Комната, в которой так быстро наступают сумерки. Тишина, в которой едва слышно тикают часы, и когда по улице проезжает грузовой автомобиль, изредка зазвенит хрустальная подвеска люстры, или задрожит оконное стекло, один-единственный стакан на столике, одна-единственная тарелка. Господин Цитрин никак не может забыть, что он одинок в этом городе и никому не нужен.

Он поднимается, съедает три пирожка, выпивает стакан ананасового сока, просматривает газету, подходит к окну, смотрит на улицу, по которой мягко катят машины, и в изнеможении вновь опускается в кресло. Сегодня никто к нему не придет. Даже Оврей-Пелиссак навещает его по вторникам и пятницам, затрачивая на осмотр не более получаса. Отчаявшись, господин Цитрин приказывал принести свою коллекцию марок и, медленно листая страница альбомов, долго ее рассматривал. Вот так он листал альбом, кончиком ногтя поправляя марки, высунувшиеся из ячеек, и ему становилось противно от того, что он плотно пообедал, что он сидит вместо того, чтобы двигаться, что к нему никто не пришел и ему не на что надеяться.

Прожив в одиночестве месяц, господин Цитрин впал в глубокую депрессию, близкую к неврастении. Поэтому он очень обрадовался, когда Оврей-Пелиссак предложил ему нанять кого-нибудь, кто мог бы повсюду его сопровождать.

Жан Пиге должен был приступить к работе на следующий день. Целый вечер они с Мартой готовили комнату для молодого человека. Пока Марта взбивала перину, застилала бумагой полочки в шкафу и протирала мебель, господин Цитрин больше заботился о необходимых мелочах, без которых невозможен уют. Он налил чернил в чернильницу, очинил карандаши и разложил их слева и справа от бювара, поменял перочистки. . .

– Зря вы так стараетесь для какого-то чужака! – ворчала Марта. – Я совсем не против, чтобы кто-то пожил у нас день-два, – пускай себе, но не дольше – избави Бог! Да еще пускать совершенно незнакомого человека! Конечно, вы скажете, что у него вид порядочного человека!

Ну как же! Видала я таких порядочных, моя сестра сдавала одному комнату. . .

Господин Цитрин слушал ее разглагольствования со снисходительным видом. Впервые за много лет ему было безразлично мнение Марты.

Глава III Господин Цитрин медленно гулял по Булонскому лесу. Время от времени он останавливался, чтобы полюбоваться стволом какого-нибудь дерева или зеленой лужайкой, и быстрым взглядом окидывал ближайшие окрестности. Но он был слишком близорук, чтобы заметить кого-нибудь на значительном расстоянии, и поэтому уже во время этой первой прогулки Жан Пиге искусно следил за ним, находясь достаточно близко. Только один раз господину Цитрину показалось, будто он заметил тонкую фигуру юноши. Да и то он не был уверен, его ли это компаньон стоял на повороте аллеи и утирал пот со лба носовым платком размером с салфетку.

Эта игра в прятки весьма развлекала господина Цитрина. Он прибегал к хитрости, возвращался назад, петлял, переходил напрямик по лужайке, чтобы снова вернуться на то место, где только что стоял. Он запыхался, вспотел, но весело посвистывал, словно мальчишка. Хотя под конец прогулки господин Цитрин опомнился: конечно, он вел себя просто возмутительно.

Он должен был бы вести себя непринужденно, будто никто вовсе и не следит за ним. А он еще и развлекается, усложняя парню и без того хлопотное дело. Хватит, он не будет больше оглядываться.

Ему было нелегко выполнить это намерение. Ощущение, что за ним следят, а он не может ответить тем же, надоедало ему, как зуд. Его раздражало чужое неотступное присутствие, цепкий взгляд, впивавшийся ему в спину. Иногда господину Цитрину казалось, будто расстояние между ним и Жаном Пиге начинает сокращаться и юноша дышит ему прямо в затылок. Иногда, наоборот, он вроде неожиданно отдалялся. Он оставался в одиночестве.

Но вот юноша догонял его, и господин Цитрин снова оказывался в поле его внимания.

Он уже выходил на проспект Нейи, когда сообразил, что и на этот раз забыл все, что делал после обеда. Он почувствовал внутри гнетущую пустоту, ничем не связанную с утренними воспоминаниями или теперешней минутой. Такое случалось с ним часто, поэтому он не растерялся. Он только каждый раз начинал сердиться на себя и на других. Плохое настроение и болезненная неуверенность в себе портили весь день. Как обычно, он приказал себе успокоиться и попробовал выудить в этой пустоте какую-нибудь деталь – очертание, цвет, звук, – которая позволила бы ему припомнить и другие утерянные образы. Но ум не находил ни малейшей зацепки. Судорожно пытаясь поймать в этой бездне хоть какой-то успокоительный образ, он быстро утомлялся.

Сейчас же господин Цитрин решил, что не стоит мучиться, так как сегодня же вечером Жан Пиге, который ходил целый день за ним по пятам, перескажет все, что он делал после обеда. Эта мысль его радостно ошеломила. Впервые он понял, как дорог ему этот свидетель, запоминающий каждое его движение. Ощущение уверенности и безопасности согрело его, как глоток хорошего вина. Ведь память ему не изменила: она следовала за ним, всего в нескольких шагах позади, послушная, умная, услужливая, стоило ее только окликнуть, чтобы она бросилась его успокаивать. Ему захотелось поскорее вернуться домой и послушать дневной отчет Жана Пиге. Он ускорил шаг.

Не прошло и пяти минут после того, как господин Цитрин вернулся с прогулки, а Жан Пиге уже звонил в дверь. Юноша быстро юркнул в свою комнату, чтобы сразу же сесть за отчет. Вышел он только перед ужином. Ужинали они вдвоем. Пока ели, господин Цитрин воздерживался от каких бы то ни было вопросов. Потом они перешли в кабинет.

Господин Цитрин расположился в кресле и предложил юноше садиться, но тот отказался.

– Я привык разговаривать стоя, мсье.

Анри Труайя Господин Цитрин – Как вам угодно.

Жан Пиге оперся локтем о камин. В комнате горела только одна настольная лампа, освещая его снизу, будто огни театральной рампы. От этого лицо Жана Пиге приобрело какой-то благодушно-дьявольский вид: тени от ресниц удлинились до самых висков, глаза ввалились, рот запал. Он сунул руку в карман и вытащил целую пачку бумаг, исписанных чернилами.

– Семнадцатое марта, – начал он.

Он говорил так тихо, что господину Цитрину пришлось несколько раз просить его говорить погромче. Жан Пиге сначала описал утро, которое господин Цитрин провел в этой самой комнате, разбирая марки и читая газеты. Но. господин Цитрин и сам хорошо помнил эту часть дня. Его терпение лопнуло от подробного изложения того, что сохранила его память. Ему хотелось, чтобы юноша быстрее перешел к послеобеденному времени, которое он бесповоротно забыл.

– После обеда. . .

– После обеда?.. – переспросил господин Цитрин.

– . . . Вы вышли из дома в три часа. Вы направились по Церковной улице и Мадридскому проспекту к Булонскому лесу. По дороге вы остановились перед витриной, в которой были выставлены мужские рубашки, и зашли в магазин справиться об их цене.

Это господин Цитрин также помнил. Но вот уже будто кто-то сжал рукой его сердце, предупреждая, что он должен слушать с удвоенным вниманием. Хотя он и в этот раз припомнил то, о чем рассказывал юноша, но уже предчувствовал пустоту. И действительно, события следовали одно за другим, но вдруг он перестал узнавать себя в мужчине, о чьих действиях ему рассказывали. Аллеи Булонского леса. Остановка перед спортивной площадкой, на которой лицеисты играли в футбол. Вход в замок Багатель. . . Он следил за своими действиями с той же обеспокоенностью, с какой следят за лунатиком, прогуливающимся по краю крыши. Он опасался услышать среди потока этих пустых констатации что-то неприятное, что-то такое, что нарушит его спокойствие. И, затаив дыхание, он задавался вопросом, долго ли будут еще длиться эти воспоминания, которых он не припомнит, и какими еще боковыми тропинками юноша приведет его наконец к тем событиям, которые сохранила его память.

– Затем той же дорогой вы вернулись домой. Мадридский проспект. Проспект Нейи. Церковная улица. . .

Церковная улица! Как утопающий, хватающийся за соломинку, господин Цитрин пытался припомнить, как выглядит эта улица.

Серые стены домов, небольшое кафе на улице, мальчик, бежавший с опущенной головой и чуть не сбивший его с ног. Картинки эти победоносно всплывали в его сознании. И он был благодарен им за то, что они не изменили ему, как другие.

Жан Пиге замолчал, собрал бумаги и положил их на стол. Но господин Цитрин продолжал прислушиваться где-то в глубине своего естества к его неспешному рассказу о сегодняшнем дне. Забытые послеобеденные события еще не полностью принадлежали ему, они еще не стали такими теплыми и личными, как другие воспоминания, они еще не сжились с тем изменчивым потоком, в котором должны были бы растворитьcя; но с каждым ударом сердца они становились роднее. И по мере того как господин Цитрин сживался с этими новыми образами, его охватывало ощущение какого-то физического умиротворения. Вдруг он подумал, что за свою радость он должен быть благодарен этому серьезному и сдержанному юноше, которого нанял. Эта мысль весьма его разволновала. Но он не знал, как выразить свою благодарность. Господин Цитрин встал.

– Вы – молодец, – сказал он.

– Я выполняю свою работу, мсье, – скромно ответил юноша.

Анри Труайя Господин Цитрин Эти холодные слова опечалили господина Цитрина, которому хотелось услышать более сердечный ответ на свой порыв благодарности.

Он повторил со слезами на глазах:

– Славный, славный юноша. . .

Жан Пиге слегка поклонился, и господин Цитрин понял, что он собирается уйти. Его вдруг охватило непреодолимое желание удержать юношу. Господин Цитрин так долго был лишен чьей бы то ни было привязанности, что он, изголодавшийся, ухватился за возможность завести новую дружбу. Он сказал:

– Великолепно, просто великолепно. . . Но я хотел бы знать. . . вы не устали за этот первый день работы?

– Нет, мсье.

– Я шел не слишком быстро? Я не. . .

– Никак нет, мсье.

– А. . . а. . . надеюсь, вам было не скучно?..

– Вы шутите, мсье.

Господину Цитрину стало неприятно при мысли, что он сам ищет благосклонности человека, который к этому совершенно не стремится: «Нет, мсье. . . Никак нет, мсье. . . Вы шутите, мсье. . . » Юноша прячется за этими неискренними словами, будто размахивая в воздухе невидимой палицей. Выпад вправо, выпад влево. Невозможно подойти. Жертвуя своим самолюбием, господин Цитрин решается заговорить снова:

– Вы не должны считать себя моим служащим. . . Мы должны жить вместе. . . ежедневно видеться. . . поддерживать друг друга. Надо бы. . . надо бы. . . я хочу, чтобы мы стали друзьями!

Каждый раз, когда господин Цитрин начинал высказывать свои чувства, он расчувствовался до слез, до дрожи в голосе, что весьма удивляло его собеседников. Но Жан Пиге застыл перед ним, как часовой: руки по швам, с неподвижным лицом.

– Я недавно думал: «Хотелось бы, чтобы мы с вами подружились. . . », но разве мы уже не подружились?

Он улыбался, прижмурив глаза, на щеках появились благодушные ямочки.

– Вы слишком добры, мсье, – сухо ответил Жан Пиге.

Господин Цитрин вздохнул, как боксер, прижатый к земле. Он почувствовал унижение и утомление от того, что зря набивался со своей дружбой. Он еще раз взглянул на это неприветливое лицо, тонкие губы, блестящие, как смола, неподвижные зрачки и сказал:

– Спасибо, больше мне ничего от вас не нужно.

Жан Пиге удалился, пожелав ему спокойной ночи.

Глава IV Чтобы завоевать благосклонность юноши, господин Цитрин прибегнул ко всем своим методам искушения. Каждый вечер, выслушав доклад, он заводил с Жаном Пиге разговоры, на первый взгляд совсем незначительные; но обязательно вставлял в них словцо о том, дескать, что они должны стать ближе друг другу. Он говорил, например:

– В первые дни вашей службы я и не подозревал, что у нас будет такое согласие, такое понимание. . .

И смотрел на него вопросительно. Но юноша отвечал:

– Вы слишком любезны, мсье. . .

Или же:

– Очень приятно. . .

Или еще:

– Стараюсь.

И этого было достаточно, чтобы господин Цитрин додумывал, что Жан Пиге не считает его любезным, что он недоволен им и что делает он все не наилучшим образом. Но господин Цитрин не собирался сдаваться и снова начинал по-отечески, вкрадчиво:

– Еще в Меце я мечтал поселить у себя приятеля. . . друга, с которым я бы не разлучался целый день, с утра до вечера. . . который был бы мне вроде брата. . . вроде второго «я». . . В то время я не надеялся, что мое намерение исполнится так быстро и полностью!

И сразу добавлял:

– Конечно, я ничего о вас не знаю. . . но и вы обо мне знаете не много. . .

На этом он делал небольшую паузу, чтобы юноша мог возразить. Но Жан Пиге не возражал. И господин Цитрин нехотя продолжал.

– Очевидно, это никак не помешает. . . В конце концов, я готов делиться с вами всем, что для вас будет полезным; и хорошо знаю, что и вы со своей стороны, когда бы я у вас спросил. . .

– Не сомневайтесь, мсье, – отвечал молодой человек таким холодным тоном, что господин Цитрин сразу сникал.

Конечно, каждый раз он говорил что-то другое, но кончались все эти разговоры все так же безнадежно. Поэтому господин Цитрин, устав от этих попыток завязать дружбу с юношей, попросил Марту рассказывать о нем все, что она выяснит. На следующий день господин Цитрин узнал, что, по сведениям консьержки, родители Жана Пиге живут в Бордо, ибо на адресованных ему письмах чаще всего стоит штемпель этого города, и что он учился на адвоката, так как Марта нашла в ящике его ночного столика Гражданский кодекс, и что денег у него мало, так как в ящике были также куски промокашки с нацарапанными на них записями о малейших расходах. Вот и все. Но самым неприятным было то, что эти сведения, которые весьма обрадовали бы господина Цитрина, если бы он услышал их от самого парня, так как свидетельствовали бы о полном его доверии, теперь, когда он получил их другим путем, его больше не интересовали. Он приказал Марте прекратить дальнейшие расспросы. Она согласилась на это с большим сожалением, жалуясь на неосмотрительность хозяев, пускающих в дом посторонних, в то время как газеты пестрят сообщениями об убийствах и кражах. И она сразу же исподтишка начала борьбу против юноши. Она подавала ему за столом подчеркнуто небрежно, отвечала сквозь зубы, не смотрела в его сторону и поворачивала разговор так, 14 Анри Труайя Господин Цитрин чтобы нигде не вставлять слово «господин», даже в тех немногих фразах, с которыми к нему обращалась. Господин Цитрин сделал ей замечание. На что она ответила:

– Он такой же слуга, как и я. У меня нет оснований называть его «господином».

– Это не так, – грустно возразил господин Цитрин, – он не слуга, Марта. . . Он. . . Он мне друг. . .

– А я думала, что вы ему платите деньги.

– Да, я ему плачу, но он мой друг. . . Прошу вас, относитесь к нему, как к моему другу. . .

Ничего не ответив, она вышла медленно и величественно, так, как идут со сцены раненые насмерть трагические актеры, чтобы где-то за кулисами отдать Богу душу. Но в тот же вечер она отомстила этому бездельнику омерзительно-слащавой услужливостью. Заглядывая поминутно в кабинет, где

Жан Пиге читал свой отчет, медово-любезным голосом она осведомлялась, не принести ли им ситро, или, может, нагреть грелкой их постель, или, если они любезно позволят, она может погладить им костюм. . . И каждый раз она пересыпала свои вопросы словом «господин», причем произносила это слово, потупив взор, с присвистом, как змея.

– Господин мне не сказали, любят ли господин, чтобы электрокамин оставался включенным в комнате господина. . .

Жан Пиге взирал на нее с удивлением, а господин Цитрин мучился и отводил взгляд, стараясь не покраснеть, от чего, конечно же, краснел еще больше.

Но, в конце концов, все это быстро надоело Марте, и она удовлетворилась тем, что с видом превосходства презрительно мерила взглядом противника.

Что касается господина Цитрина, он кое-как примирился с ледяной любезностью Жана Пиге. Не стоит быть слишком требовательным. Хотя бы потому, что присутствие этого постороннего, который решительно не желал идти на сближение, все же спасало господина Цитрина от одиночества. Кроме того, его состояние улучшалось с каждым днем. Провалы в памяти повторялись все реже и были менее значительны. Некоторые отчеты Жана Пиге не прибавляли ничего нового к тому, что он сам помнил. Ему очень нравилось переспрашивать юношу о некоторых деталях, уточнять либо благосклонно одобрять их.

– Да, да, я припоминаю. . . Читайте дальше. . .

Оврей-Пелиссак посещал господина Цитрина уже не так часто, и его предписания становились все мягче. Сначала он строго запрещал своему пациенту употреблять табак, острые блюда, вино, волноваться, ходить в гости. А сейчас он советовал развлекаться, если нравится, употреблять вино, много есть. Но господин Цитрин не решался воспользоваться этими послаблениями. Он опасался, как бы какой-нибудь мелочью не навредить долгожданному выздоровлению. Самое большее, что он себе иногда позволял – это пойти в кино и, возвращаясь домой, выпить рюмочку марочного коньяка или терновой настойки. А еще были, вслед за этими неосторожными поступками, долгие ночные часы самопроверки. Лежа неподвижно в кровати, вперив взгляд в оживающую темноту комнаты, господин Цитрин задавал себе «каверзные» вопросы о пережитом дне:

– Выйдя из дому, я повернул налево или направо? – спрашивал он себя глухим голосом.

Все затихало, будто перед лавиной. И снова глухим голосом он сам себе отвечал:

– Направо, направо. . . Я очень четко припоминаю афишу на стене возле банка и старуху, сидевшую на скамейке у автобусной остановки.

Снова молчание.

– Хорошо. . . А что я читал в газете?.. Я читал. . . вот что. . . да. . .

Он волновался, стучал себя кулаком по лбу, беспомощно откидывался на подушку, ужасаясь при мысли, что снова ничего не помнит. А затем бормотал:

– Да, припоминаю. . . Сначала я читал статью о перевооружении Германии. . . затем статью. . .

Проверка затягивалась до глубокой ночи. Господина Цитрина эти упражнения истощали, но он ужасно радовался. Утирал пот со лба, выпивал чашку холодной настойки или стакан минеральной воды и наконец звал сон. Но усталость долго не могла преодолеть возбуждения и окунуть его в мимолетные сны, имевшие преимущество перед всем, что он видел днем, так как бесследно забывались.

Глава V

Оврей-Пелиссак трясет руку господина Цитрина обеими руками:

– Вот и чудесно! Выздоровление наступило быстрее, чем я надеялся. Я рад, очень рад.

Загляните ко мне через несколько недель. Но уверен, что это будет исключительно дружеский визит. Ах да! Я и забыл! Вы можете рассчитать вашего молодого человека. . . Теперь он вам больше не нужен.

На улице господина Цитрина охватило радостное чувство победы. Он здоров! Это значит, что он такой же, как и все люди, встречавшиеся ему по дороге, такой же сильный, такой же свободный, как и они. Это значило, что он мог свободно смотреть на это серое небо с синими прорехами, которыми он сейчас любуется. Все принадлежит ему. И перед нескончаемыми богатствами, вдруг ставшими для него доступными, он не знал, на чем остановить взгляд.

Он остановился на аллее в парке Тюильри и сел. Брызги фонтана, взмывавшие в небо, превращались в пену, и ее уносил ветер. Ровно подстриженные газоны ласкали взор своей успокаивающе-мягкой, бархатистой зеленью. Дети с визгом носились вокруг серых статуй.

Подошла билетерша, взглянула на господина Цитрина и прошла мимо, на спросив, заплатил ли он за стул.

Господин Цитрин подозвал ее к себе:

– Я вам не заплатил за кресло. . .

– Заплатили, мсье.

– Да нет! Я бы помнил!

Она немного подумала и рассмеялась:

– Ну как же! Вы правы! Действительно, тот сухонький старичок, который сидел здесь до вас. . . Это он. . .

– Вот видите!

Он сиял. И с благодарностью наделил ее щедрыми чаевыми.

– Возьмите. . . возьмите. . .

«Ну вот, другие забывают, а я им напоминаю», – думал он. И гордо положил в портмоне билетик за кресло, будто получил от этой старушки входной билет в мир нормальных людей.

Время шло, он искал взглядом фигуру Жана Пиге, который, очевидно, спрятался за цоколем какой-нибудь скульптуры. Но не заметил ничего такого, что свидетельствовало бы о его присутствии. И вдруг подумал, что сегодня в последний раз будет слушать своего «наблюдателя», так как решил его уволить. Но вдруг странная грусть охватила его. Вся радость отступила перед этой мыслью. Попробовал себя уговорить: «Что это со мной? Не вижу причины для грусти. Ну ладно! Он уйдет. Но какое это будет иметь значение, если я буду помнить все и без его помощи? Нет, я веду себя как ребенок!..» Бесплодные усилия! Все, чему он недавно так радовался, утратило всякую привлекательность. Он представил себе одиночество, серость, ничтожество своего существования. Как он проживет день без уверенности, что Жан Пиге в тот же вечер перескажет дневные события? Этот ежедневный пересказ малейших его поступков создавал приятное впечатление того, что жизнь он не тратит даром, что она заполнена поступками, достойными пера историка. Как сладостно сознавать, что есть в мире человек, который занимается исключительно вашим поведением, настроением, здоровьем, который стушевывается ради вас, перевоплощается в вас до такой степени, что становится вашей памятью! Как не гордиться при мысли, что малейшая мелочь – то ли ты входишь в подъезд, то ли устраиваешься на террасе кафе, или переступаешь порог дома, или садишься отдохнуть, так как дрожат колени, – все замечено и зафиксировано как важное событие! Каждый миг существования господина Цитрина увеличивается в десятикратном размере. Каждая секунда становится значимой на своем месте, как последовательность звуков в песне. Ничто не теряется. Ничто не уходит в небытие. Ничто не должно забыться! Господина Цитрина все больше ужасала мысль, что придется отказаться от такого редкостного удовлетворения самолюбия. Он поймал себя на том, что уже не радуется своему выздоровлению так, как перед этим. Он порвал билетик, выданный ему билетершей. Встал. Смеркалось. Хотя по улицам проносились автомобили, в воздухе повисла тишина, как мелкая пыль. Господин Цитрин изнемог, разуверился и погрустнел до слез. Ему больше не хотелось ни идти, ни сидеть. «Вот так, дружок, после визита к Оврей-Пелиссаку профессор и я решили. . . Я был очень доволен вашими услугами. . . Надеюсь, что с вашей стороны. . . » Но он никогда не решится произнести эти пустые слова! Голос, мимика ему изменят! А потом ему невыносимо будет смотреть на пустую комнату рядом со своей комнатой, на пустую вешалку рядом со своей вешалкой, на тот край стола, где будет стоять только его тарелка. А одинокие вечера в звонкой тишине кабинета, где под стеклянными колпаками неудержимо будут тикать часы. . .

И здесь ему ударила в голову мысль, такая простая, что он даже остановился. А зачем ему увольнять Жана Пиге? Не нужно только говорить о своем выздоровлении. Таким образом юноша и дальше будет вести учет его ежедневного распорядка дня.

Господин Цитрин сел на стул и обхватил голову руками. Такое решение слишком просто и поэтому может быть ошибочным. Но сколько он его не обдумывал, погрешности не находил.

– Вы вышли от профессора Оврей-Пелиссака ровно в четыре. Пошли по набережной, рассматривали и листали книги на раскладках букинистов. Остановились в парке Тюильри. . .

Стоя на привычном месте и, как всегда, облокотясь о камин, Жан Пиге читал свой отчет. Еще

никогда эта церемония не казалась господину Цитрину такой трогательной. К горлу подступал комок, на глаза наворачивались слезы, он думал, что это чтение может быть последним и что лишь благодаря своей изобретательности он может еще длительное время, столько, сколько ему захочется, иметь удовольствие слушать, как о нем рассказывают. Думал он также и о том, что юноша не догадывается о его маленькой хитрости и что он схитрил только для того, чтобы оставить его у себя на службе. И за это он его любил, а еще больше любил за это себя.

Глава VI

С этого самого дня для господина Цитрина началось время безмятежного счастья, и, казалось, ничто не могло бы нарушить его. Проходили неделя за неделей, равномерно, неуклонно.

И все они воздавали дань его скромному честолюбию. Он не боялся, что повторение затмит его удовольствие.

В конце каждого месяца отчеты Жана Пиге, подшитые, в переплете из темной кожи, с вызолоченными номерами, выстраивались на полках в его книжном шкафу.

Иногда он просил Жана Пиге перечитать отчет за тот или иной день. Жан Пиге вынимал из шкафа нужный том, раскрывал его, поскрипывая новенькой кожаной обложкой, и господин Цитрин, блаженно улыбаясь, слушал собственную биографию. В некоторых местах он его прерывал:

– Вы сказали, что в тот день на мне был темный костюм. Дополните: костюм темно-синий в серую полоску. . .

Жан Пиге послушно исправлял фразу. Но часто он отказывался соглашаться с господином Цитрином:

– Вы действительно ковыряли в ухе мизинцем, рассматривая витрину антикварной лавочки. . . Этого я вычеркнуть никак не могу. .

– Ну да! Возможно. . . возможно. . . – говорил господин Цитрин неуверенно. А затем спрашивал: – На какой странице?

– На странице 172.

Лицо господина Цитрина приобретало отсутствующее выражение. Но оставшись один, он немедленно брал отчет, открывал его на нужной странице и тер каверзную фразу так долго, что ее уже нельзя было прочитать.

Иногда он погружался в сладостные мечты перед стройными рядами переплетенных томов. «Моя жизнь!» – говорил он торжественно и нежно. И представлял себе тот день, когда со своего кресла будет любоваться двадцатью или тридцатью томами с узенькими корешками, обозначенными римскими цифрами. Тогда он сделает новые полки. Или поставит новый книжный шкаф.

Впрочем, постепенно ежедневное любование таким количеством томов, посвященных исключительно ему, отразилось на его характере. Смотря на них, господин Цитрин тешился, будто исторический деятель. Он больше не сомневался ни в безупречности своих высказываний, ни в правильности своих поступков. Сознание того, что он ведет двойную игру с Жаном Пиге, поддерживало в нем победоносное настроение. Он прикидывался забывчивым:

– Что? Вы говорите, будто я был в театре вчера вечером?.. Сам-один?.. Интересно, интересно. Я этого не припоминаю. . .

И едва удерживался, чтобы не расхохотаться прямо в лицо простодушному юноше. Как изменившая жена, муж которой не догадывается о ее неверности, он испытывал к юноше снисходительную и насмешливую симпатию. Чтение отчета он прерывал такими репликами:

– Черт возьми! Ерунда! Вранье!

Жесты его становились более раскованными, интонации не такими раздраженными. Время от времени он свистел, уперев руки в бока, высоко поднимая голову, как народный трибун. И вот отчеты на четырех страницах перестали его удовлетворять. Он притворился, что у него снова провалы в памяти, начал уверять, что ничего не помнит за день, и попросил Жана Пиге составлять в дальнейшем более подробные отчеты и излагать их лучшим стилем.

Глава VII

Господин Цитрин уселся в кресло, положив руки на подлокотники, откинув голову на спинку, и сосредоточился сам на себе. После обеда он с удовольствием посмотрел фильм о шпионах, а затем немного прогулялся для возбуждения аппетита. Он вкусно поужинал в обществе Жана Пиге и

настроен был благодушно. Он сказал:

– Я готов, Пиге, можно начинать.

Жан Пиге взял свои записи.

– Сколько страниц? – осведомился господин Цитрин.

– Восемь с половиной.

– Интересно?

– Очень. Особенно конец дня, когда вы. . .

– Нет! Не говорите, какой будет конец! Читайте по порядку.

Жан Пиге откашлялся, чтобы прочистить горло. Господин Цитрин кашлянул тоже, как озорник-школяр. Он наслаждался во всю и решил как обычно прикинуться удивленным, когда юноша заговорит о кино: «Я? Был в «Люксоре»? После обеда? В два часа? Ах! Да, возможно. . . » Некоторые шутки никогда не надоедают.

– Слушаю вас, – сказал он.

– Четырнадцатое мая. Вы встали в одиннадцать часов. Туалет и завтрак без особых происшествий.

– Хм! Хм! – заметил господин Цитрин. – Несколько общо! Слишком коротко: «без особых происшествий»! А зубная щетка, которую я поломал. . . а все, что я вам объяснял о новых лезвиях для бритвы, которую мне продал парикмахер, и. . . и. . . все остальное, чего я не припоминаю. . . Эту часть придется дополнить. . .

– Хорошо, мсье. В два часа вы надели пальто, шляпу. . .

– Какое пальто? Какую шляпу?

– Синее пальто. Шляпа серая. . .

– Вот так и напишите! Те, кто будет читать эти строки через несколько лет. . .

Он поправил себя:

– Я хочу сказать: когда я буду читать эти строки через несколько лет, я уже забуду, что у меня было черное пальто и коричневая шляпа.

– Пальто синее и серая шляпа.

– Видите, я уже ошибся!

Он, конечно, ошибся нарочно и изо всех сил сдерживал себя, чтобы не расхохотаться.

– Продолжайте!

– Вы надели синее пальто и серую шляпу и направились в. ..

– «Направились! Направились!» Каким шагом я направился?

– Уверенным шагом.

– Хорошо! Каждое слово приходится у вас вырывать!

– Вы направились уверенным шагом к опере. Там вы зашли в «Кафе Мира», где сидели до пяти часов. Напротив вас. . .

– Простите? – едва слышно переспросил господин Цитрин.

– Вы зашли в «Кафе Мира», где сидели до пяти часов. . .

Затаив дыхание, господин Цитрин повторил:

– В «Кафе Мира»? Вы уверены?

– Конечно.

Как удар по голове, ужасная новость его ошеломила. Итак, всю вторую половину дня он провел в «Кафе Мира», а сам считал, что в это время смотрит кинофильм. Неужели он забыл, как провел

свое послеобеденное время? Неужели он снова потерял память? Жан Пиге приготовился продолжать.

– Нет, нет! Не надо! Оставьте меня! – застонал господин Цитрин. – Мне нездоровится. . . Почитаете позлее. . . Завтра. . . да. . . завтра.

Он подтолкнул юношу к двери. И не успела она закрыться за ним, упал на диван. В голове бешено вертелись мысли. Ему хотелось кричать, плакать, возможно, это принесло бы облегчение! Но он неподвижно лежал, зарывшись головой в подушку, молчаливый, полностью раздавленный отчаянием. Всему конец! Радость выздоровления, его мечты, простодушные шутки. . . Снова собираются кормить его воспоминаниями и тысячами предостережений, как кормят из ложечки кашей, будто неполноценного.

Он выпрямился и попробовал восстановить в памяти «Кафе Мира», столик, за которым сидел, официанта, который его обслуживал. Тщетно. Пот градом катился у него со лба. Засунув руку в карман за носовым платком, он нащупал какую-то сложенную бумажку. Господин Цитрин вытащил ее и прочитал: *Кинотеатр «Луксор» Программа* Он раз, и второй, и третий перечитал номер зала, название фильма, дату. Никаких сомнений! Сегодня после обеда он действительно был в кино. Ноги его не было в «Кафе Мира». Он не терял памяти. Спасен! От неистовой радости из глаз его наконец хлынули обильные слезы.

А когда волнение немного улеглось, господин Цитрин начал размышлять над происшедшим. Вполне очевидно, что Жан Пиге поиздевался над ним. Он не следил за ним. Он полностью выдумал рассказ о проведенном господином Цитрином времени. Украл у него доверие.

Украл у него деньги. И заслужил, чтобы его выставили за дверь без объяснений. Охваченный справедливым гневом, господин Цитрин встал, схватил в одну руку программу, а в другую книжечку расходов на Пиге (расходы на транспорт и т.п.), нахмурил брови, сжал зубы, в глазах вспыхнули пренебрежение и гнев. И не больше. Он не двинулся с места. Не произнес ни слова. Даже, чуть погодя, снова сел и положил на стол программу и блокнот. А на лице его застыла лишь нерешительность. Он подумал о множестве неудобств, связанных с изгнанием молодого человека. Никто не будет ходить следом за ним. Не будет больше отчетов.

Нечего будет переплетать и расставлять по порядку в конце месяца. Подыскать ему замену?

Сколько понадобится хлопот, пока он познакомится с претендентами, и кто может гарантировать, что он сможет найти юношу, наблюдения и стиль которого были бы такими же, как у Жана Пиге? В творении великого замысла – история его жизни именно такое произведение следует избегать смены тона. Да, впрочем, в чем он мог упрекнуть юношу? В пренебрежении к работе? А если хорошенько поразмыслить, действительно ли это пренебрежение? Возможно, господин Цитрин, сам того не желая, заметал следы, избегал наблюдения Пиге. А тот ни за что не хочет признаться в своем упущении, лучше уж солгать. Такое предположение льстило самолюбию господина Цитрина. «Бедняга Пиге, ну и задал же я ему хлопот, – думал он. – Идет он себе следом за мной, а потом – глядь! Никого! Ах! Не так уж это и легко, ходить за мной неотступно! У меня закалка старого лиса!»

Он самоуверенно улыбнулся. Что же! Оставим это без внимания. Завтра юноша будет повнимательнее, а послезавтра этот досадный случай забудется.

Глава VIII

На следующий день, в три часа, господин Цитрин направился в «Кафе Мира» и сидел там до шести часов. Читал газеты, курил сигареты, рассматривал публику. В шесть, воспользовавшись невнимательностью официанта, он сунул в карман пепельницу, чтобы иметь вещественное доказательство. Затем он рассчитался с официантом и пошел домой. Он торопился, будто действительно дома кто-то его ждал.

Но придя домой, не знал, что делать дальше. Застыв у окна в гостиной, он ждал возвращения молодого человека.

Когда же, наконец, заметил его, радостно встрепенулся. По пустынной улице, залитой желтым растопленным светом фонарей, стремительно приближалась фигура Жана Пиге. Он шел под стенами домов, мерно размахивая руками и стуча каблуками. Весь в черном. Сверху нельзя было рассмотреть лицо и фигуру, казалось, что это какое-то угловатое прыгающее насекомое. Он вошел в дом, так и не посмотрев на окно.

За ужином господину Цитрину с большим трудом удалось скрыть свое нетерпение. Ужин затянулся. Жан Пиге жевал с просто невыносимым безразличием, просил добавки салата, останавливался, чтобы пересказать последние новости из газет. А после кофе отправился к себе в комнату писать отчет.

Когда он вернулся в кабинет, господин Цитрин сидел в кресле, воротничок рубашки был расстегнут, на лице важное выражение.

– Пятнадцатое мая, – начал Жан Пиге.

Господин Цитрин глубоко вздохнул и наклонил голову так, чтобы на лицо падал свет от лампы.

– Вы встали в десять часов. Впервые с того времени, как я поступил к вам на службу, вы пошли в гимнастический зал Куррье на урок физкультуры. . .

Точно так все и происходило. Господина Цитрина это утешило, но и огорчило.

– А потом? – спросил он. – Что же было после обеда, вот этого я и не припоминаю.

– Душ. . .

– Пропустите!

– Обед. . .

– Пропустите!

– После обеда вы вышли в три. Взяли такси. Приказали отвезти вас к озеру в Булонском лесу. Вам этого очень хотелось, вы сами мне об этом говорили несколько дней назад. Там вы взяли напрокат лодку. . .

Господин Цитрин будто застыл от удивления и только нервно сжимал пепельницу в оттопыренном кармане. Ему необходимо было это вещественное доказательство, чтобы не сомневаться в своей памяти. Ведь Пиге говорил так убедительно. Сначала он хотел было даже прервать юношу. Но какая-то нерешительность или колдовская сила удержали его. Он смотрел на это невинное лицо, которое его обманывало. Он слушал этот спокойный голос, который ему лгал. И он все тянул, не прерывая его от слова к слову, от предложения к предложению.

Больше того, он даже заслушался рассказом об этом придуманном дне, как он заслушивался рассказом о своих настоящих поступках. К тому же, чтобы рассказать о том, чего господин Цитрин не делал, о местах, где господин Цитрин не бывал, Пиге употреблял особо притягательные слова. Казалось, все это выдуманное приключение вдохновляло его больше, чем 22 Анри Труайя Господин Цитрин реальные поступки хозяина. Он описывал раскаленную пыль жаркого дня под вековыми деревьями Булонского леса, деревянный причал, окруженный чем-то вроде плавучего кладбища неподвижных лодок, привязанных одна к другой; куртку, брошенную на дно лодки, тяжелые весла, которые резко вгрызались в воду и толкали посудину далеко от берега; отблески живого серебра и позеленевшей бронзы, расходящиеся кругами, когда в них врезался нос лодки, а затем снова смыкались, откинув позади себя тысячи прыгающих, растерзанных брызг.

Когда господин Цитрин сравнивал эти картины с теми несколькими часами, которые он провел в «Кафе Мира», он не мог не согласиться с тем, что они более привлекательны и более достойны его особы. Он жалел, что не пережил тех впечатлений, которые ему рисовал Пиге.

Он был недоволен тем, что не воспользовался таким чудесным днем, чтобы провести его на свежем воздухе.

Юноша перевернул последнюю страничку и быстро заканчивал свой рассказ описанием того, как господин Цитрин, счастливый и разомлевший, вернулся домой на такси. Еще полстраницы и он закончит. И тогда должен говорить господин Цитрин. Но по тысяче причин, которые он и сам не может понять, не было повода что-либо говорить. Лучше подождать.

Чего? Господин Цитрин и сам этого не знал, но его ум цепляется за такое решение.

Когда Жан Пиге удалился в свою комнату, господин Цитрин пытался найти новое объяснение странному поведению своего наблюдателя. Возможно, это лень? Или какая-нибудь амурная история? А может, он работает еще где-нибудь? Ни одна из этих догадок его не удовлетворяла. Он лег спать в плохом настроении. Какая жестокая несправедливость; где-то в двух шагах от него спокойно и беззаботно спит человек, нарушивший его спокойствие!

Трижды он поднимался с кровати и специально бросал на пол стул, чтобы хотя бы разбудить Жана Пиге.

Глава IX

Люди плотной стеной толпились вокруг дебаркадера. Здесь были как дожидавшиеся своей очереди на прогулку в лодке, так и те, кто охотно покатался бы, но их от этого искушения удерживало желание не тратить деньги. И все это скопище обливалось щедрыми потоками пота под надетыми

по случаю воскресенья пиджаками и выходными платьями. Господин Цитрин, сжатый со всех сторон, совсем разморился, устав и разнервничавшись. Но упрямство мечтателя не позволяло ему ни уйти прочь, ни даже пожаловаться. Он соглашался со всем, он терпел все ради туманного предчувствия близкого вознаграждения.

И когда наконец он сел в лодку, которую ногой и шестом придерживал высокий детина, он вдруг почувствовал: вот-вот с ним случится что-то важное.

Лодка, которую оттолкнули от причала как ненужную щепку, слегка покачиваясь, выплыла на плес. Озеро бороздила добрая сотня похожих лодок, переполненных веселыми семьями.

Продвигаться вперед было невозможно, через каждые пять метров лодка наталкивалась на какое-нибудь другое плавсредство, рискуя перевернуться. При малейшем столкновении женщины визжали, а мужчины радостно хохотали грубыми голосами. Солнце сверкало на зеленой воде. От водопада несло запахом нечищенных клозетов. Там, где хоть немного тень падала на воду, в лодках лежали влюбленные и целовались. Вместо мечтательной уединенной прогулки, которую Жан Пиге так красиво описал накануне, господин Цитрин переживал надокучающую сумятицу ярмарочного гулянья. Преисполненный отвращения, донельзя изможденный, он сократил время прогулки.

А вечером Жан Пиге рассказал ему во всех подробностях, как он шел следом за ним по Луврскому музею, по прохладным и торжественным залам античной скульптуры и с каким удовольствием господин Цитрин любовался мраморными шедеврами, возвышающимися в белых лучах света среди бессмертной тишины.

Отныне господин Цитрин тщетно обдумывал свой распорядок дня, каждый раз Жан Пиге описывал ему послеобеденное время лучше, чем он его проводил в действительности.

И что бы он ни делал, он каждый раз узнавал, что можно было бы сделать еще лучше.

Хотя, как только он начинал действовать в соответствии с рассказами юноши, сразу оказывалось, что предвкушаемое в мечтах накануне наслаждение в реальности невозможно. Что-то менялось: обстоятельства, окружение, температура, он сам. . .

Всякий раз отчеты Пиге звучали для него словно обвинения.

Однажды господин Цитрин, устав от всего этого, решил остаться дома. «Тогда, – думал он, – Жану Пиге тоже придется остаться дома, и он не будет мне читать отчет, переполненный унизительными выдумками о том, где я провел свое послеобеденное время». Он был в восторге от принятого решения и удивлялся, как это раньше не пришло ему в голову. Однако, радуясь, что таким образом защитит себя от чрезвычайного внимания своего наблюдателя, он тешил себя мыслью, что обвел юношу вокруг пальца. Он испортил ему целый день, точно так же, как тот портил ему его дни. Он мстил.

О, сладостные мгновения! Устроившись за письменным столом в кабинете, господин Цитрин клеил марки, а Жан Пиге читал газету у окна. На его лице застыло выражение вынужденного безразличия. Но господин Цитрин, украдкой следя за ним, догадывался о его раздраженности и упивался радостью. Вот Пиге поджал губы, непривычно нахмурился. . . Была минута, когда Жан Пиге спросил с безразличным видом:

– Вы сегодня не выйдете из дома?

– Нет, – отвечал господин Цитрин с простодушным лукавством. – Я устал.

И Жан Пиге снова погрузился в чтение газеты.

Под вечер лицо его так нахмурилось, что господин Цитрин уже готов был пожалеть его.

Но он взял себя в руки, припомнив все неприятности, которые причинил ему юноша. Впрочем, чем более приближалась минута отчета, тем более господина Цитрина беспокоила другая мысль: как юноша расскажет ему об этих нескольких часах его кропотливых занятий? Сумеет ли он передать интимную суровую атмосферу комнаты, сосредоточенную тишину и то, как медленно по углам расползались сумерки? Сумеет ли он описать утонченные движения господина Цитрина, колдующего над своим альбомом с марками?

Во время ужина господин Цитрин был чрезвычайно любезен с Жаном Пиге, будто желая оправдаться в его глазах и склонить его к льстивому отчету о послеобеденном времени. Он заметил будто мимоходом:

– Мне ужасно нравится моя коллекция. . . Правду говоря, я никогда не соглашусь с людьми, которые считают даром потерянным время, проведенное над марками. А я считаю, наоборот, это день, проведенный с пользой. . . Лучшего и не придумаешь. . .

– Извините, – сказал Жан Пиге, – мне нужно идти писать отчет.

– Конечно, пожалуйста. . .

Когда юноша ушел, господин Цитрин подумал, что все эти настойчивые заискивания, чтобы услышать одобрение Жана Пиге, свидетельствовали о его зависимости от этого человека.

Юноша вскоре вернулся и остановился у камина. Господин Цитрин, сгорая от нетерпения, приказал:

– Начинайте!

– Шестнадцатое июня. . .

Жан Пиге замолчал. Сердце господина Цитрина бешено стучало. Он ждал. Жан Пиге закончил спокойным голосом:

– Ничего.

Это слово прозвучало для господина Цитрина, как пощечина. Он едва слышно пролепетал:

– Что? Что? Вы с ума сошли!.. Но он уже знал, что проиграл и что никогда больше не решится сидеть дома.

Глава X

Господин Цитрин уже внизу на лестнице услышал, как дверь открылась и кто-то начал спускаться следом за ним. Он узнал размеренные шаги Жана Пиге. Господин Цитрин прекрасно знал, что юноша нарочно выходил из дома одновременно с ним, будто собираясь следить за ним, но затем, засвидетельствовав таким образом свое присутствие, он сразу же куда-то исчезал. Этот обман раздражал господина Цитрина все больше и больше.

Он вышел на улицу. Небо было ярко-синее. Здесь и там окна были затенены шторами.

В воздухе висел запах расплавленного асфальта, выхлопных газов и пыли. Господин Цитрин вдохнул, зажмурившись, эти добротные городские запахи и едва не задохнулся. С ним поравнялась какая-то женщина. Она была удивительно красива. Рыжая, со светло-зелеными с серой поволокой глазами. Господин Цитрин был не из тех, кто теряет голову от каждой встречной юбки. Он умел противиться зову своей плоти. А если он и уступал своим тайным желаниям, то лишь хорошенько обдумав обстоятельства и время своего падения. Но вид этой рыжеволосой женщины его взволновал. Была минута, когда он хотел было пойти за ней. Но сразу же трезво себя одернул. Она была слишком красива для него, слишком серьезна. Но если это лишь обман, какое потом его ждет разочарование! К тому же он решил наведаться на биржу марок. . . Итак, на первом же перекрестке молодая женщина пошла налево, а господин Цитрин свернул направо. Впрочем, он не жалел об этом, так как в тот же день в кляссере одного старого коллекционера обнаружил эквадорскую марку, которую давно мечтал приобрести.

Увы! В тот же вечер Жан Пиге докладывал ему, что видел, как господин Цитрин подошел к молодой женщине и шепнул ей что-то на ушко. А молодая женщина, которая сначала пожала плечами и ускорила шаг, вдруг остановилась и улыбнулась. Тогда господин Цитрин взял ее под руку, и дальше они пошли вместе, весело разговаривая и влюбленно заглядывая друг другу в глаза. На площади Майо они исчезли в одной и гостиниц и вышли оттуда только часа через три.

Глупая болтовня! Но господин Цитрин был ошеломлен. Он подумал, что стоило ему вместо того, чтобы пойти направо, свернуть на перекрестке налево, и все его будущее изменилось бы в корне. Он подумал, что если бы он не поддался своей детской страсти коллекционирования, он действительно мог бы догнать ту женщину, высказать ей свое восхищение, признаться в любви, соблазнить ее и провести с ней незабываемые минуты. Он подумал, что еще один день пропал зря. И образ незнакомки встал у него перед глазами. Лицо, будто изваянное из какогото драгоценного камня, ясное, нежное, излучающее свет. И ее бездонные сине-зеленые глаза.

И ее волосы цвета червленого золота. И ее смех. Впрочем, он не слышал ее смеха! На столе он вдруг заметил прозрачный пакетик с маленькой эквадорской маркой, покупка которой его так обрадовала. Диспропорция между реальным приобретением и тем, что он потерял, была гротескна. Он рассердился на этот обычнейший кусочек бумаги, ради которого не свернул следом за незнакомкой. Он сердился на самого себя. И на Жана Пиге. Почему Жан Пиге рассказывает ему об этой встреченной женщине? Очевидно, прежде чем тайком отправиться на какое-то из своих обычных свиданий, он успел заметить, как господин Цитрин пошел за незнакомкой. И опираясь лишь на этот неопределенный порыв, он вообразил логическое продолжение приключения. Логическое? Неужели он не знает, что для таких, как господин Цитрин, логических заключений быть не может? Неужели он не знает, что господин Цитрин всегда делает что-то противоположное

тому, что ему следовало бы делать? Неужели он не знает, что господин Цитрин бесцельно тратил свою жизнь день за днем, час за часом, минута 26 Анри Труайя Господин Цитрин за минутой с ослеплением кретина?

Он знает только одно: он не может больше жить без этой женщины.

Его вдруг охватило безумное желание вновь увидеть это молочно-белое лицо с глазами цвета свежей зеленой воды. Может быть, еще не поздно ее найти. Конечно, она ежедневно ходит на работу по этой дороге. Он подстережет ее на улице. Хотя такая женщина не должна работать. Это, наверное, какая-нибудь таинственная иностранка. И доступная, конечно же, если согласилась пойти с ним в гостиницу. Да что это с ним! Забыл, что в гостиницу она пошла с ним только в воображении Пиге!

Мечта и действительность так переплелись, что господин Цитрин терял точку опоры. Он должен немедленно взять себя в руки!

– Можете идти, Пиге, вы мне больше не нужны.

Да, это он произнес эти слова. Хотя ему совсем не хотелось, чтобы юноша уходил. Он боялся остаться наедине со своими грезами.

– А впрочем, останьтесь. Расскажите мне об этой женщине. Она красива, правда?

– Очень красива. Стройная, золотоволосая, с зелеными глазами. . .

Соль на рану. Шок. Лучше уж одиночество, чем такое.

– Спокойной ночи, Пиге.

– Спокойной ночи, мсье.

Ничего себе спокойная ночь! Что скажешь! Не успел он лечь, как понял, что уснуть не сможет. От нездорового возбуждения он не сомкнул глаз. Его ум горячечно рисовал привлекательные возможности встречи, близкого знакомства, интимной связи. Он чувствовал вожделение и усталость одновременно. Его охватило желание плакать и смеяться. Но вот его пронзила мысль о вечной разлуке с женщиной, к которой он даже не подошел.

Их судьбы столкнулись на какое-то мгновение. И в это мгновение от него одного зависело, чтобы они чудесным образом сошлись. А он прозевал этот случай. Поэтому по его вине два существа не сойдутся больше никогда, следуя различными путями, разъединенные неизмеримым пространством и временем, словно дымовым занавесом. Примириться с такой ужасной случайность он не смог бы!

А смириться было необходимо, когда на следующий день после невыносимо длинного ожидания на том перекрестке он убедился, что она не придет. Он уныло поплелся к Булонскому лесу.

Иногда господину Цитрину казалось, что он узнает незнакомку в одной из женщин, там прогуливающихся. Вот рыженькая, но ниже ростом! А у этой глаза зеленые, но ведь она блондинка! Все эти волнения его утомили. Сидя на скамейке, он думал, что Жан Пиге, наверное, расскажет ему, как после обеда он ходил в кино со своей возлюбленной или, возможно, мечтательно прогуливался с нею по старому Парижу, а ему будет горько до слез.

И тут кто-то позвал его хриплым голосом:

– Пошли, миленький?

Лицо у нее было желтоватым, с расплющенным носом, но глаза зеленые, и пряди рыжих волос коком начесаны надо лбом.

Он выпрямился. Он еще колебался. Убеждал себя. Ведь это не она. Это карикатура на все, понравившееся ему в ней. Он не имеет права. И все же что-нибудь гораздо лучше, чем пустота, с которой он боролся.

По безлюдным аллеям она привела его на площадь Майо, и они зашли в какой-то отель.

Он ушел от нее, преисполненный отвращения. Какое омерзение! Каким жалким казался он себе, когда пытался наверстать судьбу, которую ему ежедневно выдумывал Жан Пиге!

Он похож на клоуна, который, извиваясь посреди арены, имитирует элегантные движения 27 Анри Труайя Господин Цитрин акробата под куполом цирка. Он так же смешон и неуклюж, и такая же непринужденность и легкость у его двойника, изображаемого в отчетах Жана Пиге. А между ними двумя бездна.

Глава XI

Проходили дни, Жан Пиге не говорил больше с ним о незнакомке. Но никакого облегчения это господину Цитрину не приносило. Это приключение нанесло ему последний удар.

Каждое утро он просыпался с болезненной тревогой перед непроходимой чащей проблем, с которыми он столкнется в последующие часы. Каждую минуту он должен был принимать какое-то решение, а отсюда вероятность ошибки, разочарование. Каждое его движение, каждое слово, далее молчание, могли увлечь его на ложный путь. Совсем невинные и простые, как ему казалось, действия, такие, как питье и еда, приоткрывали вдруг какое-то опасное психологическое осложнение. Потому что, если они и не вызывали непосредственных важных последствий, невозможно было предвидеть отдаленные последствия, которые они могли повлечь за собой. Каждый знает, что важные решения принимаются под давлением многочисленных и, на первый взгляд, незначительных причин, среди которых не последнюю роль играют питание, температура, одежда, выбор книг для чтения. Именно к этим будничным мелочам нужно относиться с особым вниманием. Именно из них следует выбирать. Но каким признакам довериться?

Постоянное ощущение зависимости от себя самого, вверенности самому себе, чувство, будто ты сам собой руководишь, вызывали в нем полную растерянность. Со страхом ждал он часа отчета, как ждет экзамена ученик, не выучивший материала. Он уже заранее знал, что не выдержит экзамена, и было бы странно, если бы он не провалился. Его ненависть к Жану Пиге возрастала с каждым днем. Это пугало его самого. Он, всегда так благодушно относившийся к ближним своим, теперь готов был растерзать этого юношу. Он ненавидел в нем все: застывшую маску лица, пристальный взгляд, ровный голос, непринужденные движения, то, что он никогда ни за что не цеплялся и не спотыкался. Этот молодой человек был для него воплощением жизни, которую он сам не умел наладить и которую нелепое неведение все время мешало ему познать. Это был живой укор. Хватит. Нужно положить этому конец. Но как? В бессонные часы господин Цитрин обдумывал план просто убить своего палача. Когда Жан Пиге придет читать отчет, он встанет и, схватив его за горло, будет долго, изо всех сил сжимать эту худую шею, будет трясти на уровне своего лица это проклятое ненавистное лицо с круглыми глазами и лживым ртом, изрыгающим обман. А затем он разожмет руки, и, как неуклюжая и тупая кукла, Жан Пиге упадет на землю. А он будет наконец свободен! Но утром господин Цитрин просыпался встревоженный этими преступными кошмарами и убеждал себя, что лучше всего – уволить злодея. Но и это решение, как и все другие, он боялся привести в| исполнение.

Проходили недели.

Господин Цитрин заметно похудел. Он мало говорил, мало ел, плохо спал. Марта была в отчаянии от его осунувшегося вида и умоляла вернуться в Мец, так как парижский воздух был ему во вред. Но господин Цитрин грустно качал головой и отсылал ее на кухню к плите.

Только Жан Пиге, единственный из них троих, не терял ровного бодрого настроения. Отчаяние, которое он сеял в сердце господина Цитрина, казалось, отражалось на нем наилучшим образом, он как будто расцветал еще больше, как расцветают некоторые роковые женщины после самоубийства отвергнутого любовника, это называют еще дьявольской красотой.

Однажды вечером Жан Пиге явился в час, назначенный для отчета, облаченный в смокинг, правда, коротковатый, и с гвоздикой в петлице. Господин Цитрин чуть не задохнулся, увидев его.

– Простите, – заявил Жан Пиге, – я вынужден идти.

– Идти? Идти? – пробормотал господин Цитрин. – А отчет?

– Я не успел написать его сегодня вечером. Но я вам прочитаю его завтра, в это же время.

Ведь эти несколько часов не имеют существенного значения, правда?

Господин Цитрин не верил своим ушам. Он пробормотал:

– Нет. . . нет. . .

Не осознавая, что святотатствует, Жан Пиге слегка поклонился, поправил манжеты и продолжал:

– Вообще, ежевечерние отчеты – это чересчур, верно? Из кожи вон лезешь! Переливаешь из пустого в порожнее!..

Из кожи вон лезешь! Переливаешь из пустого в порожнее! Каждая из этих фраз глубоко ранила господина Цитрина. Проклятье уже готово было сорваться с его губ. Кулаки сами сжимались в карманах. Но он не двинулся с места и продолжал хранить молчание.

– Можно было бы устроить все иначе, – продолжал Жан Пиге, – расширить чтение. . .

Немедленно разоблачить его, надавать пощечин, выбросить за дверь, думал господин Цитрин. И пробормотал:

– Хорошо. . . Поговорим об этом позже. . . А теперь идите. . . Идите быстрее. . .

Это выходило за все мыслимые рамки! Оставшись один, господин Цитрин с радостным удивлением почувствовал, что вот сейчас он должен что-то решить. Что бы теперь ни случилось, погасить его гнев не удастся. В конце концов он сделает все возможное, чтобы его гнев не угас до утра. Он начал с того, что добрых десять минут ходил по кабинету, громко возмущаясь и стуча кулаком по письменному столу:

– В ваших услугах я больше не нуждаюсь, так как память вернулась ко мне!.. Я вас оставил у себя из жалости! И вот ваша благодарность!..

Он взял с полки последний отчет и внизу странички написал: «Конец».

Затем, не зная, чем еще подзадорить свой гнев, он пошел в комнату Жана Пиге. Застланная постель, аккуратные стопки бумаги на столе, выглаженная одежда на стуле. Что-то оскорбительное было в этом отсутствии личного, своего. В этой обстановке можно было угадать скорее средство защиты, чем заботу о чистоте и порядке. Господин Цитрин изо всех сил пнул ногой деревянную кровать и решил, что Жан Пиге покинет его дом на следующий же день, с самого утра. И успокоенный этим окончательным решением, он пошел спать.

Глава XII

На следующее утро он проснулся в восьмом часу. И сразу же преисполнился гневом.

Даже не умывшись, он бросился в комнату Жана Пиге. Постучал. В ответ – мертвая тишина.

Постучал еще раз. Никакого ответа. Он толкнул дверь. В комнате никого, кровать неубрана, шкаф раскрыт, на письменном столе никаких бумаг. Он позвал еле слышно:

– Пиге!

Обернувшись, он увидел письмо, оставленное на видном месте на мраморном ночном столике. Он ужасно разволновался. Раскрыл конверт.

«Мсье!

Впервые с тех пор, как мы знакомы, у Вас есть возможность прочитать несколько строк, написанных моей рукой, которые не будут посвящены исключительно Вам.

Когда я поступил к Вам на службу, я не подозревал, какие муки она готовит мне в будущем. Я не думал, что задание ходить следом за человеком, а затем пересказывать ему вечером, как он провел свое время, окажется мне не по силам и, без сомнения, не по силам любому человеку вообще. Уже через неделю я в этом убедился. Все время, следуя за Вами по пятам, изнывая в тени от Вас, от Ваших движений, убаюканный Вашим голосом, я осознал, какую невыносимую повинность, сам того не ведая, я на себя взвалил. Однако мне хотелось жить. До поступления к Вам на службу я учился. У меня были различные дела, друзья, мечты, моя личная жизнь. Мог ли я отказаться от всегоради Вас? Имел ли я на это право? Однажды, следуя за Вами, я увидел очаровательную женщину и на следующий день попытался снова с ней встретиться.

Терпение мое лопнуло. С того дня я пренебрег моими обязанностями, больше не ходил за Вами по пятам, а проводил свое послеобеденное время с ней. А вечером придумывал для Вас все, что в голову взбредет. Это было отвратительно, предосудительно, я это знал, и все же свобода, которую я почувствовал, сойдя с Вашего следа, заглушала угрызения совести от этой каждодневной лжи. На протяжении нескольких дней мне казалось, что я спасен. Но вскоре я понял, что так называемая свобода таит в себе ненавистное рабство. Хотя Вас ине было рядом, я не верил в Ваше отсутствие. Вы всюду вставали между нами. Вы меня неотступно преследовали. Мысль о Вас отравляла даже минутынашего молчания. Помимо воли я обдумывал, что я буду рассказывать Вамвечером. Я выдумывал вероятные варианты того, на что Вы тратите Вашевремя. И боялся, что Вы раскроете мою хитрость. Я постоянно чувствовал,что мое счастье краденое и что над моими радостями повис меч неотвратимого правосудия. Положение становилось невыносимым. Именно поэтому ярешил открыться Вам в своем самом сокровенном. Теперь Вы знаете все. МеняВы больше не увидите. Я уезжаю в другой город, где начну новую жизнь. Зла яВам не желаю. Вы всегда были ко мне. . . »

Господин Цитрин не смог читать дальше. Буквы искорками прыгали перед глазами. В ушах стоял шум от прилива крови. Уехал! Ему показалось, будто самое его существование 31 Анри Труайя Господин Цитрин подрубили под корень. В четырехугольной раме двери он увидел встревоженное лицо Марты, которое качалось, как вахтовый фонарь от ветра, предвещая бурю. Она всплеснула

руками, что-то закричала. Но он не услышал ни единого звука. Он пошатнулся и рухнул всем телом на пол.

Открыв глаза, он увидел морщинистое лицо и седые волосы склонившегося над ним мужчины. Господин Цитрин спросил:

– Где я? Кто вы?

– Вы у себя дома, – ответил мужчина. – А я профессор Оврей-Пелиссак.

– Оврей-Пелиссак? Оврей-Пелиссак? – переспросил господин Цитрин. – Он наморщил лоб, напряженно припоминая, и добавил:

– Мне это имя незнакомо.

Руки

Руки Совсем не по призванию в двадцать три года Жинетт Парпен устроилась маникюршей в парикмахерскую на Елисейских полях: она надеялась найти себе мужа среди исключительно мужской клиентуры этого заведения. Прошло девятнадцать лет, но за это время ни один из мужчин, которые доверяли ей свои руки, не попросил ее руки. По правде говоря, хоть и мастерски она управлялась со всяческими щипчиками, пилочкой и полиссуаром, но в лице ей не хватало чего-то такого, что возбуждает влечение в мужчине и заставляет его создавать семью. Высокая, немного сутулая блондинка, Жинетт Парпен своими широко расставленными глазами, удлиненным лицом, мягко нависающей верхней губой и ласковым травоядным взглядом была похожа на овцу. Неуклюжая, с дрожащим голосом, она краснела из-за каждой мелочи и во время обеденного перерыва никогда не участвовала в разговорах молодых сотрудниц. Единственной ее уступкой свободным современным нравам было легкое облачко пудры на лице и две капельки фиалковых духов за ушами.

До сорока лет Жинетт страдала от своего, как она любила говорить, «одиночества». Но она уже смирилась со своей судьбой и даже не представляла, что могла бы приблизиться к мужчине с иной целью, чем стрижка ногтей. У нее были постоянные клиенты, готовые скорее перенести посещение парикмахерской, чем обратиться к услугам другой маникюрши. Впрочем, все посетители «Парикмахерской короля Джорджа» были людьми с положением – бизнесмены, кинематографисты, звезды спорта, модные политики. Самые неприметные из них должны были знавать в своей жизни не одну сотню маникюрш. И Жинетт была счастлива и горда тем, что они каждый раз возвращались именно к ней. Когда раздавался телефонный звонок и мадам Артюр, сидевшая за кассой, обращалась к ней мелодичным голоском: «Мадемуазель Жинетт, господин Мальвуазен-Дюбушар в пятнадцать десять, это вас устраивает?» – у нее приятно замирало сердце, будто речь шла о любовном свидании.

Это занятие, которое многие ее подруги считали монотонным и скучным, Жинетт казалось, наоборот, преисполненным неожиданностей и поэзии. Нужно было видеть, как угодливо она бросалась к каждому новому посетителю, как усаживалась возле него на табуретке и пристраивала к подлокотнику кресла мисочку с горячей водой, в которую он макал пальцы.

Устроившись внизу, она молча делала свое дело, а над ней вверху парикмахер в белом халате стоя щелкал ножницами, ведя мужской разговор с посетителем. Конфиденциальные сведения о бегах, политические новости, беззаботная болтовня о погоде, уличных пробках и некоторых преимуществах автомашин той или иной марки – все это вперемешку падало перед ней вместе с прядями обрезанных волос. Время от времени щеки ее вспыхивали от какого-нибудь крутого анекдота, который она понимала лишь на половину. Грубый мужской хохот заставлял ее лишь ниже опускать голову. Как и весь персонал «Парикмахерской короля Джорджа», она была одета в сиреневый халат с ее инициалами. Но в то время как некоторые из ее коллег наклонялись так, чтобы в разрез блузки можно было рассмотреть их прелести, Жинетт Парпен старалась, чтобы ни один нескромный взгляд не проник за ее корсаж. В нужном месте разрез халата был зашпилен брошью с искусственным алмазом. Возможно, она и подцепила бы себе мужа, если бы не была так застенчива? Этот вопрос иногда приходил ей в голову, но она сразу же утешала себя тем, что счастье невозможно там, где человек насилует себя.

В этом ежедневном мужском обществе ей приятно было чувствовать вполне безопасное возбуждение, не предвещавшее ничего конкретного, но к которому она уже привыкла, как к наркотикам. Ей здесь все нравилось: и атмосфера парикмахерской, где сладковатый аромат косметики смешивался с терпким запахом погасших сигарет, и хрустальный блеск зеркал над одинаковыми умывальниками, и розовые головы клиентов, будто сосиски на белых цоколях халатов, и беготня озабоченных подручных, шипение кранов-душей, в конце концов, вся эта гигиеническая суета коммерческого заведения, прерываемая время от времени телефонными

звонками и хлопаньем дверей, открывающихся на улицу, по которой грохочут автобусы.

Вечером усталая и немного одуревшая Жинетт возвращалась в свою комнатушку на бульваре Гувийон-Сен-Сир. В памяти начинали всплывать все господа, которых она видела в течение дня в парикмахерской. Нет, не лица – ее преследовали их руки. Мягкие и влажные, или сухие и костистые, испещренные голубыми венами, или усеянные темными веснушками, или с волосатыми пальцами! Она могла бы назвать владельца каждой из них. Обрубленные белые запястья, они, как медузы, колыхались в воздухе. Некоторые руки она видела далее во сне. Но наутро просыпалась снова в бодром настроении.

В одну из майских суббот, когда Жинетт отдыхала между посещениями, в парикмахерскую вошел толстый коротышка с круглым, гладким и бледным лицом, над которым торчал ежик седых волос. Черный костюм, стоячий воротничок и темно-красный галстук, заколотый булавкой с большой жемчужиной, – все подчеркивало впечатление добродушия и душевного равновесия, которым светилось его лицо. «Какой-то значительный функционер», – решила Жинетт. Во всяком случае она была уверена, что в «Парикмахерскую короля Джорджа» он пришел впервые, Мягким голосом коротышка попросил парикмахера и маникюршу. Мсье Шарль, который был как раз свободен, пригласил его в свое кресло возле окна. Мадам Артюр сделала знак Жинетт, и она бросилась к клиенту, прихватив сумочку с инструментами. Прикоснувшись к руке незнакомца, Жинетт удивилась, почему она горячая, как у больного. Тонкие, узловатые пальцы господина с длинными , желтыми, загнутыми на концах ногтями никак не подходили к его виду.

– Как вам подстричь ногти? – спросила она.

– Очень коротко, – ответил тот. – Как можно короче!

Только взглянув на ногти, она поняла, что с ними придется повозиться. Но Жинетт целиком полагалась на свое мастерство и качество инструментов. Взяв резаки и кусачки, она стала трудиться над большим ногтем. К ее крайнему изумлению стальные лезвия не могли надкусить ноготь. Она попыталась еще раз. Тщетные усилия!

– Это правда, – сказал господин, – они у меня очень твердые.

– Ничего! – пробормотала она. – Мы их одолеем! Нужно лишь немного терпения!..

Первые резаки пощербились, вторые затупились, только третьи где-то на десятой попытке врезались таки в край ногтя. Мсье Шарль давно уже закончил стрижку клиента, а Жинетт, сгорбившись, все еще воевала с ногтями. Чтобы не задерживать парикмахера, который должен был сейчас обслуживать постоянного посетителя, она перешла с незнакомцем вглубь зала. Ей еще никогда не приходилось с таким трудом подстригать мужские ногти. С другими клиентами это было для нее искусством, а с этим – каторжная работа. Но что бы там ни было, думала она, а речь идет о ее профессиональной чести. Она должна во что бы то ни стало победить.

Одна за другой все картонные пилочки поломались, держалась лишь стальная. Жинетт пилила с такой силой, что от ногтя просто блестящие пылинки летели, как при шлифовании агата.

Когда ногти наконец были подстрижены, она принесла мисочку, до половины заполненную кипятком. Жинетт как раз собиралась разбавить его холодной водой, когда клиент опустил в мисочку руку.

– Осторожно! – вскричала старая дева. – Вода очень горячая!

– Да нет, – ответил он, и глазом не моргнув.

Он шевелил пальцами в кипятке и улыбался от удовольствия. Его глаза, выглядывавшие из-под припухших век, были такие же карие и блестящие, как каштаны. Жинетт успокоилась.

Разморенная сладкой усталостью, она закончила полировать ногти.

– Меня еще никогда так хорошо не обслуживали! – сказал незнакомец, прощаясь.

И он сунул ей такие большие чаевые, что она чуть не поклонилась.

В следующий вторник, когда Жинетт трудилась над левой рукой господина де Гресси (что ни говорите, а все-таки приятно придавать блеск аристократическим конечностям!), дверь парикмахерской открылась, пропуская в зал все того же улыбающегося коротышку, с которым она столько намучилась в прошлую субботу. Может быть, он что-то забыл? Нет, он направляется к мадам Артюр и просит, чтобы мадемуазель Жинетт обслужила его, как только освободится. Жинетт взглянула на пальцы нового посетителя и заметила, что ногти у него такие же длинные, как и в прошлый раз. И это за каких-то три дня! Разве такое бывает? Она снова взялась за работу, но так нервничала, что несколько раз неосторожно порезала клиенту палец и господин де Гресси должен

был сделать ей замечание. Пристыженная впервые за долгое время работы в парикмахерской, она стерла ваткой капельку крови, выступившую на мизинце клиента. Господин де Гресси ушел обиженный, но это ее нисколько не взволновало, ибо в ту минуту она думала только о незнакомце, который в свою очередь уселся перед ней.

– Они очень быстро отрасли! – заметила она, разглядывая руку, которую он положил перед ней на подушечку.

– Время – понятие очень относительное, – усмехнулся он, и его лицо покрылось лучиками морщинок.

Жинетт не поняла, что подразумевает клиент, и выбрала самые крепкие кусачки в своей сумочке. На этот раз, наученная предыдущим опытом, она уже меньше возилась с ногтями. Через час они снова имели приличный вид. Закругленные, оттененные розовым лаком, отполированные замшей, они, словно десять маленьких зеркал, отражали свет ламп.

– До послезавтра, – сказал господин, вставая.

Она решила, что это шутка, но через день он снова был в парикмахерской. С насмешливой улыбкой, прячущейся в уголках губ, и с ногтями, отросшими не менее чем на два сантиметра.

– Неслыханно! – пробормотала она. – Сколько работаю, такого никогда не видела! А вы обращались к врачу?

– А как же! – вскричал он. – К десяти, к двадцати врачам!

– И что они сказали?

– Что это признак крепкого здоровья!

Он издевается? Или говорит правду?.. Он вызывал беспокойство, и одновременно ей было приятно держать в руках эту когтистую, горячую руку. Он назвал свою фамилию кассирше: господин Дюбрей (фамилия, вполне заслуживающая доверия, решила старая дева) и попросил записывать его на прием к мадемуазель Жинетт через каждые два дня на полседьмого вечера.

Если бы ногти у этого господина не отрастали так быстро, Жинетт подумала бы, что он неравнодушен к ней. Но каждый раз он действительно нуждался в услугах маникюрши. Эти наблюдения одновременно и успокаивали, и сердили ее. Она говорила себе, что этот человек должен расходовать на уход за ногтями большие деньги. Хотя они и часто виделись, она не решалась расспрашивать его о личной жизни и службе. Со своей стороны клиент был по натуре неразговорчив, поэтому, оставаясь вдвоем, они обычно молчали. Жинетт это еще больше сбивало с толку.

В парикмахерской над ней подшучивали. Господина Дюбрея называли ее «клиентом номер один», ее «ухажером» и даже – что было совсем уже глупо – ее «диким ногтем». Она краснела, пожимала плечами, но в глубине души была польщена тем, что впервые в жизни она привлекла внимание всей парикмахерской. Днем и ночью она только и думала, что о господине Дюбрее, Если бы она могла полностью посвятить себя уходу за его ногтями вместо того, чтобы тратить время на других!.. Когда он входил в парикмахерскую, ее сердце радостно замирало в груди. А когда он давал ей чаевые, Жинетт хотелось отказаться – ведь это она должна быть ему обязанной!

В первые же дни Жинетт заметила, что господин Дюбрей не носит обручального кольца.

Но ведь традиции теперь забываются, и это совсем не значит, что он не женат. Впрочем, Жинетт не могла понять, почему ее так интересует семейное положение этого господина.

Может, она вообразила, что он обратил бы на нее внимание, даже если бы она была плохой маникюршей? Конечно, именно ее профессия, а не она сама, как женщина, привлекает клиента.

Как-то вечером, возможно, минут десять седьмого, когда она заканчивала полировать ногти господину Дюбрею, за ним зашел просто одетый мальчик лет десяти. Не успели они выйти из парикмахерской, как Жинетт прилипла носом к стеклу витрины, чтобы посмотреть, куда они пойдут. Их фигуры затерялись в толпе. Неужели это сын господина Дюбрея? Она никогда не решится у него об этом спросить!

Через неделю мальчик снова появился в парикмахерской. На этот раз он пришел заранее.

Господин Дюбрей приказал ему подождать и тем временем полистать журналы. В половине восьмого они ушли. Парикмахерская закрывалась, и Жинетт, сгорая от любопытства, бросилась за ними следом. Господин Дюбрей и мальчик спустились вниз по Елисейским полям, останавливаясь перед каждым кинотеатром. Внезапно они зашли в кинотеатр, где демонстрировался шведский

фильм, который все очень расхваливали – «Сладкое жало любви».

«Зрелище не для ребенка!» – подумала Жинетт. Очевидно, господин Дюбрей из родителей, придерживающихся новых взглядов на воспитание! Никакого представления о морали, подмена родительского авторитета псевдотоварищескими отношениями с ребенком, бегство усталых воспитателей перед барабанной дробью подрастающего поколения. Жинетт уже было повернула назад, но передумала и купила билет для себя. В темном зале она вскоре разглядела господина Дюбрея. Он сидел посредине ряда, а его сын в соседнем ряду, как раз перед ним.

На экране же прокручивались слишком откровенные сцены. Поцелуи крупным планом, медленное раздевание со знанием дела, сплетение оголенных рук и ног. Возмущенная всем этим Жинетт ушла, не дождавшись конца сеанса.

На следующей неделе мальчик приходил в парикмахерскую два раза подряд. Два раза подряд господин Дюбрей уходил вместе с ним, два раза подряд Жинетт, оставаясь незамеченной, тайком шла за ними до кинотеатра, где демонстрировался какой-нибудь весьма откровенный 37 Анри Труайя Руки фильм. Она замечала, что господин Дюбрей и мальчик каждый раз садятся так, как и в первый раз – мальчик впереди, а господин Дюбрей позади него, – и, пристыженная, она уходила, не дождавшись конца. На третий раз что-то там испортилось, и фильм прервали посреди сеанса. Вспыхнул свет, господин Дюбрей неожиданно обернулся и заметил маникюршу, сидевшую недалеко от него, слева. Жинетт чуть не умерла от стыда. Чего доброго он еще подумает, что она за ним следит, или, хуже того, будто ей тоже нравятся неприличные фильмы! Как только погас свет, она бросилась вон.

Два дня она с тревогой ждала визита господина Дюбрея. Но не успел он появиться перед ней, приветливо улыбающийся, и Жинетт увидела его отросшие ногти, как она сразу успокоилась. Он спросил, понравился ли ей фильм.

– Фильм довольно смелый, – отвечала она, потупя взор. И вдруг, собрав все свое мужество, оно спросила у него о том, что не давало ей покоя.

– А этот мальчик – ваш сын?

– Нет, – ответил он, – сын дворника.

Она не знала, обрадовало ли ее это открытие или разочаровало.

– Очень похвально с вашей стороны брать его в кино, – продолжала она, помолчав.

– Похвально и удобно, – ответил он, весело улыбаясь.

– Почему удобно?

– Потому что, как вы могли заметить, я невысок ростом и ничего не увижу, если какойнибудь верзила будет закрывать мне экран. Вот я и покупаю билет для мальчика, усаживая его перед собой. Так хотя бы я могу быть уверен, что смогу посмотреть фильм до конца и никто мне не будет мешать.

Этот его эгоизм ее удивил. Он что циник или просто не осознает того, что делает?

– А вы подумали о том, что заставляете мальчика смотреть вещи, которые еще рано знать в его возрасте? – спросила она.

– Учиться жизни никогда не рано!

– Но это же не жизнь!

– Нет, жизнь, – ответил он, прижмурившись и глядя ей прямо в глаза. – Это и есть жизнь!

И только это! Очень приятная жизнь, поверьте мне!

Ошарашенная, она склонилась над рукой господина Дюбрея, так старательно работая пилочкой, что она просто свистела, вгрызалась в ноготь. Они долго молчали. Наконец он спросил:

– Вы любите детей, мадемуазель?

– Да, – прошептала она.

Жинетт почувствовала, как на глаза ей наворачиваются слезы. Она продолжала пилить ноготь с какой-то тупой сосредоточенностью. Легкий запах паленого рога щекотал ей ноздри.

Она боролась с одолевшим ее колдовством, когда вдруг будто сквозь туман донесся до нее низкий

голос господина Дюбрея:

– Не хотите ли стать моей женой?

Она подскочила. В сердце клокотали одновременно ужас и радость. Не в состоянии на что-то отважиться среди этой бури чувств она пролепетала:

– Что вы говорите, мсье?.. Это невозможно!.. Нет! Нет!

Перед ней сидел господин Дюбрей, кругленький, приветливый и улыбался глазами, устами, всем своим существом.

– Подумайте, – сказал он, – я зайду завтра, В этот вечер он не оставил ей чаевых. Жинетт провела бессонную ночь, взвешивая все «за» и «против» его предложения. Двадцать лет она надеялась, что кто-нибудь из клиентов 38 Анри Труайя Руки предложит ей выйти за него замуж, так имела ли она право отказываться от возможности осуществить свою мечту? Правда, ей ничего неизвестно о господине Дюбрее. Ее немного смущала та темная полоса, которую она угадывала в нем. Но она убеждала себя, что каждая женщина имеет склонность к реформаторству и что она сумеет справиться с плохими наклонностями этого мужчины, как она справляется с его ногтями. На следующий день с холодной решительностью парашютиста, бросающегося в пустоту, она ответила ему «да».

Он хотел ограничиться очень простой гражданской церемонией, но она получила религиозное воспитание и во что бы то ни стало хотела венчаться в церкви.

Сын дворника был у них шафером. На свадьбу пригласили очень мало гостей. С ее стороны был персонал парикмахерской, с его – никого.

Во время венчания свечи погасли, орган сломался, а на мальчика-хориста напала икота. Эти незначительные происшествия не помешали сияющим от счастья молодым принять поздравления друзей в ризнице.

Сразу после этого они отправились в свадебное путешествие. Господин Дюбрей отказался сказать Жинетт, куда он ее везет. Она оказалась в роскошной венецианской гостинице, так и не понимая, как туда попала. Окна комнаты выходили на Большой канал. На возвышении стояла необъятная кровать золоченого дерева. В алебастровых вазах распускались белые цветы.

Ослепленная этой роскошью, Жинетт спросила себя, не грезит ли она.

Она обернулась к господину Дюбрею и, не помня себя от радости, протянула к нему руки.

Со сладостным замиранием ждала она, чтобы он подхватил ее на руки и понес на брачное ложе, покрытое леопардовыми шкурами. Но он не двигался с места, безвольно опустив руки, с хмурым и сосредоточенным лицом. Наконец он спросил у нее разрешения разуться.

– Конечно же, милый, – ответила она.

Он разулся, и она увидела, что вместо ступней у него раздвоенные копыта. Остолбенев от ужаса, он отступила к стене, не в силах произнести ни слова.

На следующее утро Жинетт проснулась счастливая и радостная в объятиях господина Дюбрея, одетого в цветастую шелковую пижаму. Быть женой дьявола оказалось не так уж ужасно, как ей казалось. В комнате вокруг нее белые цветы стали красными. На кресле вместо хлопчатобумажного халатика, который она привезла с собой, лежал золотистый кружевной пеньюар. В шкафах с открытыми дверцами висело полсотни новых платьев, одно другого краше. В комнату вошел слуга в ливрее, толкая перед собой столик на колесиках, уставленный серебряной посудой с фруктами и пирожными. Она успела лишь съесть апельсин, а они оказались уже во Флоренции. Потом господин Дюбрей щелкнул пальцами, и они перенеслись в Пизу, затем в Неаполь, а потом в Рим. Картины, которыми Жинетт восторгалась в музеях, ночью оказывались у нее в комнате. На рассвете они снова возвращались на свои места в выставочных залах. Никто ничего не замечал.

Пропутешествовав так целый месяц, они вернулись в Париж и поселились в собственном особняке на границе Булонского леса. Жинетт не вернулась больше в парикмахерскую, но профессии своей не оставила, так как ее супруг сам по себе стоил десяти клиентов. Каждый вечер часами она неутомимо трудилась над его ногтями, и профессиональная старательность умножалась супружеской нежностью.

Каждый день в девять часов утра он отправлялся на работу и возвращался ровно в половине седьмого вечера. В воскресенье, когда ему нужно было встретиться с кем-то вне дома, он обязательно возвращался к обеду. Никогда он не жаловался на свои служебные дела, никогда не отказывал жене в деньгах. В этой атмосфере семейного согласия и спокойствия в характере Жинетт

расцвели крепкие обывательские добродетели. Оба они жили долго и имели много детей с твердыми ногтями и раздвоенными копытцами на ногах.

Возвращение из Версаля

Возвращение из Версаля Жоржу стоило увидеть людей, толпившихся в большом зале, где были выставлены «произведения искусства и мебель из наследия госпожи Л.», чтобы понять, что торги в следующее воскресенье будут весьма значительны. Он искоса взглянул на жену и со страхом заметил жадный блеск в ее глазах. Ни он, ни она еще не бывали на аукционах, но их приятель Бергам часто повторял, что, обладая чутьем, в Версале за бесценок можно отхватить прекрасные вещи, поэтому они и решили попробовать счастья, да и случай выпал подходящий: они только что отремонтировали квартиру, перекрасили стены, и теперь сразу стали заметны ужасные недостатки в оформлении комнат. Жорж считал, что в гостиной обязательно нужна какаянибудь картина, чтобы заполнить простенок между окнами; Каролине же хотелось украсить свою комнату комодом в стиле Людовика XVI. А здесь у них просто в глазах рябило от всевозможных секретеров и круглых столиков с ценным покрытием, инкрустированных письменных столов, столиков, расписанных в итальянском стиле, источенных шашелем кресел, сумрачного блеска картин известных живописцев в золотых рамах. И теперь они с сожалением думали, что денег, отложенных на этот случай, им вряд ли хватит. Повернувшись к Каролине, Жорж пробормотал:

– У меня такое впечатление, что нам это не по карману! Здесь выставлены вещи только для богатых коллекционеров!

Она упрекнула его в извечном пессимизме и, слегка склонив голову, двинулась дальше за людьми, обходящими экспонаты. У нее было лицо человека, который, рассматривая все это, давно пресытился, и кто-либо другой на месте ее мужа принял бы ее за знатока-антиквара.

Их окружала элегантная шумная толпа. Знатоки отмечали номера в своих каталогах. Время от времени Каролина замечала:

– Прекрасный секретер!

Или же:

– Взгляни на этот чайный столик, какая прелесть!

– Да, да, – бормотал он. – Но они нам ни к чему!

Его же интересовали главным образом картины. Хотя по профессии он был инженерэлектронщик, но полагал, что разбирается в живописи. В общем, он предпочитал классических мастеров, даже когда речь шла о живописи немного манерной, как выставленные здесь картины. Он как раз хотел обратить внимание Каролины на акварель, изображающую горный пейзаж, но она вдруг, будто ведомая каким-то тайным чутьем, бросилась к кучке людей, толпившихся в десяти шагах от них возле эстрады. Заинтересовавшись, он тоже пошел за ней и через головы нескольких посетителей рассмотрел комод красного дерева в стиле Людовика XVI. Подняв на него глаза, Каролина прошептала:

– Ты видел, Жорж? *Мой* комод!

Лицо ее светилось такой радостью, что он почувствовал к ней нежность.

– Комод действительно прекрасен, – согласился он.

– И именно такого размера, как нам нужно! А какие стройные линии! Какая строгость!

Какая изысканность!

– Нужно рассмотреть его поближе!

Они пробрались между любопытными, но какие-то двое, мужчина и женщина, стояли перед самым комодом, будто защищая подступы к нему. Они не отходили, и Жоржу с Каролиной пришлось их потеснить. И тогда они увидели комод во всей его красоте. Он стоял на четырех витых ножках, окованных медью; три больших ящика, столешница из серого мрамора с серыми прожилками. Жорж только наклонился, чтобы лучше рассмотреть резьбу, как Каролина крепко сжала его руку и прошептала:

– Смотри, смотри быстрее!..

- Куда?

– Вон там. . . Справа. . .

Он выпрямился, проследил за взглядом Каролины и увидел лица мужчины и женщины, которые не давали им пробиться к комоду. Он вдруг ощутил холод в груди. Двое стариков, на которых он смотрел, будто застыли в немом, длящемся часами созерцании.

Лицами и одеждой эти двое так резко выделялись среди остальных посетителей, что сначала можно было подумать, будто они случайно забрели в зал погреться. Женщина – крохотная, сгорбленная, столетняя старушонка. Яркое сияние люстр освещало ее высушенное, как у мумии, лицо, на котором под тонкой, полупрозрачной кожей выпирали кости. Зрачки – две капли мутной воды между кровянистыми веками. Среди глубоких морщин щель вместо рта. На этой мертвой голове торчала какая-то странная черная шляпка – смесь лент, меха и перьев. Костлявые плечи закутаны в широкую фиолетовую шаль с бахромой. И словно подчеркивая ее немощь, на пальце сиял вправленный в перстень изумительной красоты зеленый самоцвет.

Мужчина, такой же старый, как и женщина, но выше и не такой сгорбленный, как она: у него был суровый профиль с хищным носом и кустистые брови. Кожа на лице изборождена многочисленными морщинами. В уголке губ – большая бородавка. На руках червями извивались вены. Плащ из темно-коричневого драпа спадал ему ниже колен. В руках он держал старую шляпу, и голый череп цвета слоновой кости, обрамленный венчиком седых волос, блестел.

– Как ужасно стареть! – прошептала Каролина, беря Жоржа под руку.

Возможно, старики догадались, что молодые говорят о них. Они засеменили прочь, поддерживая друг друга. И Жорж почувствовал, как тиски вокруг сердца разжимаются.

Именно тогда он заметил картину, висевшую над комодом. Большое законченное полотно, заполненное крохотными фигурками с перекошенными от ужаса лицами, которых небесный ангел сдувал в раскаленную бездну ада. Были здесь и судьи в рубашках с веревками на шее, и грешницы с оголенной грудью и окровавленными бедрами, банкиры, у которых сыпалось золото из рваных карманов, вояки с поломанными мечами, скряги верхом на свиньях. . . На втором плане виднелись вспаханные поля, приветливые деревни, горы, вершины которых терялись в туманной дымке. А выше, среди пены облаков сияли божественные весы. Но в правом углу картины полотно было разорвано, кое-как заштопано, и на этом месте грязно-коричневой краской было нарисовано что-то наподобие разваленной крепостной стены или скалы. Жорж отступил на шаг, прижмурился и застыл, околдованный чарующей наивностью композиции.

– Это, наверное, какой-то фламандский художник XV века, – предположил он. – Один из учеников Ван Эйка или Ван дер Вейдена. .

Он подозвал служащего, попросил каталог и начал его спешно листать.

– А! Вот! Номер сто семнадцать: «Фламандская школа XV века. Живопись на полотне, наклеенном на картон; повреждение в нижнем правом углу картины: 1,57x1,05 м». Вот видишь, я не ошибся! А ты что скажешь, тебе нравится?

– Картина очень красивая, только такая мрачная и печальная, что совсем не подойдет к нашему интерьеру, – ответила Каролина.

– Серьезно?

– Конечно, серьезно.

– Не понимаю тебя! Посмотри хорошенько! В каждом из этих лиц целая драма. Какое удивительное сочетание мук, страха и подлости! Кажется, тебе уже все известно и вдруг замечаешь новую деталь! Такую картину не надоест рассматривать всю жизнь!..

Чем больше он распалялся, тем с большим недоверием смотрела на него Каролина. Наконец он сказал:

– Я уверен, что не ошибаюсь!

Она надула губки и спросила:

– А я что, ошибаюсь насчет комода?

– Нет, нет, – пробормотал он. – Комод тоже хорош. А может, нам немного повезет, и мы сможем приобрести и то и другое?..

В нескольких шагах от них люди становились в очередь к лысому коротышке в очках в черепаховой

оправе, который давал объяснения. Очевидно, это был мэтр Блеро, официальный оценщик. Жорж с женой и себе пристроились за людьми, но когда подошла их очередь, первой заговорила Каролина:

– Комод в стиле Людовика XVI – действительно XVIII века?

– Нет, мадам, – ответил мэтр Блеро. – Но это очень красивый комод, элегантный, легкий. . .

– А как вы думаете, какую цену могут на него назначить на аукционе?

– Рассчитывайте на три-три с половиной тысячи.

– А номер сто семнадцать, картина фламандской школы? – спросил Жорж.

– К сожалению, она в плохом состоянии, – ответил мэтр Блеро. – Повреждение в нижнем правом углу, неумелые подрисовки. . . Думаю, около двух с половиной тысяч. . .

Жорж и Каролина, поблагодарив за справку, отошли в задумчивости. Обе суммы вместе превышали их сбережения. Но они решили, что в таких делах всегда может случиться какаянибудь чудесная неожиданность. Возвращаясь на машине домой, они изо всех сил старались быть как можно ласковее друг с другом, будто заранее испрашивая друг У друга прощения за те осложнения, которые, возможно, возникнут между ними завтра.

* * * Аукцион проходил в переполненном и душном зале, где не утихал шум. Торги шли довольно вяло, и это раздражало Жоржа, сидевшего рядом с Каролиной в гуще посетителей.

Его раздражала медлительность операций. Не может быть, чтобы столько людей могли интересоваться изделиями из фаянса и фарфора! Уже целый час он наблюдал странный поток белого парижского фаянса, неверских тарелок, японских чаш, севрских статуэток. Каждый раз, когда уже, казалось бы, запас посуды и фарфоровых безделушек должен был наконец иссякнуть, появлялось какое-то новое изделие, весьма бережно вносимое высоким комиссионером в черной спецовке, – и танец цифр возобновлялся. Да такими темпами до номера сто семнадцать очередь не дойдет и до ночи. Жорж, вытянув шею, искал свою картину среди кучи различных вещей, собранных вокруг эстрады, и никак не находил. А может, ее сняли с аукциона? Эта догадка его испугала. Он вздыхал, вертелся, ежеминутно поглядывал на часы, и в конце концов Каролина прошептала:

– Не нервничай так, Жорж!

– Но они никогда не закончат! Ужасно скучно!

– Не говори так! Здесь есть очень миленькие вещицы! Посмотри хотя бы на эту коробку для чая!..

Он удивился, насколько Каролина умеет владеть собой. Ну, конечно, комода ей хотелось намного меньше, чем ему картины. Чтобы как-то убить время, он стал записывать предлагаемые суммы на полях каталога, как это делали соседи. Наконец после молниеносной распродажи многочисленных блюд Индийской компании эксперт по старинному фаянсу и фарфору уступил место одному из коллег, и началась распродажа мебели.

Во время первых весьма жарких торгов Каролина сдерживала нетерпение, но когда два комиссионера внесли на эстраду комод в стиле Людовика XVI и поставили его на самом видном месте, щеки ее порозовели, ноздри задрожали. Окаменев на краешке стула, она каждую секунду готова была выпустить коготки и броситься в бой. . . Описав комод в нескольких словах, мэтр Блеро возвестил:

– Начнем с двух тысяч!

Каролина не успела произнести и слова, как уже дошли до двух тысяч шестисот. Предложения сыпались одновременно со всех сторон. Уполномоченный оценщик и оповеститель едва успевали их засекать. Глаза их бешено метались влево-вправо, как шарики. Торопясь, они захлебывались:

– Две тысячи шестьсот шестьдесят у меня слева! Нет, не вы, мадам из первого ряда, а мсье позади вас!..

– Две тысячи шестьсот семьдесят!

– Семьдесят пять! – крикнула Каролина.

Но голос у нее сорвался. Ее не услышали.

– Семьдесят пять! – повторил Жорж громко.

Она взглянула на него с благодарностью.

– Две тысячи семьсот! – огласил уполномоченный оценщик.

– Семьсот двадцать! – сказал Жорж.

Вцепившись в руку мужа, Каролина шепотом его подбадривала. Ему очень хотелось порадовать ее победой. Но попались неуступчивые противники. На трех тысячах двухстах франках он осмотрительно отступил. В то время как торги продолжались без него, Каролина прошептала:

– Ты действительно уверен, что мы не сможем продолжать?

– Да, любимая, – ответил он. – Это было бы глупо. У меня нет в банке таких денег. А следующий месяц будет трудным, ты же хорошо это знаешь. . .

Молодая женщина глубоко вздохнула, взгляд ее погас. Комод купил за три тысячи пятьсот пятьдесят франков какой-то толстяк с красным лицом, который, конечно же, не заслуживал такой вещи. В ту же минуту Жорж почувствовал странное облегчение, словно ему удалось избежать опасности, угрожавшей непосредственно ему. Он взял безвольно повисшую руку Каролины и поцеловал ее.

– Не грусти, мы найдем другой, когда крепче станем на ноги! – успокоил ее он.

Она заставила себя улыбнуться ему и храбро попыталась заинтересоваться судьбой столика для игры в триктрак, за который спорили две дамы: одна в бобровом, а другая в выдровом манто. Через десять минут выдровое манто победило. Побежденный бобер сник на своем стуле, и его мех потускнел, в то время как мех победителя, казалось, заискрился еще больше.

Мраморный бюст вызвал спор между экспертом, утверждавшим, что это изображение МарииАнтуанетты, и каким-то покупателем, который не узнавал лицо королевы. Раздраженный репликами покупателя, оценщик воскликнул:

– Даю голову на отсечение, что это она!

В ответ на остроту в зале послышался смех, и аукцион продолжался, подстрекаемый его возгласами:

– Восемьсот франков! Исключительный случай! За эти деньги вы не купите даже гипсовый бюст! Восемьсот тридцать справа! Пятьдесят!..

Каролина набила цену до восьмисот семидесяти пяти франков, и Жорж испугался, что она будет набавлять и дальше. Но говорила она без уверенности, скорее из желания развеяться, 45 Анри Труайя Возвращение из Версаля чем купить. В конце концов бюст словно с досады купил тот самый мужчина, который отрицал его сходство с королевой. Беря квитанцию, он снова проворчал:

– Это не Мария-Антуанетта!

Жорж пожалел королеву, попавшую к человеку, который отрицал ее титул. Жаркие баталии вызвали также круглый столик в стиле ампир и столик-консоль в стиле Людовика XV, а затем эксперты снова поменялись, и наступила очередь картин. Жоржу показалось, что воздух в зале наэлектризовался. Несколько светлых слащавых картин французских живописцев XVIII века, которые были поданы вначале, словно легкая закуска, разожгли его аппетит.

Настроен он был очень решительно, когда мэтр Блеро объявил:

– Интересная картина XV века. Фламандская школа живописи. «Шествие грешников».

Эксперт охарактеризовал повреждение полотна. Комиссионер поднял картину, чтобы показать публике. На этот раз она показалась Жоржу еще более прекрасной, чем накануне.

Как жаль, что он не может любоваться ею наедине. Но уже несколько человек из первого ряда поднялись и рассматривали краску через лупу, гладили раму. Очевидно, это торговцы картинами. Рассказывали, что частное лицо не может бороться с их корпорацией, так как если один из них интересовался какой-то вещью, они всем скопом финансировали операцию, чтобы потом поделить разницу. Начало было скромным: две тысячи франков. Это вселило в Жоржа надежду. До двух тысяч восьмисот торга были вялы. Уполномоченному оценщику приходилось просто силой вынуждать публику. Жорж каждый раз спокойно и выдержанно прибавлял по пятьдесят франков. Мэтр Блеро немедленно его заметил и уже улыбался ему, как старому знакомому. Жоржу уже не нужно было говорить или поднимать руку. Достаточно было кивнуть головой, и его понимали без слов. На трех тысячах двухстах франках ему показалось, что он выиграл. Когда эта цифра была названа, наступило глубокое молчание.

Мэтр Блеро повторил:

– Три тысячи двести франков за эту прекрасную картину фламандской школы. Все слышали? Три тысячи двести. . . Тогда я ее отдаю!..

Но он не спешил опускать молоток, шаря глазами по залу. «Что он делает? – переживал Жорж. – Он не имеет права так долго ждать! Картина моя!»

Молоток медленно опускался. Когда он уже почти коснулся стола, кто-то позади Жоржа крикнул:

– Три тысячи триста!

Жорж: задрожал от злости и ответил:

– Три четыреста.

– Пятьсот, – воскликнул неизвестный.

– Шестьсот, – ответил Жорж.

– Семьсот!

– Восемьсот!

– Девятьсот!

Каролина положила руку на руку мужа:

– Жорж, – прошептала она, – подумай!

– О чем?

– Ты говорил мне, что можешь рассчитывать только на три тысячи двести франков.

Это замечание обидело Жоржа, тем более, что оно было справедливо.

– Я знаю, что делаю, – огрызнулся он.

Он кивнул головой, и уполномоченный оценщик объявил:

– Четыре тысячи.

– Четыре двести в глубине зала, – сказал оповеститель.

– Четыре четыреста у меня справа, – сказал мэтр Блеро. – Четыре шестьсот – у мадам.

Четыре семьсот – снова в глубине. . . Восемьсот. . . Девятьсот. . .

Цифры менялись так быстро, что Жорж не успевал их осознать. Сначала у него было четыре или пять, конкурентов. Вскоре осталось только двое. Потом только один, позади него, слева.

– Шесть тысяч, – объявил мэтр Блеро.

Жорж склонил голову. Каролина прошептала:

– Ты с ума сошел?

Но ему казалось, что он никогда еще не был таким нормальным. Сейчас он должен совершить самую выгодную в своей жизни покупку. Но эта картина стоит в два, в три раза больше! Главное – не спасовать. Наступило долгое молчание, и ему снова показалось, будто судьба сжалилась над ним. Но нет, вот у него за спиной кто-то опять набил цену:

– Шесть тысяч двести.

– Шесть триста, – ответил Жорж.

И он обернулся, чтобы посмотреть, осмелится ли на этот раз кто-нибудь предложить больше. На какую-то долю секунды он потерял связь с действительностью. К сердцу подкатил липкий холод. Позади, слева, за три ряда от него сидели двое стариков, которые так его заинтриговали накануне, во время осмотра вещей, выставленных для аукциона.

Старик поднял вверх палец и сказал:

– Шесть тысяч пятьсот.

Жорж встретил его взгляд, напоминавший взгляд хищной птицы. Ему показалось, что его пронзили

насквозь.

– Ты видела, кто сидит позади нас? – шепотом спросил он у жены.

– Да, – ответила Каролина.

– Но это же безумие! Они одеты, как нищие, и могут платить такие деньги за картину!

– Шесть тысяч пятьсот у мсье. . . Все слышали? Шесть тысяч пятьсот, отдаю. . . – сказал мэтр Блеро.

– Семь тысяч, – крикнул Жорж.

Старик вздрогнул и наклонился к жене посоветоваться. Очевидно, они колебались. Скорее всего у них больше не было денег. Но, скривившись, словно от боли, старик сказал:

– Семь тысяч триста.

И тогда Жорж почувствовал в голове ослепительную вспышку. Будто перевернули песочные часы. Все перевернулось: верх стал низом, пустое – полным, прозрачное помутнело, прошлое стало нынешним. . . Жорж хорошо знал, что у него в банке всего три с половиной тысячи франков, что в ближайшие месяцы ему нечего надеяться на какую-то непредвиденную прибыль и если он все-таки купит картину, то потом будет горько раскаиваться, но никак не мог решиться отступить. Заполучить картину стало теперь для него вопросом жизни или смерти. Для него все потеряло ценность, кроме этого куска закопченного полотна с искалеченными фигурами и искаженными лицами. Щедрый пот покрыл его лоб. Он сказал:

– Восемь тысяч.

Жоржу показалось, будто он слышит прерывистое дыхание старика, которого добил этот удар Может, уже конец? весь сияя от удовольствия настоящего коммерсанта, оценщик подбадривал противников:

– Восемь тысяч!.. Это несравненное полотно всего за восемь тысяч!..

– Восемь с половиной, – глухо сказал старик.

Оценщик радостно подхватил:

– Восемь с половиной!

Очки его весело поблескивали, молоток слоновой кости танцевал в белой руке. Он улыбался с триумфом, это был сам дьявол.

– Девять тысяч! – сказал Жорж.

Каролина трясла его за руку, будто желая разбудить.

– Оставь меня, – он с досадой выдернул руку.

И снова оглянулся. Старики, наклонив головы, смотрели на него, словно пара филинов.

Уродливые, ободранные, недобрые; старик с голым желтым черепом и кустистыми бровями и старуха с лицом мертвеца, на котором мерцали два, будто стеклянных, зрачка. Губы старика едва заметно шевельнулись. Ни один звук не сорвался с них. Но оценщик злорадно улыбнулся:

– Девять с половиной тысяч! – объявил он.

А затем перевел взгляд на Жоржа. И под этим настойчивым взглядом Жорж почувствовал, как силы покидают его и мысли замедляются. Среди неестественной тишины он услышал собственный голос:

– Десять тысяч!

– Жорж! – вскричала Каролина. – Это невозможно! Неужели ты собирался платить целый миллион?

– Десять тысяч, – повторил в восторге оценщик. Кивком головы он поздравил клиента, решившегося на этот шаг, в то время как дрожащей от возбуждения рукой он приглашал второго снова повысить ставку. С этой минуты всякое проявление жизни исчезло на земле.

Жорж слышал лишь, как глухо бьется сердце где-то вне его. Медленно тянулись тяжелые, как телеги, секунды. Мэтр Блеро поднял молоток. Он покачивает им в воздухе, чтобы продлить мучения. Полузакрыв глаза, Жорж молился, чтобы старик отказался от торгов. Вдруг молоток опустился с сухим стуком:

– Продано!

В эту минуту Жорж не мог поверить, что выиграл. Но ведь он выиграл! Именно к нему направлялся оценщик. Он записал фамилию Жоржа и выдал квитанцию. Жорж просто захлебывался от счастья. Он вытер платком вспотевшие ладони. Жена удивленно смотрела на него, будто видела впервые. Да и сам он разделял с ней это удивление и опасение. До конца аукциона он чувствовал свою раздвоенность, словно со стороны наблюдая за своими действиями и мыслями. Наконец последняя вещь из каталога была продана и люди начали подниматься с мест. Жорж подписал чек, две трети которого оплатить не мог, и получил картину.

Выйдя на улицу с картиной под мышкой, он удивился, что уже темно. Холодная, сырая ночь, пропитывавшая все печалью, как чернила, пропитывающие промокашку.

– Ну что, доволен? – язвительно осведомилась Каролина.

– Очень доволен, – ответил он, – А как ты думаешь расплачиваться?

– Как-нибудь выкручусь.

Автомобиль они оставили в запрещенном месте, и на ветровом стекле теперь красовалась квитанция на штраф. Жорж выругался, положил картину на заднее сидение, завернув ее в газеты. Он вел автомобиль, чувствуя за спиной процессию уродов, которые отныне всегда будут рядом с ним: скупец, развратник, насильник, обманщик, изменник. . . Нет, не так уж и дорого заплатил он за них. Конечно, у него нет денег на оплату этого чека. . . Хорошо! Он займет у отца, друзей, Бергама. . .

Чтобы помириться с Каролиной, Жорж предложил ей поужинать в ресторане. Она попробовала отказаться, но муж так настойчиво ее убеждал, что в конце концов она согласилась, ответила ему взглядом одновременно уничтожающим и ласковым, и он повез ее в роскошный и шумный итальянский ресторан, известный свежими мучными блюдами. Повеселев от 48 Анри Труайя Возвращение из Версаля выпитого кьянти, она немедленно забыла свои обиды и опасения. А Жорж тем временем не переставал думать о картине, оставленной в автомобиле. Какая неосторожность! Конечно, он запер дверцы и перевернул полотно так, чтобы извне нельзя было заметить, что это картина, но он не успокоится, пока не повесит этот шедевр в гостиной. Время шло, и Жорж все больше волновался. Он отказался от десерта, заплатил по счету и потащил Каролину на улицу.

Картина лежала на заднем сидении, там, где он ее оставил. Жорж сел за руль и с большой предосторожностью повел машину домой.

Среди ночи он вдруг проснулся и так ясно осознал весь ужас своего положения, что тихо застонал. Мгновенно отрезвев, Жорж не мог теперь понять, как он вчера решился на такой несерьезный шаг со всеми его последствиями. Разве отец, Бергам или его друзья настолько богаты, чтобы одолжить ему деньги, которых не хватает на его счету в банке? Чек будет опротестован. Его будут преследовать в судебном порядке. Начнут высчитывать из зарплаты.

Может, придется даже бросить работу, Его ждет скандал, нищета, позор. . . Жоржу стало жарко, он сбросил одеяло. Единственный выход – снова продать картину. Но он же никогда не вернет выброшенные на нее деньги. Если бы не настойчивость этих мерзких стариков, все было бы хорошо.

Теперь, холодно все взвешивая, Жорж засомневался в ценности полотна. Уполномоченный оценщик говорил ему, что это пятно справа, замазанное грязной коричневой краской, на две трети обесценивает картину. А впрочем, эксперт, помогавший мэтру Блеро, оценил ее в две с половиной тысячи франков. Он, наверное, потерял голову, когда нагонял цену до десяти тысяч, забыв, что не имеет столько денег. Теперь хоть головой о стену бейся, горю не поможешь.

А Каролина спит себе преспокойно! Жорж в темноте прислушался к ровному дыханию жены и позавидовал ее беззаботности. Его охватило отчаяние при одной мысли о будущих хмурых днях. Он повернулся на один бок, потом на другой и вдруг встревоженно прислушался.

Среди глубокой тишины ему послышался шорох одежды, шарканье чьих-то ног. Вот заскрипел паркет. Воры? Жорж резко вскочил. На ощупь надел халат. Но подозрительный шум утих и больше не повторялся. Может, ему послышалось? Ему ужасно захотелось еще раз взглянуть на картину. От этого ему, наверное, станет спокойнее.

Осторожно ступая, он направился в гостиную. Нащупал выключатель. Яркий свет люстры на мгновение его ослепил. Но вот он увидел «Шествие грешников». Изумительно! А ведь он еще не чистил картину! Жорж вспомнил, что Бергам советовал ему для удаления грязи со старинных картин собственное изобретение – очень слабый раствор хозяйственного мыла и зубной пасты. Завтра он испробует это средство. А почему завтра? Сейчас! Немедленно! Он понес картину в кухню, вынул полотно из рамы, приготовил мыльный раствор, выдавил в него немного пасты и чистой тряпкой, смоченной в растворе, начал осторожно протирать картину.

Прежде всего он попробует в уголке и немедленно прекратит, если заметит, что портит краску.

Но нет, Бергам вроде не соврал! Результат был просто удивительный! Жорж осмелел и начал тереть уже больший кусок полотна. Под влажной тряпкой на картине оживали краски. Одежда грешников заиграла ярким алым цветом, нежной зеленью и чистой голубизной. Пейзаж на заднем плане обозначился четче и заблестел, словно умытый теплым летним дождем.

Жорж с большой осторожностью начал тереть правый угол картины, где расплывалось сплошное коричневое пятно. Грязь или краска? Скорее всего, и то и другое. Тряпка медленно и терпеливо кружила по поверхности. И вдруг в этом сплошном темном пятне он увидел просвет. Будто поднялась вуаль, а за другими вуалями показалось нагромождение каких-то призрачных форм, будто водоросли, тянущиеся к свету из глубины илистого пруда.

Возбужденный этим открытием, Жорж еще прилежнее стал тереть замазанный угол.

Неужели ни эксперт, ни главный оценщик не догадались почистить картину, прежде чем 49 Анри Труайя Возвращение из Версаля выставлять ее на аукцион? Какая небрежность! А может, только Бергамово средство способно очистить загрязненные картины, не причиняя им вреда? Одно, во всяком случае, было ясно: на том месте, где еще десять минут назад ничего не было, теперь что-то проступало сквозь краску, рождалась какая-то новая жизнь. На радостях Жорж хотел было позвать жену. Но остановил себя: сначала нужно все закончить. Каролина будет в восторге! Он взял чистую тряпку, выпил стакан воды и снова погрузился в работу.

Страшный крик разбудил Каролину. Она села в кровати. Мужа рядом не было. Обеспокоенная, она позвала:

– Жорж! Жорж!

Никто не ответил. Она встала, надела тапочки и вышла в коридор. В кухне горел свет. Она приоткрыла дверь и застыла на пороге. Жорж лежал на спине возле холодильника, ухватившись руками за грудь, с открытым ртом и закатившимися глазами. У Каролины закружилась голова. Она еще раз пролепетала: «Жорж! Жорж!» – и бросилась к нему. Ему плохо, он потерял сознание. Она трясла его, целовала, но он не шелохнулся. Скорее врача! Поднявшись, она заметила на столе «Шествие грешников», и у нее перехватило дыхание. В правом углу картины, где до этого было сплошное грязное пятно, теперь ясно проступали две фигуры: мужчина и женщина – они стояли на коленях, рядышком, профилем к зрителю, молитвенно сложив руки в позе, традиционной для дарителей на средневековых картинах. Где она их видела?

До подбородка старики кутались в богатые парчовые одежды, обшитые мехом. У мужчины была лысая голова, обрамленная венчиком седых волос, у женщины высохшее лицо мумии и перстень с зеленым самоцветом на пальце.

Врач объяснил смерть Жоржа болезнью сердца. Каролине пришлось одолжить денег у свекра и Бергама, чтобы расплатиться за картину. Через месяц она решила ее продать, так как не могла выносить самого вида полотна. Первый же торговец, которого она пригласила, был поражен свежестью красок, внимательно рассмотрел картину вблизи и предложил в три раза больше того, что отдал за нее Жорж.

Колдовство

История эта приключилась со мной еще в армейские годы. Поезд, в котором я возвращался из увольнения, остановился на каком-то мрачном полустанке, снаружи слышался скрежет тележек.

Раздался свисток, дверь вагона распахнулась, и в купе ввалились два солдата. Одеты они были в толстые грубые шинели, на голове у каждого была пилотка пехотинца. Увешанные внушительными вещмешками, наспех перевязанными пакетами, помятыми флягами, они на мгновение застыли, щурясь от желтого света лампы. Заметив мое присутствие, один из них небрежно махнул рукой возле уха и для проформы буркнул что-то вроде «спадин летнан».

Второй же с размаху бросил свою ношу, и битком набитые вещмешки с грохотом рухнули на полку. Дремавший в углу какой-то почтенного возраста господин от неожиданности подскочил.

– Извините, – проворчал солдат.

Пока наши новые попутчики расстегивали пояса и снимали шинели, я успел рассмотреть их получше.

Один – толстощекий, румяный, поросший сивой щетиной здоровяк, другой – маленький, с зеленоватым цветом лица горемыка. Обмотанный вокруг шеи шерстяной защитного цвета шарф

доходил ему до самого подбородка.

Усевшись рядом, положив руки на колени, уперев взгляд в оконное стекло, они, казалось, чего-то ждали. Коротким рывком поезд тронулся. Пробиваясь сквозь задернутые шторы, за окном поплыли огоньки.

– Наконец-то! – проворчал тщедушный доходяга и размотал свой шарф.

Здоровяк же удовлетворенно засопел, бросил беглый взгляд на пассажира в штатском и произнес:

– Мы должны вам объяснить, господин лейтенант. Конечно же, мы не имеем права ехать первым классом. Оно так и должно быть. Если все будут лезть в первый, зачем тогда нужен второй.

– Конечно, – сказал я, сдерживая улыбку.

– Но мы – это не тот случай. К тому, кто возвращается из увольнения, должно быть особое отношение. Он вкусил сладкой жизни. Он доставил кому-то радость. Ему надо оказывать всяческие почести заранее, – Вы из увольнения?

– Еще бы! Уж мы погуляли! И клянусь, что я не терял времени даром со здешними кошечками!

Он рассмеялся:

– Ну, братцы! Наши-то девчонки меня знают. Знают, что у меня нет перерывов на обед.

Не то, что с их неполноценными дружками. . .

На что худосочный коротышка огрызнулся:

– Ты заткнешься? А то еще и поверят. А вы, господин лейтенант, вы что, тоже, наверное, из увольнения?

– Да.

– Какая досада.

Он сплюнул на пол.

– Меня зовут Солейхавуп, – представился здоровяк. – А его Планш. Мы из одной роты.

Только он, бедняга, все время хандрит, а я, я ничего!.. – Он улыбнулся мне во весь рот, полный гнилых зубов, и повторил: – Я ничего. Никто не умеет так приспособиться, как я.

Сказав это, Солейхавуп замолчал и закурил трубку с засаленной головкой. Старик заерзал на месте.

– Не будете ли вы так любезны погасить свет? – сказал он, – Сейчас, только глотну разок, – властно возразил Солейхавуп. И, запрокинув голову, держа флягу обеими руками, направил струйку прямо себе в глотку. Напившись, он стер с губ фиолетовые капельки вина и передал флягу товарищу.

– Вы не важничаете, – обратился Солейхавуп ко мне, – и это приятно. Меня лично тошнит от тех, кто важничает. У нас в полку есть капитан, так вот он здоровается раньше, чем ты успеешь отдать ему честь. Вот это, я понимаю, по-людски!

– Свет, ради Бога, – взмолился старик.

– Сейчас, – резко ответил Солейхавуп, по-видимому слегка захмелев. – Бог для того и создал электричество, чтобы люди им пользовались. Я вот вам сейчас покажу одну штуковину, господин лейтенант.

Он извлек из карманов целый ворох платков, шнурков, перочинных ножей, старых писем, посыпанных табаком, разложил все это на полке и медленно стал разбирать своими толстыми неуклюжими пальцами эти сокровища. Затем он протянул мне какую-то медную шайбу с выдавленными на ней кабалистическими знаками.

– Что это?

– Это талисман, он приносит счастье. Когда он со мной, у меня все в порядке. Как-то раз я его забыл, и адъютант Муат обвел меня вокруг пальца.

– Так вот кто отвинтил все гайки, – вставил Планш.

– Тебя не спрашивают, – огрызнулся Солейхавуп. – Этот коротышка всю жизнь прожил со своими

стариками и думает, что все такие же забитые, как и он. А вы, если хотите, можете поспрашивать у местных, что они обо мне думают, И вам ответят: «Солейхавуп прослыл сорвиголовой. И если он вышел целым и невредимым из всех передряг, так только благодаря вот этой самой шайбе». Вам скажут именно так, и это будет правдой! Взять хотя бы историю с фермой Рустуфля.

– Что еще за ферма? – спросил я.

– Да вы ее не можете знать. Для этого надо быть местным.

– Все, сейчас он начнет рассказывать свою историю, – удрученно сказал Планш.

– И расскажу, если захочу! И не тебе, а господину лейтенанту и вот этому штатскому.

Старичок снова забеспокоился и робко напомнил:

– Вы могли бы погасить свет. . . Рассказывать можно и в темноте. . .

– Ладно, – сдался Солейхавуп, – к тому же мой рассказ лучше слушать в темноте. Но сначала я хотел бы попросить вас об одной услуге, господин лейтенант. Вы делаете пересадку в Шалоне?

– Да.

– Мы тоже. Но только мы, по-видимому, не сможем влезть в поезд для рядового состава. . . а вы, как офицер, имеете право ехать в вагоне для гражданских, где полки мягкие, как перина. Так вот мы бы хотели пристроиться к вам и проскочить в первый класс. Никто не осмелится и слова сказать, все подумают, что мы ваши денщики.

– Договорились.

– Все, гашу свет!

Купе погрузилось в темноту.

Планш приоткрыл занавеску, и купе наполнилось холодным лунным светом. Поезд мчался среди дивного пейзажа. Прислонившись к оконному стеклу, я смог разглядеть, как снежные холмы сбегают в зеленовато-голубую бездну какой-то реки. С другой стороны по склону взбегал хрустальный от инея лес. Но в следующую минуту его заслонила гряда набежавших 53 Анри Труайя Колдовство из темноты скал. Вот паровоз пронзительно засвистел. На стыках постукивали колеса. Поезд погрузился в гулкую темноту тоннеля.

Когда же луна опять заблестела в окне, я повернулся, чтобы посмотреть на моих попутчиков.

Лицо Солейхавупа отсвечивало голубым. Планша же перекосило, словно покойника.

– Тебе обязательно нужно рассказывать твою историю? – пробормотал он.

– Он уже слышал ее, – доверительно шепнул мне Солейхавуп. – Ему становится страшно, когда я ее рассказываю. . .

Старичок, ровно дыша, спал с открытым ртом.

– Итак? – спросил я.

– Это странная история. Можно верить, а можно и не верить, но все было именно так.

Сейчас на первом же повороте вы увидите ферму Рустуфля. . . скорее то, что от нее осталось.

Вот она, смотрите, вон там маленькое черное пятно, точно куча навоза.

– Где? Не вижу!

– Да выше, на холме.

И в самом деле я увидел груду обрушенных камней посреди широкой просеки.

– Это она и есть?

– Да, она самая. Но раньше все это выглядело иначе. Красивый правильной формы дом, весь белый, с низко посаженной, словно натянутая на нос шляпа, крышей. Папаша Рустуфля жил там со своей женой. Жена его была крупной, ширококостной женщиной. Она часто занималась тем, что шептала что-то по углам. Поговаривали, будто бы она вызывала нечистую силу. Сам папаша представлял собой жирную тушу, поросшую рыжей щетиной. На руках, на ушах, на щеках до самого носа – везде все та же щетина. Кроме того, то ли из-за болезни, то ли из-за несчастного случая, не знаю, у него

были парализованы ноги. Поэтому целыми днями он просиживал в своей инвалидной коляске. У меня в то время уже не было ни отца, ни матери, и я жил в сиротском приюте. Единственным моим богатством была вот эта, Бог весть откуда взявшаяся, медная медаль. Мне было двенадцать лет, когда меня определили батраком к Рустуфля. Главной моей обязанностью было возить старика в коляске. Работенка-то не пыльная! У Рустуфля был сын Огюст, примером, с этого штатского, который прикидывается спящим. Но, конечно, гораздо моложе. Он работал в Париже в страховой конторе и изредка заезжал на ферму проведать родителей. У Рустуфля было важное занятие – они судились из-за межи с соседом Симеоном Кудром. На меже их участков протекала река Дувина, и, конечно, каждый доказывал, что именно ему принадлежат оба берега речушки. И их можно понять!

– Не могли бы вы, любезный, говорить немного потише, – попросил гражданский.

– Вы потом пожалеете, если ничего не услышите.

– Еще бы! – хихикнул Планш.

– Тяжба тянулась уже много лет, – продолжал Солейхавуп, приблизив ко мне свое круглое, как зад, лицо. Огюст Рустуфля желал положить конец распрям, бросался от присяжного к поверенному, от поверенного к присяжному и посылал своим родителям нежные письма, которые я должен был им читать. Писалось в них только о Земельном кодексе, постановлениях суда, об освидетельствовании судебными исполнителями и прочая дребедень. В конце концов папаша Рустуфля не выдержал.

– И не он один, – прошептал Планш.

Штатский натянул пальто на голову.

– Как сейчас вижу хозяина сидящим у окна, – продолжал Солейхавуп. – Он смотрел на дом Симеона Кудра, стоящий напротив, и рычал: «Дрянь! Мокрица! Гнойный ядовитый 54 Анри Труайя Колдовство прыщ! Я еще пройдусь по тебе ногами!» Это он просто так говорил, конечно. Иногда папаша Рустуфля орал, как оглашенный, и от этого крика вены у него на висках надувались, точно канаты. Я каждый раз боялся, как бы они не лопнули. Нависая над его креслом, мамаша Рустуфля бормотала проклятия:

«О! Иисус! О! Мария!

Пусть его съест малярия.

О! Мария! О! Иисус!

Пусть его изгложет гнус».

После каждой фразы она хлопала в ладоши, как хлопают, чтобы убить комара. В один прекрасный день они узнали, что Симеон Кудра на нашем берегу Дувины насадил живую изгородь и таким образом завладел обоими берегами. Рустуфля побагровел, затем посинел, а потом побледнел, вот как этот господин, притворяющийся спящим.

– Оставь ты его, – сказал Планш.

– Рустуфля принялся колотить себя по башке своими волосатыми кулачищами. Старуха ходила по комнате взад и вперед, как помешанная, трясла головой, заламывая руки: «Нет, больше этого терпеть нельзя, Рустуфля! Огюст со своей тяжбой только даром тратит время!

Нет, законным путем здесь ничего не добьешься!» Рустуфля открыл было пасть, хотел что-то сказать, но закрыл ее, так ничего и не родив, и стал думать. Жена присела рядом с ним на коврик. Они стали тихо совещаться, видно затеяли неладное. Я сидел в своем углу и наблюдал за ними. Для Рустуфля я был не больше чем щенок. Они не стеснялись меня, говоря, что я просто идиот. И я прикидывался идиотом, чтобы успокоить их. Когда у меня зубы начинали стучать от страха, я нащупывал в кармане медальон. . .

Поезд остановился на полустанке. Кто-то бежал вдоль состава.

– Это за нами, – шепнул Солейхавуп. – А мы с вами уже так сдружились. . .

Шаги удалились. Поезд медленно тронулся, штатский высыпал на ладонь несколько таблеток и проглотил их.

– Ну, я продолжаю, – заявил Солейхавуп. – Кончив шушукаться с женой, Рустуфля спросил:

– Солейхавуп, ты знаешь дом Гиацинта-костоправа? Так вот ты меня сейчас туда отвезешь.

Позавчера я порезал палец, а у него есть хорошая мазь.

И вот мы в пути. Я толкаю его кресло, а он все твердит: «Быстрее! Быстрее! У тебя в жилах вода, а не кровь!» У Гиацинта была старая, покосившаяся хибара, стоящая между трех елок.

У дверей собачья конура. Пуста, но изнутри что-то лает. Рустуфля начал колотить в дверь костылем. Дверь отворилась, я хочу войти вместе с ним, но Рустуфля бьет меня по рукам:

«Пошел вон. Я сам». Работая костылем, как кормовым веслом, он затолкал коляску вовнутрь, и дверь за ним закрылась. Я остался один. Рядом ни одной живой твари. Я принюхиваюсь – пахнет серой и болотом. Не иначе, здесь не обошлось без колдовства. От любопытства у меня защекотало в животе. Я взбираюсь на конуру, а оттуда все еще что-то рычит. Я приник к стеклу и. . .

Солейхавуп поднимает вверх свой пухлый, как сосиска, палец. Он дышал мне прямо в лицо и смотрел круглыми от страха глазами.

– . . . и вижу комнату, заставленную стеклянными колбами: они кажутся перекосившимися от болезней, а в них кипят жидкости тридцати шести цветов. Со стен свисают дохлые змеи, чучела летучих мышей, пучки трав и кошачьи хвосты. В подсвечниках дьявольской формы горят три свечи. Рустуфля сидит спиной к окну. Гиацинт стоит перед ним, длиннющий костлявый старик с седой, будто из меха, бородой, а на носу три пары очков. Я слышал Рустуфля 55 Анри Труайя Колдовство так четко, как если бы это говорил сам.

– Я хочу, чтобы его дом сгорел, завтра в полночь, и чтобы его сердце лопнуло, как арбуз, и глаза вылезли на лоб.

Сказав это, он плюет на пол. Гиацинт похлопал его по плечу: «Ладно. Вот тебе восковая кукла. Я ее заколдую, а ты закопаешь ее этой же ночью на поле твоего врага».

Тут костоправ вынимает из кармана маленькую желтую абсолютно голую куклу с огромным животом, руками-соломинками и ногами без ступней, Повинуясь движениям его руки, кукла начинает как бы танцевать, а он повторяет:

«Огонь в дом, Огонь в сердце, Огонь в глаза. . . »

Затем он берет со стола длинную иглу и протыкает насквозь этого воскового человечка, приговаривая при этом:

«Отец наш подземный, покажи свое умение. . . »

Затем он хватает куклу за ногу и окунает в миску с кровью. Тут меня с конуры будто ветром сдуло, а зубы от страха так и стучат. Я хочу перекреститься, но не могу поднять руки.

Я хватаюсь за свой медальон, а он жжет огнем. А из конуры по-прежнему лает собака. Ух, просто жуть!

– Ты немного приплел по сравнению с последним разом, – робко вставил Планш.

– Возможно, но это чистая правда.

– Я в этом не сомневаюсь, – сказал я.

Солейхавуп лукаво взглянул на меня:

– А я вижу, вас забирает эта история.

– Еще бы!

– Итак, стою я возле хибары, а меня всего так и колотит. В этот момент дверь открывается и Гиацинт выкатывает кресло Рустуфля на порог. Я смотрю, а у того вид, как у несвежего холодца – того и гляди сейчас расползется: «Давай кати, малый». И я качу его по тропе, усыпанной булыжниками, каждый величиной с кулак. «Быстрее! Быстрее! Давай к Дувине, болван!» Я перехожу на бег, кресло подпрыгивает, мотается из стороны в сторону, трещит, вот-вот развалится. Пошел дождь, но внезапно, как будто сдернули покрывало, прекратился.

Мы поворачиваем направо, затем налево. Оказываемся в самой чаще. «Быстрее! Быстрее!» И вот река. Она плавно катит гладкие, без единой волны, воды. Вконец загнанный, я останавливаюсь возле изгороди из кольев и проволоки, которую накануне на нашем берегу соорудил Симеон Кудра. Рустуфля приподнимается в кресле. Хватает два кола и вырывает их из земли без единого звука. «Отвязывай лодку». Я пролажу в дырку, отвязываю старую плоскодонку, придерживая ее ногой. Затем начинаю втаскивать Рустуфля. Когда я вкатываю коляску, лодка начинает крениться назад, Я кричу: «Мы сейчас перевернемся». «Нет», – отвечает Рустуфля.

Когда же кресло въезжает полностью, лодка принимает нормальное положение. «Подложи что-

нибудь под колеса». И я подкладываю. «Греби». Я начинаю грести. И пока я работаю веслами, я вижу перед собой Рустуфля: лицо у него распухло, брюхо свисает чуть ли не до колен. И слышу, как он пыхтит, будто хочет снести огромное яйцо. «Ага, наконец приехали!»

Я привязываю лодку к дереву. Кресло слишком высокое, и Рустуфля приходится нагибаться, и кончиками пальцев, одними ногтями, он начинает рыть. Достает из кармана восковую 56 Анри Труайя Колдовство куклу. Смотрит на нее. У него в руках это всего лишь странный маленький труп, не более.

А напротив, в двухстах метрах, окна усадьбы Симеона. В них горит свет. Эти окна кажутся живыми и смотрят на нас, точно чьи-то глаза.

– Где ты это все вычитал? – прогнусавил Планш. Его всего трясло от страха, но он заставлял себя шутить.

– В своей голове, чудак! Да, они смотрели на нас, точно чьи-то глаза. Временами казалось, что они приближаются к нам, а потом смотришь, вроде и нет, они там же, где и были. Я думал, что нас услышат, так сильно скрипело кресло и так громко сипел Рустуфля.

Вся эта колдовская ересь, восковая кукла, наговоры, ночь. . . Это не проходит даром, за такое приходится платить! Чтобы хоть как-то смягчить свою вину, я стал молиться. Наконец ямка была готова. Рустуфля, как цыпленка в кастрюлю, положил в нее куклу. Она легла, словно подкидыш. Вижу, на лбу у хозяина выступили капельки пота, ему явно не по себе. Кончиками пальцев он сгребает в канавку немного земли. Затем останавливается: «Я больше не могу, давай ты, Солейхавуп». Поборов в себе страх, я в свою очередь на время становлюсь могильщиком. Мне стыдно, как если бы я хоронил кого-нибудь по-настоящему. Тут я представляю, как земля проваливается под моей рукой, пальцы ощущают могильную пустоту и чьи-то зубы впиваются в мою ладонь. «Хватит, сойдет, – шепчет Рустуфля. – Уходим». И когда я вновь берусь за весло, слышу, как он бормочет: «Завтра в полночь! Все превратится в пепелище».

Планш отвинтил с фляги крышку и хлебнул немного вина.

– Подай мне флягу, Планш, – попросил Солейхавуп, – что-то у меня пересохло в горле.

Поезд катился вдоль берега реки. Воздух в купе пропитался запахом вина, пота и влажного белья. Вагонное дерево потрескивало, как постаревшая от времени мебель. Раздался гудок паровоза, долгий, безнадежный. Под колесами с лязгом пронесся мост. Солейхавуп отдал флягу.

– На следующий день в половине двенадцатого Рустуфля с женой ждали у окна. Они пялили глаза на дом Симеона Кудра. В эту минуту трудно было предположить, что это стоят живые люди. Однако время от времени они переговаривались какими-то ватными голосами.

«Осталось двадцать минут». «Осталось пятнадцать минут. Ах, как я хочу, чтобы с ним было поскорее покончено». И в самом деле ожидание, казалось, заставляло их страдать.

В двадцать три пятьдесят пять хлынул дождь. Грянул гром. Молния трещала у нас под самым носом. И за окном, казалось, взбесился весь мир. «Полночь!» – воскликнул Рустуфля.

– Черт побери! – простонал Планш, откидываясь назад.

– И в эту самую минуту молния расколола небо пополам. В комнату сквозь пелену дождя врывается белый свет. Рустуфля ревет, как ошпаренный. Затем вспышка гаснет, и я вижу: Рустуфля стоит перед своим креслом, несмотря на то что ноги его напоминают, скорее, месиво из рубленой телятины. Изо рта, как голубая тряпка, свисает язык. По щекам струится кровавый пот, и вдруг его глаза вываливаются из глазниц и, шлеп, шлеп, падают на пол. А за окном ливень припускает еще пуще, гремит еще чаще! Совершенно обезумевшая, мечется по комнате мамаша Рустуфля: воздев руки, трясет волосами, вся извивается. Я же до боли сжимаю в ладони свой медальон и чувствую, что он меня защищает. А кругом все трещит, свистит, дымится, скрежещет, рушится, на занавески и на скатерть сыпятся искры, вся мебель охвачена пламенем. Весь дом полыхает, как пучок соломы. Вдруг старуха завертелась и упала рядом со своим мужем. А тот уже скорее похож на груду мяса, чем на человека. Я бы не хотел описывать вам подробности, потому что господин в углу больно внимательный.

К тому же на это ушло бы слишком много времени. Короче говоря, я хватаю ноги в руки и деру в деревню. Когда же сбежались тушить огонь, было уже поздно. Рустуфля изжарились, как картошка.

– А что же кукла костоправа? – спросил я.

– Подождите, это еще не все, господин лейтенант. Недаром говорят: «Не буди дьявола, а то он тебе же нос и откусит». Через день после этого на похороны приехал их сын Огюст.

Он сообщил, что тремя днями раньше апелляционный суд по делу Рустуфля-Кудра властью последней инстанции признал оба берега реки Дувины собственностью семейства Рустуфля.

Таким образом, получилось, что Рустуфля закопал куклу на своей земле.

– Редчайший болван! – воскликнул Планш.

Старик, которому наконец удалось заснуть, похрапывал, положив щеку на валик для головы.

Наступила тишина. Никто ничего не говорил, каждый о чем-то размышлял.

– Посмотрите на него, дрыхнет, как младенец! – сказал Солейхавуп. – Должно быть, думает, что в его годы слишком поздно учиться.

– Учиться. . . учиться! – сразу же осмелел после того, как Солейхавуп закончил свой рассказ, Планш. – Твоя история похожа на правду, но ведь это может быть простым совпадением, ты так не думаешь? Просто молния случайно попала в дом и. . .

– Ой, до чего же ты занудный! Два года назад я был на том самом месте, где мы закопали куклу. Я откопал ее. И что ты думаешь я увидел вместо нее, а?

– Ничего, конечно.

– Как же, прочисть уши и слушай, тупица.

Я увидел съежившийся, совершенно невесомый скелет, с костями не толще спички.

– Да, конечно, – уступил Планш, – но ты, наверное, копал рядом с тем местом.

– К тому же вокруг пахло гарью. И мне показалось, что в ночи я услышал поскрипывание коляски Рустуфля. Я драпанул так, как будто мне в зад вставили реактивный снаряд.

Он замолчал. И я старался больше не нарушать тишины. Поезд замедлил ход, и первые огоньки Шалона замерцали в прозрачной холодной ночи.

Старик проснулся и посмотрел на часы.

– Подъезжаем.

Солейхавуп подмигнул мне:

– Так мы договорились, господин лейтенант? Идем с вами в поезд для гражданских?

– Гражданский поезд прибывает на первую платформу, поезд для военнослужащих рядового состава прибывает на третью платформу, – объявлял железнодорожный служащий.

Солейхавуп подтолкнул меня локтем:

– Вперед, на первую. Поезд отходит через семь минут.

Мы нырнули в подземный переход. На первой платформе уже толпились пассажиры. Паровоз, шипя, выбрасывал клубы пара. В морозном воздухе чувствовался запах горящего угля и смазки. Где-то далеко, словно в пустой бочке, перекликались паровозные гудки.

– Быстрее! – хныкал Планш. – Нас засекут!

Вот и вагон первого класса. Я вскочил на подножку и тут же услышал приглушенный крик.

– Проклятие!

Я обернулся. Какой-то дежурный адъютант преградил путь моим попутчикам.

58 Анри Труайя Колдовство – Я же вам говорю, что мы с господином лейтенантом! – сокрушался Солейхавуп.

– Мы из одного подразделения, – вставил Планш. – Он не может ехать без нас.

Адъютант покачал головой:

– Ничего не знаю. Поезд для рядового состава на третьей платформе.

– Но ему нельзя нас оставлять!..

– У нас его вещи!..

– Где? В ваших вещмешках? – высокомерно парировал адъютант. – Я знаю эти штучки.

Уходите!..

– Но господин адъютант. . .

Раздался свисток. Поезд тронулся как-то нехотя и легко. Я выглянул в дверь и увидел, что Солейхавуп и Планш машут мне вслед. Постепенно их добрые огорченные лица растворились в туманной тьме, чтобы вовсе исчезнуть из вида на первом же повороте.

Истина

Виктор Татен был добронравен, и это не стоило ему ни малейших усилий. За сорок семь лет ни одно искушение не омрачило его жизнь. Даже если бы он хотел совершить что-нибудь худое, он не знал бы, как за это взяться. Ко всему чистота его помыслов была написана у него на лице и даже читалась по его одежде. Голова у него была маленькая, лицо заостренное и бледное. По центру, правда, имелись веселенькие усы чистейшего белесого цвета. Водянистоголубые глаза, как две лампочки, освещали его по обе стороны носа. А черный пиджак, узкие брюки и прочные башмаки свидетельствовали о скромности и честности их владельца.

Среди многочисленных работников администрации, в которой он исполнял обязанности начальника отдела, служащие считали его человеком элитарным и с радостью выполняли его распоряжения. Ненавидя кулуарные интриги и заговоры, он не сделал карьеру, не занял того места, которого заслуживал. Но он утешал себя мыслью о том, что лучше быть безупречным начальником отдела, чем директором, занявшим свое место благодаря подлым политическим проискам. Ему льстила его незаметность. Он довольствовался малым, никому не завидовал и работал старательно, хотя и без нездорового рвения. В его окружении свет его добродетелей воодушевлял коллег. Были случаи морального подражания среди его подчиненных. Например, сотрудник, стянувший его четырехцветную шариковую ручку, вдруг возвращал ее со словами раскаянья. Даже женщина легкого поведения, которая обычно приставала к нему на углу улицы Лаюшетт, по своей воле отказывалась от своей! подлой профессии.

Виктор Татен этому не удивлялся, так как знал, что его призвание наставлять на путь истинный своих ближних. Иногда ему казалось, что над головой у него реет позолоченный нимб, а ноги покоятся на благоухающих облаках. Но он не поддавался соблазнам гордыни.

Единственным его честолюбивым стремлением было воспитать сына по своему образу и подобию. И единственное, что заботило его, сложности, связанные с решением этой проблемы.

Нельзя сказать, чтобы юный Филипп Татен, которому было двенадцать лет, был испорченным по природе. Но не менее опасными были его мягкость, безразличие и предрасположенность к мечтательности. Самые суровые слова опадали лебяжьим пухом, так и не достигнув сердца ребенка. Поэтому учился он хуже всех в классе и чуть ли не каждый четверг ему приходилось отбывать наказание.

Виктор Татен приходил в отчаянье оттого, что сын совсем на него не походил. Он сожалел, что не породил самое себя. Жена пыталась его утешить, уговаривая, что Филипп изменится с возрастом, но Виктор Татен из-за всего этого плохо спал ночью.

В одно прекрасное утро он проснулся раньше, чем обычно, и удивился, что мадам Татен уже встала. Заподозрив неладное, он тоже встал, надел халат, комнатные туфли и обнаружил жену у постели Филиппа. Юный Филипп сказался больным и делал видимое усилие, чтобы стучать зубами. Мадам Татен, доверчивая, как все мамаши, гладила мальчишку по головке и нежно приговаривала:

– Солнышко. . . Скажи маме, что у тебя болит. . .

Увидев мужа, она выпрямилась и твердо сказала:

– Филипп не пойдет сегодня в школу.

Виктор Татен не мог стерпеть, чтобы у него похитили право такого важного решения. Он строго посмотрел на жену. Она поняла этот призыв к порядку и слегка втянула голову в плечи.

– Я хотела только сказать, – пролепетала она, – что в таком состоянии Филипп. . .

– Состояние? Какое состояние? – спросил Виктор, выпячивая подбородок, чтобы придать себе более

решительный вид.

– Он болен.

– Я болен, – повторил Филипп.

– Болен? Прекрасно. А чем же ты болен, сын мой?

Филипп покраснел и быстро пробормотал:

– Мутит в желудке. А к тому же у меня кружится голова, меня морозит и. . .

– Небольшое несварение желудка, вот и все, ничего страшного, – заявил Виктор Татен.

А так как он имел привычку цитировать по каждому поводу подходящую притчу, то он продолжал менторским тоном:

– В твоем возрасте мне приходилось за шесть километров, под дождем и снегом ходить в школу. . .

– Да, но ты!.. – заметила мадам Татен голосом, в котором слышались и восхищение, и упрек.

– Тихо! – прервал ее Виктор Татен. – Мне кажется, я такой же, как и другие!

– О! Да. . . – вздохнула мадам Татен.

– Итак, – продолжал он, – я каждое утро ходил пешком за шесть километров в школу, в снег и ветер. Так вот! Ни за что на свете я не отказался бы от исполнения своего долга, такого же необходимого, как и тяжелого. Сколько раз, дрожа от холода, валясь с ног от усталости, полуослепший от бессонных ночей, проведенных над учебниками, я отталкивал родителей, умолявших меня остаться в кровати, и шел в школу. Да! Наше поколение умело работать, даже в ущерб своему здоровью, превозмогая свои детские беды. Да, прошло то время. Новое поколение, избалованное мамашами, потеряло решительность и достоинство.

Он кашлянул, помолчал, чтобы насладиться произведенным впечатлением, не прочитал одобрения в озабоченном взгляде жены и наконец сказал:

– Принесите нам термометр!

Термометр не нашли. Напрасно мадам Татен ворошила стопки белья в ящиках комода, переставляла бутылочки с лекарствами в аптечке, термометра она так и не нашла. Виктор Татен от нетерпения сосал ус.

– Подобная небрежность непростительна для хозяйки и матери семейства, – заявил он.

У мадам Татен задрожал подбородок, она глотнула слезы и простонала:

– Я ничего не понимаю!.. Очевидно, его разбила служанка. . . Но я потрогаю лоб Филиппа. . . Я никогда не ошибаюсь. . .

Она приложила руку ко лбу сына и покачала головой:

– У него 38,5.

Отец тоже коснулся лба сына и заявил:

– Нет, 37.

– О! Виктор! – простонала мадам Татен.

– 37! – Виктор Татен повысил голос.

Мадам Татен закусила губу и убрала со лба волосы . Побежденная, но не покорившаяся, она твердо заявила:

– Хорошо! Ребенок пойдет в школу, хотя по его бледности и плохому состоянию я вижу, что он болен. Он пойдет, потому что тебе этого хочется. Но если он сляжет, я снимаю с себя всякую ответственность.

– Женевьева, – возразил Виктор Татен, – ты ко мне несправедлива.

Филипп переводил взгляд с отца на мать, с большим интересом следя за словесным состязанием родителей. Вдруг, поперхнувшись слюной, он закашлялся.

– Вот видишь, он кашляет! – торжествующе вскричала мадам Татен.

– Ну и что?

– Значит, ему нехорошо.

– Нет, правда, мне нехорошо, – сказал Филипп, хлопая ресницами.

– А на улице холодно, – продолжала мадам Татен. – Но тебе, конечно, это безразлично.

Из гордости ты не хочешь уступить. Ты скорее ребенка пошлешь, чтобы он простудился и схватил воспаление легких, чем признаешь свою неправоту.

И она прижала голову Филиппа к своей груди.

В окна хлестал ливень. На ковре валялись разноцветные игрушечные машинки, рваные карты, агатовые шарики. Часы пробили семь.

– Я не пущу никуда моего малыша, – заявила мадам Татен с видом волчицы.

Назревала драма. Виктор Татен колебался высмеять ли ее, примириться или рассердиться.

Он чувствовал себя оскорбленным в своем отцовском достоинстве, но совесть заставляла признать, что он не прав. Конечно, было бы лучше, чтобы Филипп посидел дома. Если бы Женевьева не говорила с таким вызовом, вопрос был бы улажен сразу же.

Он уже готов был признать, что не прав, когда блестящая мысль пришла ему в голову.

Повернувшись к Филиппу, он коротко спросил:

– Ты болен? Хотелось бы этому верить. А вы случайно не пишите сегодня контрольную?

– Нет, папа, – ответил ребенок, и глазки его были прозрачны, как звездочки.

– Ты уверен?

– Ну да, папа.

– Сегодня девятое марта. Где твой дневник?

– Не знаю.

Виктор Татен подошел к столу, передвинул несколько книг, нашел дневник, раскрыл его и мрачно засмеялся.

Филипп покраснел до ушей.

– Ну так что мы читаем в дневнике господина Филиппа, – заявил Виктор Татен с расстановкой: – «9 марта. Контрольная по арифметике. . . Повторить материал с 27 по 103 страницу».

Может, мне померещилось?

– Я забыл, – пробормотал ребенок.

– Филипп! – вскричала мадам Татен, невольно отстраняясь от него.

Виктор Татен положил дневник на стол и радостно потер руки. В глазах горел благородный огонь. Усы танцевали над верхней губой. Он глубоко вздохнул, как перед боем, и вдруг закричал:

– Бездельник!

Мадам Татен подпрыгнула от неожиданности и схватилась за сердце. Филипп виновато опустил голову.

– Шалопай, – продолжал Виктор Татен. – Мало того, что ты лентяй, так ты к тому же и обманщик.

– Я забыл, честное слово, забыл, – хныкал Филипп.

– Возможно, он действительно забыл, – вмешалась мадам Татен, которая упорно отказывалась верить, что ее сын способен на такой гнусный обман.

– Забыл? – зарычал Виктор Татен. – А термометр, исчезнувший, как по волшебству, а дневник, которого вроде бы нельзя найти? Нет, нет, этот ребенок испорчен до мозга костей.

Мы родили маленькое чудовище, тряпку и обманщика!

Виктор Татен наслаждался победой над уличенным мальчишкой. После того как его обвинили в непонимании, даже в жестокости по отношению к сыну, он победоносно взял реванш.

Авторитет его только окреп после этого происшествия.

– Папа. . . папа. . . – плакал Филипп, – я тебе обещаю. . . Я не знал. . . Я думал, что контрольная послезавтра. . .

– Действительность свидетельствует против тебя, бедный друг, – сказала мадам Татен, утирая слезы.

– Действительность? Какая действительность для честного человека? – изрек Виктор Татен. – Я признаю только одну вещь: факты. Тот, кто извиняется, признает свою виновность.

Мне никогда не приходилось извиняться. Датская пословица гласит: «Честь, как око, нельзя играть ею». А ты играешь честью, как глазом, Филипп. Ты обесчещен. И одновременно ты бесчестишь нас. Я должен был бы выгнать тебя из дому, отправить тебя в исправительный дом. . .

– Нет! – всхлипнул Филипп.

– Но мне жаль тебя!

– Спасибо, – сказала мадам Татен.

– Вот мой план исправления: конечно, сегодня ты идешь в школу.

– Конечно, – поддакнула мадам Татен. – Но я все же одену его потеплее.

Виктор Татен пожал плечами:

– С сегодняшнего дня в виде наказания я заберу у тебя все игрушки и книги. А в свободное время ты будешь переписывать назидательные пословицы и изречения, которые я тебе дам.

Сказав это, Виктор Татен достал из кармана блокнот, который постоянно носил с собой: в него он записывал изречения, которые могли бы взбодрить и облагородить его жизнь. Он прочитал:

– «Тот, кто оправдывается, признает свою вину» – французская поговорка. «Праведнику не нужен язык» – китайская пословица. «Правда, как масло, всегда всплывает на поверхность» –

испанская пословица. «Если тебя обвинили в грехе, значит ты способен на него» – персидская поговорка. . . Впрочем, тебе, Филипп, придется переписать все, что есть в этом блокноте. А их немало. Я оставлю блокнот тебе, сын моя. И это подтверждает мое желание помочь тебе исправиться.

– Скажи папе спасибо, Филипп, – подсказала мадам Татен.

– Оставь его, – сказал Виктор Татен. – Он все равно не понимает. «Мое сердце принадлежит сыну, а сердце сына – камень» – гласит восточная пословица, которую я когда-то записал, не ведая, что в один прекрасный день так печально смогу убедиться в ее правильности.

Виктор Татен потуже затянул пояс на халате, плотнее надел комнатные туфли и преисполненный достоинства вышел из комнаты. Он был доволен собой. Ему снова казалось, что нимбы кружатся над его головой. Но из-за этого происшествия он сильно задержался. Он спешно оделся, быстро выпил кофе с молоком и взглянул на барометр, который показывал:

«Переменная». Когда он уже надевал пальто, его еще задержала жена:

– Виктор, я все еще не могу прийти в себя от этой сцены!

Он по-хозяйски похлопал ее по спине и заявил:

– Держись, Женевьева. Если я возьму этого шалопая в руки, я из него выращу второго себя.

Мадам Татен широко раскрыла глаза, обрадованная такой перспективой.

– Ну, мне пора на работу, – продолжал Виктор Татен, – ибо я не придумываю отговорок, Проследи, чтобы Филипп пошел на контрольную. Конечно, он напишет хуже всех. Но что делать?

Он вздохнул. Женевьева тоже вздохнула Взгляды их встретились. В взгляде жены Виктор прочел безграничное восхищение таким человеком, как он, добрым и решительным, суровым и справедливым, властным и терпеливым.

– Подай мне зонтик, – мягко сказал он, – и ступай, займись своими делами.

Как и предвидел, Виктор Татен опоздал на работу. Начальник уже ждал его. Виктор Татен чуть было не придумал удобный предлог – аварию в метро, утреннее недомогание. Но мысль о сыне удержала его от обмана. Он возмутился, что такая мысль хоть на минуту могла закрасться в голову. И четким голосом, с сознанием выполнения неприятного долга он сказал:

– Я выговаривал сыну и поэтому опоздал.

Начальника, казалось, мало интересовало подобное объяснение. Он даже сделал вид, что не верит. Чтобы его убедить, Виктор Татен рассказал некоторые дополнительные подробности: термометр, дневник. . .

– Хорошо, хорошо. . . Известное Дело. . . Один раз не беда, – сказал начальник. – Да, в конце концов, никто вас об этом и не спрашивает. Вас срочно вызывает директор.

Директор был недоволен. Составляя ведомость на дополнительные кредиты, Виктор Татен ошибся на семь франков семьдесят пять сантимов. Хотя был уверен, что записал именно ту цифру, которую директор назвал на последнем совещании.

– Я никогда не давал такой цифры, – сказал директор, хлопая ладонью по столу.

– Но, господин директор, я даже сохранил листок, на котором ее записал.

– Так где же этот листок?

– В моем блокноте.

– Каком блокноте?

– В блокноте, который всегда ношу с собой и в который записываю интересные мысли, изречения. . .

– Так покажите его мне!

Виктор Татен с досадой вспомнил, что блокнот остался у сына:

– Я его оставил дома, – объяснил он.

Директор победоносно улыбнулся и повернулся к начальнику Виктора. Виктор Татен задрожал от бессильного гнева:

– Конечно, все свидетельствует против меня, господин директор, но я вам обещаю. . .

Директор махнул белой рукой с полированными ногтями:

– Ну, ну, славный наш Татен. Не стоит так переживать. Вы сделали ошибку. Признайтесь в этом. Никто от этого не застрахован. . .

Виктор Татен начал заикаться от злости:

– Да нет же, господин директор. . . Я могу доказать. . . Конечно, блокнота у меня с собой нет. . .

Но директор уже провожал их к двери. В коридоре начальник наклонился к Виктору Татену и заявил ужасно язвительно:

– Это неважно. Вы исправите цифру. И больше не будем об этом говорить.

– Хорошо, – обиделся Виктор Татен.

И повернулся спиной. В кабинете он тщательно сосредоточился на работе. Несправедливое обвинение директора не давало ему покоя. Он хотел было написать докладную, чтобы оправдаться письменно. Но потом решил, что благороднее страдать молча. Из конторы он вышел около полудня, на улице он спохватился, что забыл зонтик, и это стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Он ринулся в метро, с опущенной головой, перепрыгивая через две ступеньки, и протянул билет служащему, стоявшему на контроле.

– Недействителен, – заявил тот.

– То есть как, недействителен?

– Потому что он уже закомпостирован.

– Я этого не вижу, – вскричал Виктор Татен.

– Да вот же, в углу, здесь и здесь. . .

Позади Виктора Татена шумели возмущенные пассажиры. Кто-то выкрикнул ужасно вульгарным голосом:

– Ну что там еще за затор в час пик?

– Да какой-то болван! – ответили другие голоса.

Раздраженный оскорблениями публики, Виктор Татен сначала попытался оправдаться:

– Я не заметил. . . Билет был плохо прокомпостирован. . . Если бы контролеры лучше делали свою работу. . .

– Ах вон оно что!.. Других обвинять, – заявил служащий.

– Ну что, до завтра, шутник, торчать тут будешь? – спросил какой-то верзила, отталкивая Виктора Татена плечом.

Виктор Татен протянул служащему другой билет и бросился на перрон, забитый людьми.

Ему удалось захватить место и сесть. Но тут уж его заставил подпрыгнуть женский голос:

– Господа едут по-королевски, а беременным женщинам приходится стоять.

Виктор Татен немедленно вскочил.

– Простите, мадам. . . Я не заметил. . .

Беременная женщина, объемистая матрона с торчащим животом и огромными грудями, с презрением посмотрела ему в глаза и уселась на его место, ворча:

– Ах! Нет теперь галантных мужчин!

Многие небеременные женщины ее поддержали.

Виктор Татен понял, что ему не удастся оправдаться, и перешел в другой конец вагона, где стал рядом с каким-то господином с белой бородкой и в синих очках. Ему хотелось как можно скорее вернуться домой после стольких публичных оскорблений. Когда поезд остановился на станции Пель-Эр, мсье с белой бородкой наклонился к нему и слабым голосом сообщил:

– Простите, что обращаюсь к вам, не будучи с вами знаком, мсье. Но мой долг честного человека обязывает меня указать вам на некоторые неполадки в вашем туалете.

Виктор Татен покраснел, как помидор, опустил глаза, дрожащей рукой нащупал застежку на брюках и пробормотал:

– Где-то потерял пуговицу. . . Мне право же неловко. . .

– Ничего, мсье, – успокоил его старик, по всей видимости человек воспитанный. – Случается.

К счастью, пуговица упала здесь же, у ног Виктор Татена. Он поднял ее и решил зайти в туалет, чтобы ее пришить. Как и все мужчины, следящие за своей одеждой, он носил на отвороте пиджака иголку с ниткой. Сейчас он поздравил себя с такой предусмотрительностью. Как обычно, он сошел на станции Пикпюс, улыбнулся служащему, компостировавшему билеты, и бросил использованный билет в специально отведенную для этого корзину. Затем, зайдя в первое попавшееся бистро, он направился прямо к двери с позолоченной надписью:

«Туалет».

В уборной было две спаренные кабинки, одна для дам, другая для мужчин. Виктор Татен без колебаний направился во вторую.

Кабинка была довольно тесная со стенами, выкрашенными белой краской, и унитазом последней конструкции – сплошной никель, имитация красного дерева и сверкающий фаянс.

Светлая керамическая перегородка отделяла мужскую кабинку от женской. Но для простоты уборки и для проветривания эта перегородка, спускавшаяся от самого потолка, несколько сантиметров не доходила до пола. Соседняя кабинка была занята: через полупрозрачную перегородку был виден молчаливый безликий силуэт. Зная, насколько дамы нетерпимы к промискуитету, Виктор Татен постарался не задерживаться. Однако, уже заканчивая пришивать пуговицу, он заметил карманное зеркальце, лежащее под перегородкой между кабинками.

Круглое зеркальце в красивой, под черепаховую, оправе. Очевидно, оно выпало у кого-нибудь из посетителей. Непогрешимая честность требовала, чтобы Виктор Татен поднял его и отдал хозяину заведения. Поэтому он положил зеркальце в карман пиджака, вышел и направился к стойке.

Но не успел пройти и трех шагов, как дверь соседней кабинки резко распахнулась. Какаято женщина выскочила из этой антисептической норы. Худая, угловатая, со щучьим злым лицом, она выкрикивала ругательства. Сначала Виктор Татен не понял, к кому обращена столь страстная речь. Но когда незнакомка схватила его за руки и начала изо всех сил трясти, он сообразил, что она обращается к нему.

– Вы извращенец! – вопила она. – Вы извращенец, сатир!

– Позвольте, – возразил Виктор Татен. – Вы определенно ошибаетесь.

На шум начали подходить посетители, бросив свои столики.

– Ну, ну, только не скандальте, – проворчал хозяин.

– Как это не скандалить? – вскричала женщина, уперев руки в плоские бока, – Этот развратник забавлялся, подглядывая за дамами, когда они заняты самыми интимными делами, и вы считаете, что это нормально?

– Объяснитесь, мадам, – сказал Виктор Татен с достоинством, произведшим благоприятное впечатление на присутствующих. – Вы осыпаете меня ругательствами, на которые мое воспитание не позволяет мне ответить. Но вы не привели ни одного доказательства.

– Браво! – сказал кто-то из присутствующих.

И вперед выступил господин с белой бородкой. Виктор Татен с радостью узнал своего любезного попутчика из метро.

– Я немного знаком с этим господином, – продолжал благородный старик, – и удивлен речами, которые мадам позволяет себе по отношению к нему. Решительно, нельзя быть вежливым в этом веке!

– Нет никакого века! – завопила женщина. – Есть мерзавцы! И я сейчас вызову полицию!

– Но на что же вы жалуетесь? – простонал в отчаянии Виктор Татен.

– А что вы делали пять минут назад в туалете? – осведомилась склочница.

Виктор Татен невыносимо страдал. Уверенный в своей правоте, он страдал, однако, от необходимости оправдываться перед этой невоспитанной женщиной. Неужели действительно для того, чтобы заткнуть ей рот, необходимо рассказать о том, что он пришивал пуговицу на брюках? Он попытался ответить уклончиво:

– Не понимаю, по какому праву вы меня допрашиваете, мадам!

Зрачки мегеры расширились. Она искривила рот и прошипела:

– Не хочет говорить, что он там делал! Ну конечно!

Послышались угрозы в адрес Виктора Татена.

Он почувствовал, что не сможет убедить присутствующих, не пожертвовав остатками стыдливости, Весь красный, с потупленным взором и стыдливо обвисшими усами, он прошептал:

– Ну хорошо!.. Раз вы требуете. . . Я зашел в кабинку, чтобы пришить пуговицу. . .

– Это правда, – подтвердил господин с белой бородкой. – Я свидетель и, если нужно, готов подтвердить это в полиции.

– Вам понадобилось зеркальце, чтобы пришить пуговицу? – съязвила женщина.

– Зеркальце? – изумился Татен.

– Да. Очевидно, для того, чтобы пришить пуговицу, вы подсунули карманное зеркальце под перегородку?

– Да, я действительно заметил зеркальце, – пробормотал Татен, – но не вижу связи. . .

– А связь в том, что зеркальце расположенное таким образом под перегородкой, как раз посередине между двумя кабинками, позволяло вам видеть все происходящее в моей кабине!

Все застыли от изумления. Хозяин заметил:

– Это все меняет!

Газовщик, потягивавший белое вино, добавил:

– Ну ты даешь, парень!..

Только старик с белой бородкой продолжал защищать своего попутчика, визгливо повторяя:

– Я ручаюсь за него! Я ручаюсь за него!

Виктор Татен сделал усилие, чтобы подавить волнение и выдохнул:

– Эта женщина врет!

– Ах! Так я вру? Я вру? – взорвалась женщина. – Ну так обыщите его! Посмотрим, есть ли у него в кармане зеркальце в черепаховой оправе!

Хозяин подошел к Виктору Татену и сказал:

– Вы позволите?

– Нет, – ответил Виктор Татен, колени у которого подгибались.

Но хозяин уже обыскивал его карманы. Вдруг он отошел, высоко держа двумя пальцами круглое зеркальце в черепаховой оправе. Толпа ахнула. Посетители кафе надвигались на Виктора Татена с угрожающими лицами. Некоторые говорили:

– Мерзавец! Развратник! Террорист!

Кто-то даже неизвестно почему крикнул:

– Голубой!

Женщина торжествовала, костлявая, злая, со сверлящим взглядом.

– Ну что? Я говорила неправду? Посмотрите на него! А еще обручальное кольцо на руке!

Возможно, даже дети у него есть!

Виктор Татен почувствовал, что вот-вот от стыда потеряет сознание и упадет на пол. Не в силах оправдаться, он только бормотал:

– Простите, это печальное недоразумение. . . Это не мое зеркальце. . . Я его нашел и хотел отдать. . .

– Ах вот оно что! – зарычал хозяин, – так тебе и поверили!

– Но вы должны мне поверить, мсье, – заметил Виктор Татен. – Разберитесь. . . Конечно, все сейчас свидетельствует против меня. . . Но так бывает. . . Правда, как масло. . . Правдивому не нужен язык. . .

Старик с белой бородкой сурово смотрел на Виктора Татена.

– Это мерзко, мсье, очень мерзко, – заявил он наконец.

И отошел. Этот последний упрек добил несчастного. Он умолял:

– Я клянусь. . . клянусь. . .

Но его не слушали.

– Ну так что будем делать с соглядатаем? – спросил хозяин. – Звонить в комиссариат?

Виктор Татен взвыл ужасным голосом:

– Помилуйте! Не надо!

От пинка под зад у него перехватило дыхание. Затурканный, в разорванной одежде, он оказался на улице. Люди смеялись у него за спиной. Вослед неслись ругательства. Он бросился бежать. Но через несколько шагов вынужден был замедлить бег, так как непривычный к спортивным упражнениям быстро выдохся. Наконец он остановился в каком-то сквере. Но только хотел сесть на скамейку, как увидел старика с белой бородкой, который строго смотрел на него поверх газеты. Он

вскрикнул и бросился бежать. Немного погодя он оказался 68 Анри Труайя Истина на берегу Сены и от омерзения плюнул в воду. Плевок образовал круглый и суровый глаз.

Виктор Татен задрожал от страха и повернулся. Позади него стоял бродяга с белой бородкой, как две капли воды похожий на старика из метро. Ему стало нехорошо, и он поднялся на набережную. В голове все смешалось. Он больше ничего не понимал. Правда не всплывала на поверхность, как масло, человеку правому нужен был язык, чтобы защищаться, а на обвинения приходилось отвечать извинениями.

Измотанный, взмокший от пота, Виктор Татен взял такси, чтобы вернуться домой. Но у шофера была белая бородка, и он загадочно улыбался в зеркальце. Всю дорогу Виктор Татен боролся с искушением открыть дверцу и выскочить на дорогу. Завидев серый фасад родного дома, он с облегчением вздохнул. Уже в прихожей он почувствовал себя лучше. В квартире вкусно пахло луковым супом. Мадам Татен сидела в своей комнате и пыталась соорудить новую шляпку из двух старых фетровых шляп и новых перьев. Подле нее Филипп за журнальным столиком переписывал пословицы. Со своими пухлыми губами и свежими щечками он выглядел настоящим ангелом. На его гладком лобике было написано великое усердие. Остановившись на пороге, Виктор Татен слушал, как его сын заучивает:

– Тот, кто извиняется, виноват. . . Если тебя обвинили в грехе, значит, ты способен его совершить. . . Правому не нужен язык. . .

Внезапный спазм подкатил к сердцу Виктора Татена. Он закричал:

– Это неправда! Неправда!

И потерял сознание.

Когда он очнулся, то увидел, что лежит в своей кровати с компрессом на лбу и грелкой в ногах. Жена и сын сидели подле него.

– Я не пойду завтра на работу, – сказал он слабым голосом. – Предупредишь начальника, что у нас в семье траур, или свадьба, или крестины.

– А почему просто не сказать ему, что ты болен?

– Лучше не говорить правду, – пробормотал Виктор Татен.

И закрыл глаза.

Недоразумение

Меня зовут Доминик Фошуа. Я не сумасшедший. И я об этом сожалею. Сумасшедшие по-королевски удивительно свободно относятся ко внешнему миру и его условностям. У сумасшедшего свой собственный мир. У нормального человека есть тот же мир, что и у других людей. А сумасшедший единовластно царит в мире, приспособленном к его сумасшествию.

Нормальный человек должен переносить мир, который другие создали для него. Сумасшедший по сравнению с нормальным человеком все равно, что владелец дома и постоялец гостиницы. Для меня все это более чем ясно. Однако я допускаю, что другим это может показаться экстравагантным. Но мне безразлично, что думают другие.

Я сижу у себя в кабинете, задумчиво склонив чело над бумагой. Ее я держу в левой руке.

В правой я держу ручку. И это идеальный треугольник, образованный моей головой и двумя руками, дает мне геометрическую уверенность в нормальности моего разума. Вот моя голова.

Мои две руки. Все купается в зеленом свете лампы под абажуром. Рассеиваемый абажуром свет мягок. Сумасшедший в этом случае вообразил бы себя рыбой в подводном царстве. А я не забываю, что я Доминик Фошуа, галантерейщик с улицы Жаккэр. Я знаю, что я не рыба.

Лучше бы это было не так. Итак, я не сумасшедший.

Это вступление не так абсурдно, как может показаться. Оно необходимо, дабы мои читатели знали, что я не сумасшедший, ибо если они посчитают меня сумасшедшим, то никоим образом не поверят тому, что я собираюсь рассказать. А история эта настолько странная, что непременно обогатит многочисленные науки, занимающиеся человеческой душой и ее движениями.

Я люблю науку, ибо она утешает слабых. Ученые расставляют таблички, устанавливают заборы и прокладывают дорожки по целинным землям. Безграничную протяженность земли они делят на

участки под застройку. Из года в год они все дальше отодвигают условные границы наших знаний. И я не сомневаюсь, что через век-два эти знания наконец распространятся на все пространство, созданное руками, дыханием и взглядом Божьим. Тогда нечего больше будет бояться, нечего познавать, не на что надеяться. И человечество угаснет от сладостного удушья, которое будет платой за его усилия. Такова, по крайней мере, моя концепция всеобщей истории народов. И я не считаю, что это концепция сумасшедшего!

Сумерки моего кабинета плещутся в моих ушах, будто вода, постепенно поднимающаяся и затапливающая меня. Мне известно это ощущение погружения, неподвижного опускания ко дну. Я знаю, что это знак интенсивной мозговой активности, и я этому радуюсь. Я сам удивляюсь своему душевному спокойствию после того, что случилось. Эта психологическая устойчивость объясняется моей личной культурой, весьма высокой, если учитывать мою скромную профессию, а также моим исключительным физическим здоровьем.

Я много читал. Я в хорошей форме. Я думаю, что сумасшедший редко чувствует себя хорошо. Ну так я чувствую себя хорошо. У меня прекрасное пищеварение. Сердце работает отлично. Легкие объемисты и в прекрасном состоянии. Руки и ноги в отличной форме. И я обхожусь без очков.

Что касается плотских потребностей, то я в безупречном для сорокалетнего мужчины состоянии. У меня никогда не было тех тайных грехов, которые вынуждают некоторых несчастных обставлять свои половые отношения пышными и дорогостоящими декорациями. Я никогда не искал знакомства с теми испорченными и опытными женщинами, которых можно встретить на пользующихся дурной славой улицах; не искал я также и встреч с особами, едва достигшими совершеннолетия, неумелое поведение которых, как говорят, разжигает желание некоторых полоумных. Я никогда не обманывал жену. Да, у меня есть жена. Или, скорее, у меня была жена. Не знаю, какое время здесь уместнее употребить применительно к глаголу «быть» в сложившихся обстоятельствах. Скорее, уместно было бы изобрести какое-то 71 Анри Труайя Недоразумение промежуточное время между настоящим и прошедшим. . . Но этой одной фантазии было бы достаточно, чтобы отнести меня к сумасшедшим. А я не сумасшедший.

Итак, за неимением лучшего скажем, что у меня была жена. Это была высокая, аккуратная блондинка, пахнущая туалетным мылом и уксусом. Глаза у нее были маленькие, но такие блестящие, что они освещали ее лицо. Манеры были какие-то закругленные, а голос немного глуховат. Она была безукоризненна. Я просто утверждаю, что глубоко ее любил.

Мою жену звали Адель. Мы вместе работали в небольшой галантерейной лавке, доходов от которой нам хватало на безбедное существование. Она занималась пуговицами, лентами и нитками. Я обслуживал более серьезных клиентов, покупавших ножницы, наперстки, иголки. Мы жили в полном согласии, торговля шла хорошо, и все это позволяло надеяться на состоятельное будущее. Мы часто говорили о наслаждениях достойной стареющей бездетной четы, согреваемой сознанием своих добродетелей. Короче говоря, мы были счастливы и рассчитывали оставаться счастливыми до конца наших дней.

Вот так мы жили, пока пятого мая сего года нас с женой не разлучило ужасное несчастье и не сделало из меня теперешнего, убитого горем и угрюмого, изливающего свою душу на бумаге для будущих поколений.

Я здесь остановлюсь, чтобы передохнуть, потому что сейчас я должен приступить к самой тяжелой и самой удивительной части моего рассказа, чтобы довести до конца мою нелегкую задачу.

Думаю, мое вступление не может посеять недоверие в сердцах тех, кто будет его читать.

Перечитывая эти строки, я нахожу их ясными, взвешенными и серьезными, как научный отчет. А так как мне хочется, чтобы моя история пригодилась для последующих работ философов и ученых нашего века, я поздравляю себя со стилем, который я сумел использовать во вступлении.

В коридоре пробили часы. Пока они били, я не был одинок. Но они умолкли. И одиночество сомкнулось надо мной, как челюсти ковша. Я не боюсь одиночества. Просто мне кажется, что мой ум и мое тело раздуваются до гигантских размеров. Голова моя упирается в потолок. Если кто-нибудь в эту минуту вошел бы в комнату, он стоял бы дере-до мною, как перепуганный бабуин.

Итак, к делу. Пятого мая, в семь часов утра, я очнулся после сна, в котором мне снились цветущие луга и прозрачные воды, и коснулся руки Адель, спавшей рядом со мной, чтобы рассказать ей о своем сне. Но она не ответила на мое нежное пожатие. Я легонько потормошил ее за руку. Но и на этот раз реакция была той же. Я прикоснулся рукой к ее лбу и с ужасом почувствовал под своей рукой холодную мраморную маску. Адель была мертва.

Я стараюсь пересказать все это как можно более бегло, так как я не писатель и не сумею разжалобить читателей нагромождением приличествующих случаю прилагательных.

Я описываю все самыми обыденными словами, потому что не знаю других. Но моя боль заслужила

бы более благородного рассказчика. Ах! Как я страдал! Я сначала не хотел верить в свое несчастье. Я кричал, плакал, грозил, не знаю, кому и чему. Мне показалось, что я теряю рассудок. Да, теперь я это могу написать, когда доказано, что я не сумасшедший.

Пришел врач. Он что-то говорил об эмболии. Потом приходили с соболезнованиями. Наконец ее унесли и похоронили. И я остался один.

Рассказ мой может показаться банальным тем, кого современные писатели приучили к описанию всяческих человеческих страданий. Впрочем, я признаю, что до сих пор рассказ мой был действительно банален. Ужасно признать это, но действительно банален. Ужасно, что он банален. Банален потому, что сам случай ужасен. Ах! Оставьте меня в покое! Я не умею писать!

Однако писать надо, потому что если я не расскажу о своем опыте, он может умереть вместе со мной. И никакой пользы для науки не будет. А науку я люблю. Она единственная оправдывает наше существование. Итак. После смерти жены я закрыл галантерейную лавку и стал жить сам, в озлоблении и отчаянии, в квартире, где мы познали столько интимных радостей. Но видя на обычном месте старую мебель, перебирая в шкафу платья Адель, видя в ванной ее полотенце и вдыхая знакомый запах туалетного уксуса, я испытывал такое ощущение, будто она никогда не покидала меня. Слишком много воспоминаний оставила она после себя, чтобы логически можно было осознать ее отсутствие. К тому же я не понимал, *почему* она должна была умереть так. У меня проницательный ум. И как все светлые умы, я верю в какую-то целостность, в какую-то высшую силу, которую я называю Богом. Я верю в Бога.

Я верю в Бога, потому что если бы не было Бога, не было бы ни причины, ни следствия. Я верю в Бога, потому что так удобнее. Если бы внутренний голос мне объяснил: «Она умерла, потому что Бог рассудил так и так. . . потому что Бог решил так и так. . . » – я бы сказал:

«Прекрасно». И вопрос был бы закрыт. Но на вопрос, которым я задавался, не было ответа. А когда вопрос остается без ответа, очень тяжело найти покой. Ночи напролет я вопрошал Бога в тиши моего кабинета, где я сейчас пишу свои воспоминания:

– Что она Тебе сделала? – Ничего. В ее ли возрасте умирать? – Нет. Неужели провинился настолько я сам, чтобы заслужить такую тяжкую кару? – Нет. Ну тогда что же?

И в конце концов я пришел к выводу, что Бог *необоснованно* отозвал Адель. А если Он мог *необоснованно* ее отобрать, то так же *необоснованно* мог и вернуть ее мне. Если нет закона, который запрещал бы Ему убивать свои создания, то не должно быть и закона, который запрещал бы их оживлять. Если все дозволено в одном смысле, то дозволено и в другом. Конечно, я рассуждал как ученый и даже теперь не отказываюсь от своих выводов.

Только не надо мне говорить о чуде! Почему большим чудом должно быть беспричинное возвращение к жизни, чем беспричинная смерть? Мои рассуждения непоколебимы. Я слишком долго рассуждал, чтобы бояться ошибиться.

Итак, сильный своими убеждениями, я начал умолять Бога вернуть мне Адель. Я умолял Его просто, обычными словами и крестными знамениями, потому что другого языка у меня не было. Однако я чувствовал, что мир остается герметически закрытым у меня над головой и молитвы мои возвращаются ко мне. Напрасно возносил я к Богу крик души моей, душа возвращалась осовевшая и усталая, как мяч, возвращающийся, не долетев до цели. Между Богом и мной было какое-то таинственное, непреодолимое пространство. Он меня не слышал.

Он меня не видел. Целый месяц, каждую ночь, ровно в полночь, я кричал на все лады:

«Верни мне Адель!.. Верни мне Адель!..» Дуракам это может показаться смешным. Ну так пусть поищут другую форму молитвы! Все равно все сведется к этому.

Начали роптать соседи. Я не обращал на них внимания. Я обращался к Богу. А обращаясь к Богу, не можешь быть вежливым по отношению к людям.

Но вернусь к моему рассказу. Я кричал: «Верни мне Адель!..» – пронзительным голосом старьевщика. И путь мною был избран верный, потому что однажды вечером я почувствовал, что подле меня кто-то есть. Мало есть людей, которые пережили бы подобное общение с Богом. Представьте, что вы остановились на солнцепеке, посреди дороги, обсаженной деревьями.

Вам жарко. Вы устали. С вас льет пот. И вдруг порыв ветра наклоняет кроны, и вы оказываетесь в прохладной тени. Бог осенил меня своей тенью, свежей, как прохлада ручья, и мирной, как сень большого дерева. Я вскричал. Тень отодвинулась. Но вскоре снова вернулась, чтобы меня выслушать и утешить.

Правду сказать, в голосе моем была такая сила, а в моем взгляде – такая мольба, что я не сомневался в том, что мне удастся поколебать упорное сопротивление Бога. Это был поединок 73

Анри Труайя Недоразумение между мной, малым и слабым, и Им, всемогущим. Но на моей стороне была правда. Я это знал. И Он это знал. И с каждым днем Он все тяжелее нависал надо мной. Через полтора месяца, куда бы я ни пошел, всюду меня освещало Его неизменное присутствие. На плечи мне давили тонны светозарной легкости. В ушах у меня звучали громы Божественного молчания.

В сердце моем – торжественность медлительного и прекрасного согласия. Все происходило медленно. Очень медленно, Я склонял Его к правоте своего дела. Ах! Какое удивительное испытание – этот мистический поединок! Я больше не занимался галантереей. Забросил книги.

Почти ничего не ел. Ни с кем не виделся. Часто у меня кружилась голова, и, очнувшись, я обнаруживал, что сижу, прислонившись щекой к стене, с привкусом желчи во рту.

Семнадцатого июля, в четыре утра, мой экстаз достиг той вершины, когда я уже не мог ни говорить, ни шевелить руками. Меня била холодная дрожь. Голова была пустая и звенящая, как барабан. Мне казалось, что я умираю. Я закрыл глаза.

Когда я очнулся, был день. Я лежал в своей постели. В комнате пахло кофе с молоком.

Я вскочил с кровати и бросился в кухню. То, что я увидел, меня ошеломило: Адель стояла перед кухонным столом, намазывала хлеб маслом и напевала грустную песенку. Я бросился ее целовать. Я рассказал ей все, что произошло после ее смерти. Она с удивлением посмотрела на меня и сказала, что никогда не умирала и что, очевидно, я переутомился от книг.

Пришлось рассказать ей обо всем: о положении в гроб, о погребении, чтобы она согласилась мне поверить. А поверив, она так горько зарыдала, что я стал опасаться, как бы она не умерла снова. Три дня мы не выходили из комнаты, и счастье наше было безоблачно.

Ну вот. Пусть читатели судят, должен ли был я рассказывать им свою историю. Конечно, найдутся скептики, которые скажут: «Он подтасовал факты». Я уважаю скептиков. Я и сам скептик. Но и скептицизм имеет границы. И когда такой благоразумный человек, как я, друг точных наук, утверждает, что он не солгал, ему нужно верить.

Да, да, мне нужно верить. Потому что если вы не поверите мне теперь, то еще меньше поверите потом. А мне нужно, чтобы вы мне верили. Мне нужно, чтобы все подтвердили, что я не сумасшедший. Я уже сказал, что сожалею, что я не сумасшедший. Это не так! Это не так! Я боюсь той полной свободы, которую дало бы мне сумасшествие. Я боюсь всего того, что неконтролируемо. Я боюсь быть не таким же маленьким и ничтожным, как другие. Я боюсь, чтобы моя голова не высунулась из муравейника. Слава муравьям, господа!

Господи, дай мне силу продолжать!

Последовавшие за воскрешением моей жены дни были настолько странные, что я удивляюсь, как их пережил. Перед нами возникла серьезная проблема. Как сообщить окружающим о ее воскрешении? Как им объяснить, что Бог вернул мне Адель, вняв моим молитвам? Они могут посчитать, что она никогда не умирала, что на кладбище закопали пустой гроб и что мы устроили эту комедию, чтобы обмануть соседей, или правосудие, или какую-нибудь высокую инстанцию.

Наши страхи оказались обоснованными. Консьержка, клиенты, поставщики, которым я рассказывал эту историю, надувались и прерывали разговор. Казалось, их возмущало возвращение Адель. У них не хватало широты души и ума, чтобы допустить чудо. Они говорили:

«Постойте!.. Но ведь это необычно. . . Будем надеяться, что власти не заметят ваш обман. . . А вы уже заявили в мэрию? Нет? Ну так заявите! Представляю, как там повеселятся!..» Вот что они мне говорили. А я изо всех сил пытался их переубедить. Вскоре весь квартал узнал о нашей истории. Возмущение было всеобщим. В галантерею больше не заходили покупатели.

С женой на улице не здоровались. Мальчишки бросали в меня камнями. Один из них крикнул даже: «Эй, убирайся, могильщик живых!»

Жена страдала от этого непонимания и озлобленности. Страдал и я, с бешенством и 74 Анри Труайя Недоразумение грустью. Наша новая жизнь, которую я представлял как идеальный союз, превратилась в ежедневный ад. Вечером мы запирались в квартире и плакали от того, что необычная судьба изолировала нас от мира.

Адель повторяла: «Вот видишь. . . лучше мне было не воскресать!» Мне становилось так больно от этих слов, что я решил сходить в мэрию и рассказать нашу историю служащим, ответственным за акты гражданского состояния. Но когда я вошел в комнату, где служащие листали большие книги в черных переплетах и манипулировали бесчисленными картотеками и печатями, я просто испугался. Я почувствовал, что эти ребята привыкли рассматривать человеческое существование только с точки зрения записи дат и имен. Для них живые люди представляли всего лишь номера, каллиграфические записи, росчерки пера. Прекрасная загадка творения сводилась лишь к

бухгалтерской операции. Радости, страдания, надежды людей сводятся лишь к тройному понятию. Рождение. Брак. Смерть. Дюпон похож на Дюрана. Дюран на Дюваля. А Дюваль на Фошуа. Общее правило для всех смертных. Но ведь исключительное не сводится к административному понятию. Допустить чудо значило бы отрицать Администрацию. Один из служащих поднял голову, взглянул на меня через дрожащее пенсне и спросил: «Что вы хотели, мсье?..» Я испугался того, что собирался ему сказать. Я испугался того, как он на меня посмотрит после того, как выслушает. Я испугался, что он будет кричать, махать руками: бумаги разлетятся по комнате, покатятся чернильницы, прибежит начальник, вызовут полицию. Только не это! Я вздохнул: «Извините, я ошибся дверью. . . »

Я вышел на улицу совершенно сконфуженный.

Не нужно считать меня трусом. Попытайтесь представить себя на моем месте, прежде чем осуждать. Божье вмешательство отделило меня от человечьего стада, и законы человечьи были неприемлемы в моем случае. Я больше не подчинялся законам. Я был вне закона. Я был вне мира. Я был вне их мира, потому что случившееся со мной чудо им казалось *невозможным*. Вчитайтесь в это слово: *невозможным*. Оно выражает всю полноту человеческой глупости. Сам факт, что подобное слово имеет право на существование в нашем языке, вопиющ! *Невозможно!* Ученые придумали ряд аксиом. Все, что выходит за рамки этих аксиом, невозможно. Можете приводить сколько угодно доказательств, вам ответят, цитируя заслуживающие уважения правила, опровергающие ваши доказательства, и вам останется только подчиниться. И так будет до тех пор, пока какой-нибудь ученый не изобретет новую аксиому, приняв ваш опыт за следствие. Но ученый, который объяснил бы воскрешение Адель, еще не родился. А сам я не ученый, чтобы устанавливать еще не установленные истины. Поэтому я должен уединиться в области невозможного. Но я не хочу жить в области невозможного. Я человек. Я хочу жить среди людей. Хочу купаться в их теплоте, в их запахах, в их глупости.

Проходя мимо бистро на углу улицы, я по привычке поздоровался с официантом Адольфом.

Он пожал плечами и крикнул мне прямо в лицо:

– Ну что? Возвращаешься к своей отрытой из могилы?

Я не ответил и ускорил шаг. Дома Адель лежала с компрессом на голове. Прислуга ушла от нас после омерзительной сцены. Несчастная утверждала, что мы ломаем комедию из-за денег. Я попытался успокоить Адель. Тщетно. До вечера мы сидели в кабинете, прижавшись друг к другу, словно птицы под дождем. Мы молчали. Занавески были задвинуты. Светлый круг от лампы. Минуты падали на нас, как камни из прохудившейся водосточной трубы. Зачем говорить? Каждый из нас знал все, что другой может ему сказать. Между нами было что-то сродни траурного сообщничества. Будто мы убили кого-то. Да, да, мы сидели рядышком в этой комнате с закрытыми окнами, в которой я сейчас пишу, мы чувствовали себя виноватыми.

В чем? Да в том, что стали чудовищами, просто чудовищами в глазах всех нормальных людей, которые нас окружали, чудовищами в глазах законов, правящих миром, чудовищами 75 Анри Труайя Недоразумение в глазах АДМИНИСТРАЦИИ! Мы восстали против тех, кто не желал понимать того, что с нами произошло. Теперь мы сами выступали с ними против нас же. Мы согласились с ними, что нас нужно ненавидеть, нужно наказать. Вместе с ними мы желали, чтобы нас постигло правосудие как можно быстрее.

– Так дальше не может продолжаться! – вздохнула Адель.

А я ответил:

– Нет.

И мы снова долго молчали. По потолку ползали мухи. Задрожали стекла – проехал последний автобус. За светлым кругом лампы стояла спокойная теплая ночь, в которой спала мебель. На мгновение мне показалось, что наша комната пустилась в плаванье, словно хрупкий кораблик по темному грохочущему океану. Все, что происходило вокруг нас, не было *реальным*. Мы и сами не были *реальными*. Я не был Домиником Фошуа, а она не была Адель.

– Доминик, – сказала Адель.

Я вздрогнул. Голос ее был слаб и гол, как голос ясновидящей.

– Доминик, – продолжала Адель. – Подумай о завтрашнем дне.

– Я не хочу о нем думать! – вскричал я.

– Ты его боишься?

– Да.

– Я тоже, – сказала она. – Когда боятся завтрашнего дня, нужно умереть. Убей меня, Доминик.

Она встала и смотрела на меня умными и нежными глазами. Лицо ее было так бледно, что она не казалась мне живой. Она повторила:

– Убей меня. Это единственное возможное решение.

Воздух, которым мы дышали, не был воздухом, которым дышали все люди. Это был высший, болезненный, роковой воздух. Он наполнял наши легкие священным ядом, От него у нас кружилась голова. Я заметил трещину на абажуре. Кажется, я даже сказал:

– Абажур надбит.

И она ответила:

– Ты же видишь!

Без всякой связи с моими словами.

И тогда я пошел в кухню. Взял из ящика длинный нож. Вернулся в комнату. Подошел к жене. Пробили часы. Адель пробормотала:

– Наконец!

Изо всех сил я всадил нож ей в сердце. Кажется, она умерла мгновенно. Единственное, в чем я уверен, она не закричала. Значит, не страдала. А разве не это главное?

Я положил ее на столе. Рану заткнул бельем. Зажег три свечи. Затем вымыл руки.

Все это случилось позавчера. С тех пор я не выходил. Мне хочется есть. В буфете почти не осталось продуктов. Адель лежит на столе в столовой. Через приоткрытую дверь кабинета я вижу ее ноги и подол юбки. Очень жарко. На мои потные руки садятся мухи. От запаха воска кружится голова. Но я спокоен. Я не жалею, что убил жену. Теперь никто не сможет назвать меня отбросом общества. Больше никто не назовет меня сумасшедшим.

Поздно. Мне нужно немного отдохнуть. Завтра я пойду за покупками и буду горд сказать всем в лицо, что Адель умерла и больше никогда не вернется. Бедная Адель!

Удивительное приключение мистера Бредборо

Мистер Оливер Бредборо жил в семейном пансионе в Кортфилд-Гарденз. Фасад дома, украшенный двумя колоннами, был выкрашен кремовой краской. Ничего загадочного не предвещали и белые стены вестибюля. На лестнице стойко держался запах подгоревшего масла и мастики. Паркет в коридоре не скрипел. А с потолка обычный прямоугольный плафон разливал свет, весьма подходящий для витрины универмага.

Меня прислала сюда редакция газеты «Женская суматоха» взять интервью у мистера Оливера Бредборо по поводу его недавней стычки с «Лондонским обществом психических исследований» и отставки с поста председателя клуба «Охотники за приведениями». С господином Бредборо я был знаком лишь по его многочисленным опусам, посвященным оккультизму.

Поэтому в запальчивости неофита представлял себе, что попаду в дом необыкновенный, в котором за тяжелыми занавесками прячутся страшные тени, а со стен растерянно глядят оленьи головы, каменные плиты пола покрыты медвежьими шкурами, а в камине, похожем на фамильный склеп, могли бы поместиться целые бревна, величиной с носорожью ногу. Но действительность заставила меня спуститься с небес на землю. Конечно, это разочарование должно было бы отразиться на моей статье. Но может, хотя бы комната мистера Бредборо обставлена в том нелепом стиле, который я себе вообразил. . . Но я уже не осмеливался в это поверить.

И вот я постучал в его дверь.

– Come in!

О ужас! Голые серые стены. Кровать-диван, застеленная покрывалом в цветочек. В камине слабое розовое пламя газовой горелки. Я был разбит. Полностью уничтожен. Тем временем мне навстречу уже шел мужчина, медленно и грузно.

– Мистер Бредборо?

– Собственной персоной.

Он был сутул и приземист, с загорелым до черноты лицом траппера из книжек об американском Диком Западе; седые волосы коротко подстрижены, усы топорщатся, как у кота; а глаза невинно-синие, как у молоденькой девушки. Из редакции его уже предупредили о моем визите. Мне показалось, что ему льстит интерес наших читательниц.

– Я и не подозревал, – заявил он, – что ваших подписчиц могут интересовать такие серьезные вопросы.

Эти слова окончательно сразили меня. Господин Бредборо изъяснялся на правильном, даже изысканном французском. Голос его звучал гулко, словно из-под земли: казалось, он перекатывал слова, как камни. И при этом он пристально смотрел мне в глаза. Я что-то ответил о высоком интеллектуальном уровне наших читательниц, и он плотоядно расхохотался.

– Садитесь, – пригласил он. – Хотите виски? А вы мне нравитесь. Так что там от меня требуется?

Мистер Бредборо произвел на меня неотразимое впечатление, но в то же время и разочаровал, так же как и его комната. Слишком уж цветущий был у него вид, вид человека, который любит мясо с кровью, холодный душ и прогулки на свежем воздухе. Ничто в нем не говорило о том ученом, привыкшем иметь дело с привидениями, о том исследователе астральных миров и укротителе потусторонних сил, каким мне его описывали.

– Как и все, – начал я осторожно, – я с удивлением узнал о вашей нашумевшей отставке с поста председателя клуба «Охотников за привидениями», поэтому я хотел бы спросить. . .

– Почему я ушел из этого общества?

– Да.

Он поудобнее устроился в кресле и прижмурил свои васильковые глаза

– Друг мой, вы уже шестнадцатый журналист, который спрашивает меня об этом. Отвечу вам, как ответил вашим пятнадцати предшественникам, и как пятнадцать ваших предшественников, вы не рискнете опубликовать то, что сейчас услышите.

– Уверяю вас. . .

– Не уверяйте – я это *знаю*.

– Неужели произошло что-то ужасное?

– Ужасное? Да нет. . . странное. . . да, да. . . весьма странное! Но сначала ответьте: верите ли вы в привидения?

– Да, – пробормотал я.

– Неправда. Но сейчас вы поверите.

Мне стало немного не по себе.

– Прямо сейчас?

– . . . После того как выслушаете мою историю. До последнего времени я полностью разделял мнение моих друзей по клубу относительно природы и существования призраков. Это души, присутствие которых открыто лишь провидцам. Они нематериальны, вездесущи, бессмертны. . . Но вследствие событий, о которых я вам сейчас расскажу, мои убеждения настолько изменились, что я вынужден был подать в отставку.

– Что же так вас потрясло?

– Я узнал, что привидения *смертны*. Они живут, как и мы, но в отличном от нашего мире, они умирают, как и мы, от старости, болезней или несчастных случаев, но сразу же возрождаются. Ничто не исчезает бесследно, ничто не появляется на пустом месте. . .

– Метемпсихоз, переселение душ?

– Что-то похожее.

– А как же духи Наполеона или Юлия Цезаря, которых вызывают спириты?

– Потусторонние шуточки! Духи Наполеона и Юлия Цезаря давно умерли. Сейчас они участвуют где-то в круговороте Вселенной. Просто духи большие шутники. . . а те спириты слишком простодушны.

– Я в полной растерянности. . .

– Со мной происходило то же самое, когда я все понял. Но лучше послушайте. . .

Мистер Бредборо понизил голос и, отведя взгляд от моего лица, уставился в серую стену напротив:

– Месяца два назад супруги Вилкокс, мои хорошие приятели, пригласили меня на уик-энд в свой замок в Шотландии. . .

Я достал блокнот и карандаш.

– Не записывайте, – предупредил он. – То, что вы сейчас услышите, поразит вас так, что вы потом вспомните каждое слово и без каких бы то ни было записей. . . Так вот, замок Вилкоксов стоит на голом каменистом холме, постоянно окутанном туманом. Он не подвергался реконструкции в XVIII веке, как большинство феодальных замков на северо-западе Шотландии, и теперь выставляет навстречу ветрам облупившийся фасад с массивными башнями, узкими окнами и оплетенными плющом бойницами. Мои друзья жили в южном крыле, которое они обустроили по своему вкусу. Рассеянное освещение. Раздвижные двери. Современная мебель. . . Комнаты же для гостей расположены в северном крыле. Открывают их редко. Когда я приехал, хозяева предупредили меня о небольшом неудобстве: в отведенную для меня комнату захаживает привидение, – и спросили, не хотел бы я переночевать в гостиной. Я отказался весело, но решительно, и хозяева успокоились. День прошел в прогулках и разговорах на исключительно земные темы. В одиннадцать часов вечера Джон Вилкокс любезно проводил меня в мою комнату. А так как в моей части замка не было электрического освещения, то он предварительно вручил мне коробок спичек и три свечи. А сам хозяин вооружился факелом, и мы углубились друг за другом в бесконечный коридор, выстланный гулкими плитами, со стен смотрели старинные картины и коллекции оружия. Впереди нас бежал тусклый отблеск факела, выхватывая из темноты то бледное лицо, склоненное над молитвенником, то стальное лезвие шпаги. Эхо наших шагов, казалось, катилось нам навстречу. Проводив меня до двери моей комнаты, Джон Вилкокс пожелал спокойно ночи и удалился, унося за собой желтый ореол света. Я остался один.

– Представляю, насколько вам было не по себе.

Мистер Оливер Бредборо отпил немного виски и отрицательно покачал головой.

– Отчего же не по себе, – возразил он. – Я давно привык к одиночеству и привидениям.

Основная ваша ошибка в том, что вы все боитесь привидений. А к этому явлению нужно привыкнуть точно так же, как вы привыкли к молниям, блуждающим огонькам и насморку. Все зависит от здравого смысла! Но вернемся к нашему рассказу. Итак, я вошел в спальню. Это была комната с высоким потолком, в которой стояла кровать с балдахином, старинная резная мебель и пахло прелыми яблоками. Окно выходило на крепостной ров. Стены были украшены звериными шкурами, прибитыми за лапы, и кусками рваной материи, в которых я узнал знамена. Надо всем этим, как могильная плита, нависала тишина. Правда, время от времени слышалось, как скребутся крысы или кричит ночная птица в тумане за окном. Я вставил зажженную свечу в тяжелый церковный подсвечник и начал готовиться ко сну. На стуле рядом с кроватью положил револьвер, а также собственное изобретение – пистолет с фотоэлементом, который еще не успел испытать, но надеялся с его помощью выявлять присутствие привидений днем; тогда я еще не догадывался, что его действие вызовет совершенно другие последствия, о которых речь пойдет дальше. Через десять минут, завернувшись во влажные простыни, я забылся тяжелым сном. Сколько времени я так, проспал? Трудно сказать. Я проснулся от шума дождя, барабанившего в окна, и яростного рева ветра. Я открыл глаза. Сквозь окно без ставень я видел сернисто-желтые вспышки молний. Но в глубине комнаты было темно, так что стены, потолок, пол, казалось, растворились в ночи. Сквозь шум ливня и ветра я вдруг различил какой-то новый звук, похожий на щелканье пальцами или стук птичьего клюва по стеклу: тип-топ. . . тип-топ. . . Затем послышалось пронзительное, протяжное, раздражающее душу мяуканье рожающей кошки. И вдруг мне показалось, что тусклый отсвет из окна стал бледнеть, мерцать, его очертания расплылись, а потом вновь вылились в форму, но то были совершенно другие формы. И вот длинный силуэт, белый и полупрозрачный, как хвосты у некоторых китайских рыбок, предстал предо мною. На его лице я не различал ничего, кроме фосфоресцирующих впадин глаз и темных отверстий ноздрей. Ноги его были невесомы, как полосы легкой ткани, а на руках отчетливо выделялись по два пальца – остальные, казалось, были спрятаны во что-то, похожее на перчатки из молочно-белого тумана. . .

Мистер Бредборо остановился, чтобы насладиться произведенным впечатлением. Конечно же, я и не думал ничего записывать. У меня перехватило дыхание, я чувствовал, как и вокруг меня колеблются и сплетаются какие-то странные тени.

– И что же вы сделали?

– То же, что сделал бы на моем месте каждый: я подождал. Призрак беззаботно пролетел от стены к стене. Потом щелкнул своими видимыми пальцами: тип-топ. . . тип-топ. . . пожал туманными плечами и, приблизившись к двери, просочился сквозь нее, как чернильное пятно сквозь промокашку. Подстрекаемый любопытством, я вскочил с кровати, схватив на всякий случай револьвер и пистолет с фотоэлементом, и бросился за призраком. В коридоре я ориентировался на его тускло светящийся силуэт. Я бежал босиком, на кончиках пальцев, чувствуя себя легким и бодрым, как во сне. Я намеревался догнать привидение, расспросить его, а может быть, и посоветовать ему оставить замок, так как его визиты слишком впечатляли моих друзей. Преследуя беззвучного беглеца, я чувствовал, как в лицо мне бьет волна озонированного воздуха. Я вот-вот должен был его догнать и уже закричал на полную силу легких:

«Стой! Стой!» Но в эту минуту случилось что-то ужасное. Призрак обернулся, и я увидел, как от злости вокруг него посыпались зеленые искры. Он воздел над головой свои длинные руки, реявшие, как белье на ветру, и вдруг мне под ноги со страшным шумом упала большая шпага, сорвавшаяся со стены, на которой висела. За ней, задев меня по плечу, покатился по плитам массивный щит – будто гром загрохотал. Я прижался к стене. «Что вы делаете? Я не желаю вам зла!» – закричал я. Вместо ответа просвистела стрела и, вибрируя, застряла в стене, в нескольких сантиметрах от моей щеки. В ужасе я поднял револьвер и выстрелил.

На сухой звук выстрела эхом откликнулся леденящий душу смех. На светящейся ладони призрак подбрасывал какой-то черный предмет: пулю. И в ту же минуту новая стрела пробила рукав моей рубашки. И тогда (о Боже, как я мог?) я применил пистолет с фотоэлементом.

Щелкнул курок. Яркая вспышка пронзила тьму коридора. И наступила тишина. Но я заметил, как призрачные колени привидения подогнулись, оно наклонилось, упало на пол и застыло неподвижно. И вдруг я услышал человеческий голос, но какой-то далекий, бесцветный, прерывистый, будто доносящийся ко мне через безграничное мертвое пространство: «Вы меня убили!» В один прыжок я очутился возле своей жертвы.

«Вы меня убили, – повторил голос. – Аппарат в вашей руке сме. . . смертоносен. . . »

«Я не знал», – пролепетал я.

«А я знал, точнее, предчувствовал. . . Поэтому и бежал, увидев его на стуле. Потому и пробовал защищаться, заметив, что вы преследуете меня с ним. . . Но теперь уже все кончено. . . »

«Но духи бессмертны», – возразил я.

Он покачал своим расплывчатым лицом, ноздри на котором стали еще шире, а фосфорические зрачки тускло мерцали.

«Нет, к сожалению, мы так же смертны, как и вы», – простонал он.

Вот так мне случилось стать свидетелем этого странного, невероятного, фантастического зрелища: агонии призрака. Он скрестил свои двупалые руки на груди. Хриплое дыхание вырывалось из его легких, но рта я не видел. Его ослабевшее тело, растекшееся по каменным плитам, как туман под ветром, сотрясали ужасные конвульсии.

«Как тяжело я страдаю!.. Нет, вы не виноваты!.. Вы же не знали! Не могли знать!.. Как больно. . . И я боюсь. . . боюсь того, что будет потом. . . Я не знаю, что меня ждет в вашем мире. . . в чьей плоти я возрожусь. . . Дайте мне руку. . . »

Он вложил в мою протянутую ладонь неуловимый свет своих пальцев.

«Но кто вы?» – спросил я.

«Не имеет значения, кто я. . . Дух, как много других. . . »

«Могу ли я что-нибудь для вас сделать?»

«Да, останьтесь возле меня в эти последние минуты. Я чувствую, что скоро конец. . . я чувствую. . . это же так просто. . . как тепло жизни наполняет меня. . . мое тело становится теплым. . . Душа вливается в чуждое мне тело. . . Я сейчас на грани двух миров. . . Но я молод. . . Я не хочу уходить из этого мира. . . хочу насладиться тем, чего еще не изведал. . . я хочу. . . »

Я наблюдал, как привидение тускнеет, его свет меркнул, становился более бледным, как хвостовой фонарь поезда, уносящегося вдаль. И голос был уже еле различим.

«А впрочем, нет, – продолжал он, – лучше мне умереть! Хватит борьбы и нужды! Наконец я

избавлюсь от этой жалкой оболочки!.. Наконец обрету покой. . . наконец узнаю. . . Проща. . . »

Не успел призрак выдохнуть эти слова, как по его телу пробежала последняя судорога.

Я склонился над ним, но мой взгляд уперся в ничто, в холодный мрак каменных плит. Призрачная рука в моей ладони растаяла, как снежинка. Все было кончено. Я еще долго стоял в коридоре, обескураженный и опечаленный. Потом вернулся в комнату, открыл окно и выбросил в ров револьвер и фотопистолет. И вдруг в углу снова послышалось мяуканье. Кошка только что принесла целый выводок черных, взлохмаченных, копошащихся котят и теперь только тихонько постанывала. Дождь прошел, гроза тоже. Только слышалось, как с дерева за окном падают капли. В то же утро я уехал из замка. А на следующий день подал в отставку с поста председателя клуба «Охотники за привидениями».

Мистер Бредборо умолк. Очарованный и смятенный одновременно, я рассматривал этого человека, как бы стоящего на грани с потусторонним миром: краснощекое лицо, спокойный взгляд мужчины, который вроде только что вышел из ванны.

– Великолепное интервью! – с трудом выдавил я из себя.

Но сразу вздрогнул от мрачного мяуканья и резко повернул голову. Черный кот с выгнутой спиной, когтистыми лапами и ясными зеленоватыми глазами мягко приближался ко мне.

– Я взял себе одного, – объяснил мистер Бредборо. – Кто его знает, а вдруг?.. Его зовут Тип-Топ.

Фальшивый мрамор

Странный дар Мориса Огей-Дюпена проявился, когда ему исполнилось пять лет. Родители подарили ему на день рождения коробку акварельных красок. И вот вместо того, чтобы раскрашивать рисунки в какой-нибудь книжке, как это делал бы любой ребенок его возраста, он уселся в своей комнате перед камином и кисточкой воспроизвел на белой бумаге извилистые прожилки мрамора. Изображение настолько напоминало настоящий мрамор, что обескуражило взрослых. Мать похвалила сынишку, тетушки его расцеловали, только дальновидный отец глубоко задумался. На протяжении нескольких лет мальчик развлекался, разрисовывая под мрамор всякий клочок бумаги, попадавший ему под руку. Когда у него спрашивали, кем он хочет быть, в его больших голубых глазах появлялась мечтательность, и он отвечал:

– Хочу разрисовывать витрины!

Но эта страсть отвлекала его от учебы, и господин Огей-Дюпен-отец решил положить этому конец. Он был главным директором фирмы Трапп, выпускавшей чулки и белье, и не мог допустить, чтобы единственный сын – наследник его имени и имущества – отставал во всем, да еще и собирался стать художником. По его приказу у сына отобрали коробку с акварельными красками. Мальчика начали приучать к учебным играм, которые больше отвечали бы тому важному месту, которое он вскоре должен занять в трикотажном производстве. Но призвание, задавленное в зародыше, оставило в его душе болезненный след. Характер его испортился, он становился все более нелюдимым и молчаливым, по мере того как росли его успехи в учебе. Достигнув совершеннолетия, он без особенного желания стал компаньоном в фирме отца. А вскоре женился на Адель Мерсье, хилой, болезненной, зато дочери главного акционера конкурирующей фирмы. Это привело к слиянию обеих фирм, хотя супруги не испытали от этого никакого удовольствия.

Через шесть лет после этого отец Мориса умер. Сын, как и следовало, возглавил фирму Трапп, которая к тому времени уже насчитывала семь заводов, на которых работали четыре тысячи рабочих. В управлении фирмой его ждал блестящий успех, а в семейной жизни –

полное разочарование. Ему было скучно с Адель, пресной, как церковная облатка. Замкнутый, язвительный, раздражительный, он только и делал, что укорял ее. А так как придраться к жене было тяжело, то он еще больше бесился. Однажды вечером он сердито ходил перед ней из конца в конец гостиной, чтобы хоть немного успокоить свое бешенство. Но вдруг поскользнулся на зеркальном паркете, упал и ударился головой об угол камина. Он ударился так сильно, что чуть не потерял сознание. Адель испуганно вскрикнула и бросилась поднимать мужа. Тот, поднявшись на ноги, оттолкнул ее. Голова трещала, перед глазами плыли яркие круги. Он пережинал, не выскочит ли еще и шишка, и, конечно же, но всем винил жену: разве не она превращает пол в настоящий каток? Зачем так натирать паркет? Он уже хотел выругать ее, но вдруг взгляд его остановился на облицованном мрамором камине. И немедленно бешенство его улеглось. И как это он до сих пор не замечал, что этот камень с серыми прожилками такой некрасивый! Он рассматривал камин, и какая-то странная радость поднималась в нем.

Что-то давно забытое из далекого детства, преодолевая нагромождение приобретенных за это время привычек, захлестнуло его, ударило в голову. Внезапно его охватило неудержимое желание раскрашивать мрамор, как когда-то на своих детских рисунках. Даже кончики пальцев задрожали от нетерпения. Еще бы! Поддельный мрамор всегда красивее натурального! Адель, уже сжавшаяся в ожидании бури, очень удивилась, увидев широкую улыбку, осветившую лицо мужа. Он ощупал шишку на лбу, в глазах вспыхнула решительность.

На следующий день Морис купил все необходимое и принялся за работу. Хотя он не рисовал больше тридцати лет, рука его не утратила умения. Под его кистью камин в гостиной из белого с серыми прожилками превратился в ярко-розовый с лимонными разводами. Это было так красиво, что растрогало Адель чуть не до слез. Поэтому поощренный Морис Огей-Дюпен 84 Анри Труайя Фальшивый мрамор раскрасил и другие камины в доме. А так как у него был собственный четырехэтажный дом на восемнадцать комнат, то этой работы ему хватило на полгода. Покончив с каминами, он принялся за парадную лестницу, вытесанную из пористого крупнозернистого ракушечника.

Ее, на итальянский манер, он сделал темно-сиреневой с кремовыми разводами. От лестницы Морис перешел к стенам, а потом добрался и до потолка. Каждый день, вернувшись с работы, он надевал белый халат, брал кисточки и палитру и взбирался на лестницу. Жена устраивалась на маленькой табуреточке и восторженно следила за его работой. Именно сюда являлся дворецкий и объявлял: «Мадам, обед подан».

Сначала Адель радовалась, что муж нашел наконец занятие, приносившее ему душевное равновесие. Морис больше не придирался к ней и не упрекал ее – он с головой окунулся в раскрашивание стен под мрамор. Время от времени он даже обращался к ней, называя «милочкой». Могла ли она рассчитывать на большее?

Но со временем она начала беспокоиться. Разрисовав лестницу, стены и потолок, Морис начал искать, что бы ему разрисовать еще. Недолго думая, он принялся за свой кабинет.

Вскоре стены были расписаны под благородный итальянский голубой мрамор с белыми прожилками, стол красного дерева в стиле Людовика XVI превратился в кусок черно-белого марокканского оникса с красными вкраплениями, а паркет представлял удивительно искусную имитацию под массивные плиты старинного черного мрамора, который добывали когда-то в Пиренеях. Слуги делали вид, будто восторгаются творениями хозяина; немногочисленные друзья, которых Огей-Дюпены приглашали к себе и которые так или иначе были связаны с трикотажным производством, на все лады льстиво хвалили работу Мориса. Только искренняя и кристально-чистая Адель как-то отважилась ему прямо сказать:

– Все это действительно очень красиво, но как-то вроде холодно.

– Вы ничего в этом не смыслите! – возмутился ее муж. – К тому же нельзя судить, пока работа еще не окончена. Вот увидите, когда все будет готово!..

У него был такой возбужденный вид, что жена весьма встревожилась. Но то, что случилось потом, было куда хуже, чем все самые хмурые опасения Адель. После кабинета волна фальшивого мрамора захлестнула гостиную, а за ней столовую и спальню. Мало-помалу мебель из редчайших пород дерева, больше всего ценимая молодой женщиной, превратилась в яркие куски тесаного камня. Охваченный безумной страстью, Морис Огей-Дюпен не мог пропустить ни одного куска дерева, гипса или железа, чтобы не придать ему вид благороднейшего из материалов. Иногда он прибегал к сочетаниям цветов, не существующим в природе.

Стоило лишь посмотреть, как искусно он рассыпал на однотонном фоне темные точки, расплывчатые, будто облака, пятна, как вырисовывал тоненькие прожилки, правильной формы вкрапления и белесые разводы. С кистью в руках он был Богом – творцом горных недр. Глядя на его работу, ни один из самых опытных каменщиков не мог бы сказать с уверенностью, настоящий ли это мрамор или искусная подделка. Как-то он был приятно изумлен, когда двое сильных грузчиков, настоящих богатырей, переставляя мебель в гостиной, с трудом сдвинули небольшой инкрустированный столик, весом не более пятнадцати килограммов, столешницу которого он перед этим расписал под севрский красный крапчатый мрамор. Но они совсем выбились из сил, запыхались и даже вспотели, переставив из одного угла в другой шесть небольших стульев когда-то позолоченного дерева, теперь расписанных под багряный порфир с зелеными вкраплениями. Грузчики, как подкошенные, упали на стулья и попросили вина. А Морис Огей-Дюпен готов был их расцеловать за такую ошибку. Теперь он был убежден, что его живопись чего-то стоит.

К сожалению, общественное положение не позволяло ему полностью посвятить себя любимому искусству. Как осточертела ему контора, как надоело председательствовать на дирек85 Анри Труайя Фальшивый мрамор торских советах , продавать тоннами плавки, трусики, носки, мешками загребать деньги, в то время как сам Бог создал его, без всякого сомнения, совсем для другого! Если бы он жил сам по себе на свете, он давно бы уже забросил трикотажное производство и стал

бы художником.

А так из-за Адель он вынужден сохранять видимый комфорт: большой дом, шесть слуг, два автомобиля, шофер. . . Итак, на какое-то время мысленно примирившись с женой, он теперь снова ее возненавидел: ведь кто, как не она, препятствовал расцвету его дара! Адель, которой на какое-то мгновенье показалось, будто поддельный мрамор может восстановить спокойствие в семье, поняла, что она ошиблась. У нее снова был муж черствый и чужой, готовый каждую минуту ей чем-то досадить. Хотя бы он отказался от этого безумного увлечения! Но где там!

Он отдавался ему с еще большей страстью. Теперь он часто работал даже ночью при свете прожектора. Истощенная слезами бедная женщина уже не боролась с массой поддельного мрамора, окружавшего ее. Ледяной холод пронизывал ее в этом доме, где все было расписано под камень. Каждый день она с тревогой спрашивала себя, какие еще новые химеры взбредут в голову ее мужу под давлением навязчивой идеи.

Как-то во время ужина слуга подал ей вареные яйца, скорлупа которых была разрисована под алжирский черно-белый оникс с янтарными прожилками. Адель, у которой пропало всякое желание есть, расплакалась. Морис Огей-Дюпен в бешенстве бросил салфетку и вскричал:

– Ну да! В этом доме найдешь понимание! Дождешься!

И с горьким ощущением одиночества, иногда свойственным гениальным художникам, он выскочил из-за стола и бросился в свой кабинет. Замкнувшись, он закурил сигарету, расписанную под фиолетовый зернистый мрамор из гор Юры. Не успел он затянуться, как голова у него закружилась. Он почувствовал, как на него нисходит вдохновение, желание творчества, еще более неистовое, чем обычно. Но что это? Он оглянулся вокруг в поисках хотя бы одной вещи, еще не расписанной, не испещренной прожилками, яркими вкраплениями и разводами самых неясных цветов и оттенков. Прямо перед ним стояло зеркало, в котором он увидел себя во весь рост. И тогда он сразу понял, что ему следует делать. Он разделся догола, схватил палитру и осторожно, крохотными мазками начал разрисовывать собственную кожу.

Нежные прикосновения кисточки щекотали. Не без тщеславия он выбрал для себя греческий глазковый мрамор и радовался, наблюдая, как постепенно приобретают благородный вид его невыразительное лицо, обвислый живот и тощие ноги. Зелено-голубые разводы вытесняли отовсюду бледный розовый цвет его кожи. Вскоре только незакрашенный кончик носа и белые круги вокруг глаз напоминали, что они принадлежат живому человеку. От волнения у Мориса Огей-Дюпена перехватило дыхание: да, он творил свой шедевр! Он добавил еще несколько желтоватых жилок вокруг пупка, вырисовал ярко-голубой глазок вверху, на левом бедре, разрисовал паутинкой бедра и большими полосами икры, а потом снова принялся за лицо, конечно же, самый ответственный участок.

Он уже докрашивал зеленым веки, когда почувствовал, как кровь стынет у него в жилах.

Могильный холод сковал руки и разливался по всему телу. Он ужаснулся: мрамор, который он столько времени искусно имитировал, мстил ему за себя. Он еще попробовал спастись, как можно скорее скипидаром смыть с себя краску! Но у него уже не было силы пошевелиться. Застывающий, ошеломленный, с минуты на минуту он ждал перехода из животного мира в царство минералов. Вдруг Морису показалось, что мысли его угасают. Мозг превратился в камень. А затем и сердце сжалось в форме двухстворчатой раковины, остановилось, окаменело.

Когда жена заглянула в кабинет, чтобы позвать мужа спать, она приглушенно вскрикнула, увидев голую зеленого мрамора статую, которую он оставил вместо себя. Еще никогда в жизни она не видела такой прелести. Адель подарила это творение фирме Трапп. Статую 86 Анри Труайя Фальшивый мрамор поставили на пьедестале в зале заседаний дирекции. По просьбе вдовы профессиональный скульптор вырезал из настоящего мрамора виноградный листочек, чтобы прикрыть наготу бывшего генерального директора, погибшего, служа искусству.

Подопытные кролики

Альбер Пинселе только что повесился на крюке от лампы, когда дверь открылась и в комнату вошел маленький человечек в черном и вежливо с ним поздоровался. Повешенный попробовал чертыхнуться и задрыгал в воздухе ногами, хоть так выражая свой гнев. Не испугавшись такого приема, человечек в черном положил на кровать объемистый сафьяновый портфель, котелок, зонтик и серые перчатки.

У него было бледное морщинистое, как сжатая бумага, лицо, открытый и немного печальный голубиный взгляд и бородавка на подбородке. Очень спокойно он вскарабкался на табуретку и

вынул из петли тело Альбера Пинселе, которое стукнулось о землю со звуком ложащейся коровы. Затем он одернул манжеты и сказал:

– Меня зовут Фостен Вантр. Вы забыли запереть дверь на ключ.

Альбер Пинселе не ответил, потому что считал себя мертвым. Обеспокоенный этим молчанием, человечек в черном извлек из своего портфеля бутылку рома, веер, английскую соль, губку и принялся приводить в чувство несчастного.

Он работал споро и уверенно, он наклонялся, вставал, поворачивался, и слышно было, как хрустят его мускулы, словно сухой хлеб. Он напевал: На тихом море. . . эх Встает туман. . . эх Альбер Пинселе открыл глаза и глубоко вздохнул:

– Что вы здесь делаете?

– Возвращаю вас к жизни, – ответил Фостен Вантр.

– Лучше бы не совались в чужие дела.

– Вы рассуждаете, как ребенок! Выпейте-ка лучше: скажите, как вам ром!

Неудачник-повешенный приподнял голову, хлебнул алкоголя и выплюнул его на пол:

– Я больше ничего не хочу. Если бы вы знали. . .

– Я все знаю! Я все знаю! Я знаю, что вам двадцать пять лет, что у вас нет работы, нет будущего, нет родных, нет любовницы и что вы уже девять месяцев не платили за гостиницу!

– Ах! Молчите! – застонал Альбер Пинселе.

– Я уже несколько недель слежу за вами. Я послал вам свой проспект: «Отчаявшиеся, заработайте на вашем отчаянии. За справками обращаться к г-ну Фостену Вантру, улица Орельен-Ламбер, 17». Почему вы мне не ответили?

– Мне это казалось несерьезным.

– Несерьезным? Ах!.. Вы все одинаковы! Слушайте же, я пришел, чтобы предложить вам способ заработать деньги и обеспечить себе счастливую старость.

– Я хотел бы поспать, – пробормотал Альбер Пинселе.

Фостен Вантр нетерпеливо щелкнул пальцами:

– Сейчас поспите! Сейчас поспите! Только дайте сначала объяснить. Конечно, вы слышали о профессоре Отто Дюпоне?

– Ортопеде?

– Если хотите! Но только он вправляет не кости, а характеры.

– Ну, в таком случае я его не знаю.

– Профессор Отто Дюпон возглавляет всемирно известную клинику. В ней он применяет придуманное им лечение для моделирования, для модификации характеров. Приходит, допустим, такой себе застенчивый господин: «Я хотел бы стать авторитарным». Ему делают укол. Десять дней отдыха. И вот наш клиент возвращается домой с темпераментом диктатора, рвущегося выступать со своего балкона. Умственная ортопедия – наука молодая и тонкая. Малейшая ошибка может привести к необратимой катастрофе. Поэтому профессор Отто Дюпон, 89 Анри Труайя Подопытные кролики прежде чем сделать пациентам укол, испытывает действие своего препарата на своих помощниках, которых мы называем «испытателями характеров». В клинике их около двадцати. Но клиентура наша возрастает, и я получил распоряжение набрать еще нескольких испытателей.

Я сразу же подумал, что вам эта испытательная работа подошла бы. Вам предоставят жилье, питание, белье, Вы сможете гулять по прекрасному парку, у вас будут изысканные друзья.

Условия королевские. Через два года вы сможете нас покинуть и до конца жизни будете получать пенсию, соразмерную со временем вашей службы.

Фостен Вантр помолчал и с наслаждением гурмана проглотил слюну:

– Ну, что вы об этом скажете, молодой человек? – продолжил он. – Нравится?

– Но если так выгодно у вас работать, почему же вы задаетесь трудом набирать себе подопытных

кроликов?

– Испытателей характеров? Но ведь не каждый может им стать! Необходима определенная физическая предрасположенность. Устойчивость ко всем испытаниям. Моральная чистота.

Психическая устойчивость, нервная гармония, первоклассная интеллектуальная структура!

Все эти качества имеются у вас в избытке. Вот, прочитайте этот договор. Подпись поставьте внизу, слева. Но поторопитесь: мне сообщили о близкой попытке самоубийства рядом с площадью Бастилии.

Он завинтил пробку на бутылке и начал любовно укладывать обратно в портфель.

Альбер Пинселе взглянул на крюк в потолке, на гербовую бумагу договора и пожал плечами.

– Подписать или повеситься! – заключил он.

– Вот это правильно! – одобрил Фостен Вантр, протягивая ему ручку.

Молодой человек положил договор на пол и подписал вялой рукой.

– Будьте готовы завтра к девяти часам утра, – сказал Фостен Вантр. – За вами приедет машина скорой помощи. Когда буду уходить, уплачу ваш счет за гостиницу.

Когда он ушел, Альбер Пинселе растянулся поперек матраса и уснул сном, полным сновидений: по длинной мокрой дороге он шел к оранжевому свету, мерцавшему на горизонте.

Через каждые три шага он терял частицу себя самого. Палец, губу, веко. «Только бы выдержать до конца», – думал он. Вдруг он обернулся и заметил господина Фостена Вантра, семенящего следом за ним, с сафьяновым портфелем под мышкой. Старичок наклонялся через каждые три шага и подбирал то, что он терял. И восклицал: «Мям! Мям! Прекрасный палец!

Мям! Мям! Прекрасное веко!» – «Остановитесь! Остановитесь!» – кричал Альбер Пинселе.

Но старичок качал головой: «По какому праву? Вы ведь подписали? Мям! Мям! Прекрасное ухо!»

Проснувшись, он заметил, что подушка мокрая от слез.

Клиника профессора Отто Дюпона находилась недалеко от Парижа, Большое квадратное здание – сплошные окна и балконы – располагалось посреди парка с изогнутыми, как подпись бухгалтера, аллеями. В тени высоких деревьев были расставлены шезлонги, на которых отдыхали клиенты, думая о последних встрясках в их индивидуальности. За центральным зданием стоял флигель испытателей характеров, трехэтажный дом из розового кирпича с увитым цветами крыльцом. Пол в коридорах был устлан темно-синим линолеумом. На двери 90 Анри Труайя Подопытные кролики каждой комнаты висела табличка с надписью : «Мечтатель», «Добряк», «Друг литературы и искусства» – и датой последней инъекции с предостережениям: «Не применять до. . . »

Справа от двери на небольшой грифельной доске замечания дежурного врача: «Результат удовлетворительный», или «Подправить», или же «Результат отрицательный».

Медсестра отвела Альбера Пинселе в отведенную для него комнату. Голые стены. Железная койка. Полка с книгами.

– Конечно, мы меняем подборку книг после испытания, – заметила она. – Для каждого темперамента определенная литература. Профессор Отто Дюпон просит вас быть готовым через час.

Профессор Отто Дюпон принял Альбера Пинселе, сидя за массивным, размерами с древнеримский саркофаг, письменным столом, уставленным телефонами, диктофонами, светящимися лампочками на эбонитовых дощечках, усовершенствованными калькуляторами и автоматическим пеналом для авторучек. По краям стола возвышались стопки книг с ослепительно белыми, словно зубы у антропофагов, обрезами. Лампа на причудливо изогнутой ножке освещала стерильным светом лицо ученого. Цвет лица у него был свежий, вид приветливый, лицо чисто выбрито.

– Вы испытатель номер четырнадцать? – спросил он у Альбера Пинселе.

– Я видел этот номер на двери моей комнаты. . .

– Отныне это ваш номер. Садитесь. Посмотрим, что в вашем досье. Двадцать пять лет.

Пороки: нет. . .

Альбер Пинселе решил, что здесь уместно скромно опустить глаза.

– Характер: обычный. Реакция «Z»: обычная. Умственные способности: обычные. . . Великолепно! Великолепно! Вы именно тот человек, который мне нужен, – Я польщен, – пробормотал Альбер Пинселе.

– Я вам сегодня сделаю инъекцию несгибаемой воли с чуточкой тщеславия и капелькой мистицизма. Это очень интересная, очень тонкая смесь, которую я составил впервые по заказу одного политического деятеля. После инъекции вы будете отдыхать десять дней. После этого мы на вас испробуем состав для мечтателя. Затем. . .

– Итак, мой характер будет меняться каждые десять дней?

– Почти.

– Но это ужасно!

– Не надо так думать. Все ваши коллеги скажут вам, что эти трансформации происходят совершенно безболезненно.

– И так в течение двух лет?

– Даже дольше, если вы захотите. А вы захотите непременно. Подумайте, что по желанию меняя свой темперамент, вы увеличиваете свою жизненную способность, вы проживаете тридцать-тридцать пять жизней за год, в то время как другие проживают лишь одну, да и та!.. В конце концов, вы собирались покончить с собой, не так ли? А кончают с собой потому, что не могут больше выносить свое состояние, то есть самого себя. . .

– Да, это так.

– А я вам как раз и предлагаю не быть больше самим собой! Вы должны быть удовлетворены.

Альберу Пинселе было не по себе. «А если я сойду с ума? – думал он. – А если опыт не удастся и я умру?..» Ведь теперь ему не хотелось больше умирать. Но профессор встал и раздвинул дверцу в перегородке.

Альбер Пинселе последовал за ним в белоснежное, как молочная лавка, помещение. Пахло лекарствами и жженой резиной. На стенах были полки с бутылочками с разноцветной жидкостью. На мраморном столике в центре комнаты стояла целая армия реторт, пробирок, перегонных кубов и змеевиков. Во всей этой научной посуде играли блики света, падавшего из окна. В стеклянном шаре кипела какая-то зеленоватая жидкость с сиреневыми переливами.

За ней через защитные очки следил Фостен Вантр.

– Все готово? – спросил профессор Отто Дюпон.

Откуда-то из угла появился помощник, такой же белый, как и стена, держа в изъеденных химикатами пальцах крохотную пробирку, заткнутую ватой. Профессор Отто Дюпон проверил содержимое пробирки на прозрачность и щелкнул языком:

– Думаю, что нужно бы немного разбавить. Ну да там видно будет. Матрикул четырнадцать, опустите брюки, друг мой. Повернитесь ко мне спиной. Расслабьтесь.

Альбер Пинселе, повернувшись носом к стене, подставил свой голый зад для непонятной хирургической операции. Пот ручьями катился по его лицу. В нескольких метрах от него звенели странные инструменты: вот бросили иглу в железную коробку, тихий хлопок открываемой пробки, всхлипнул кран. Затем шаги, все ближе и ближе. Горячее дыхание ему в затылок. Запах юфти. Прикосновение мягкой мокрой ватки к ягодицам. Он зажмурил глаза.

Сжал челюсти, ожидая нестерпимой боли. От слабого укола в ягодицу он подскочил. И ждал, что будет дальше.

– Все! – объявил профессор Отто Дюпон. – Вы свободны.

– Но. . .

– А вы думали, что я вас насажу на кол? Через десять-пятнадцать минут вы ощутите действие укола. Вы поменяете индивидуальность, как змея меняет кожу. Вы обретете волю, проницательность, веру в себя, которых вам всегда недоставало.

– Благодарю вас, – сказал Альбер Пинселе.

Он осторожно выпрямился, оправил одежду и вышел в сопровождении Фостена Вантра.

Альбер Пинселе медленно шел по парку, прислушиваясь к пробуждению в нем другой натуры. Как беременная женщина, он опасался любого резкого движения, боялся оступиться, упасть, чтобы не навредить загадочному существу, зародыш которого он нес в себе. Чувствовал ли он что-нибудь? Нет, еще ничего. А сейчас? Все еще ничего. Разве что небольшое головокружение, приятную тошноту, страх, радостное ощущение близкого рождения. Кем он будет завтра, а через час? Ощутит ли он переход от одной личности к другой? Будет ли он сожалеть о прошлом состоянии? Будет ли жалеть о себе?

Чем больше он об этом думал, тем печальнее становился. У него было такое чувство, будто он стоит на перроне, а скорый поезд должен вот-вот увезти навсегда его лучшего друга, друга порочного, серого и никчемного, не очень умного, не очень доброго, не слишком искреннего, но, несмотря ни на что, славного малого. И он думал о той привычной старой одежде, поношенной, которую уже нельзя починить, но и жалко выбросить; или о пейзажах угрюмых окраин, которые своей бедностью завораживают на всю жизнь. Ему стало до слез себя жаль. Он оплакивал собственную гибель. Лучше было умереть, чем становиться другим!

Да и к чему, Господи? Ну, какая-то кругленькая сумма, спокойная старость в деревне? Стоит 92 Анри Труайя Подопытные кролики ли это его предательства? А если он откажется менять характер? А если он хочет остаться самим собой?

Слабое жжение в месте укола вернуло его к медицинской действительности. Он повернулся к Фостену Вантру с разъяренным и решительным видом.

– Вы обманули меня, смешиватель вакцин! – вскричал он. – Но предупреждаю, что завтра же покину эту лавочку! Я заявлю в полицию о вашей торговле живым товаром для опытов!

Я в тюрьму засажу и вас, и вашего подлого хозяина Отто, прежде чем вы превратите меня в дуршлаг! И не улыбайтесь, как дурак, не то я на вас донесу!..

– Господи, – вскричал Фостен Вантр. – Очевидно, превысили дозу!

И он поднес к губам серебряный свисток.

– Что на вас нашло? – осведомился Альбер Пинселе.

– Ничего, ничего, любезный друг, – ответил Фостен Вантр. – Давайте продолжим нашу прогулку. Посмотрите на этих молодых женщин. Это тоже испытатели характеров. Матрикулы один бис и пять бис, если не ошибаюсь. К номеру женщин у нас добавляется «бис».

– Та, что справа мне нравится, – заметил Альбер Пинселе. – Сделайте одолжение. . .

Но он не успел закончить. Два рыжих парня, появившихся по свистку Фостена Вантра, схватили его за руки и за ноги.

– Отнесите к профессору, – приказал Фостен Вантр. – Скажите, что его нужно немедленно подправить.

Альбер Пинселе неистово отбивался, рыгал, плевался слюной и кусался, как помешанный. Профессор Отто Дюпон приказал привязать его к стулу и сделал второй укол в двух сантиметрах от первого.

– Вы меня простите, – извинился профессор, – мне приходится несколько раз примеряться, прежде чем я попаду на требуемый характер. Это издержки нашей профессии. Как вы сейчас себя чувствуете?

– Хорошо, – ответил Альбер Пинселе, – но я не хочу, чтобы ко мне подходили. Я вернусь сам.

В двери появился Фостен Вантр.

– Ну вот, мы и успокоились! – одобрил он.

Пинселе пожал плечами. Он чувствовал себя спокойным, сильным, уверенным в себе.

Словно чесотка, его снедало желание приказывать что угодно и кому угодно.

– Я хочу, чтобы в мою комнату поставили цветы, – заявил он.

Ему понравилось, как звучит его голос: чисто и по-мужски.

– Думаю, на этот раз это то, что нужно, – заметил профессор Отто Дюпон, обращаясь к Фостену

Вантру. – Одна из самых моих больших удач.

Альбер Пинселе испытывал определенную гордость от того, что им восхищаются эти два специалиста.

– Снимите же эти путы, – сказал он.

Когда его освободили, он встал и протянул руку профессору.

– До скорого, матрикул четырнадцать, – ответил профессор. – Увидимся через десять дней.

Сердце Пинселе сжалось от внезапной грусти.

– Как через десять дней?

– Ну да, чтобы сделать из вас мечтателя.

– Но я не хочу быть мечтателем! Зачем это? Мне и так хорошо!

Он стукнул кулаком по столу. Отто Дюпон ничего не ответил. И матрикул четырнадцать смог выйти с достоинством, размахивая руками и стуча каблуками по плитам пола.

На следующий день матрикул четырнадцать встал поздно, надел коричневый халат и больничную шапочку и спустился в сад. От огромного парка, по которому прогуливались клиенты, сквер для испытателей характеров отделяла простая решетка. Альбер Пинселе сел под дубом и раскрыл книгу. Было тепло. В зеленой сени деревьев трепетали солнечные блики.

Вскоре молодой человек задремал, и книга выскользнула у него из рук.

Проснулся он от звонкого хохота. Он открыл глаза. В нескольких шагах от него сидели и оживленно беседовали две знакомые женщины.

Альбер Пинселе приветствовал их, сняв больничную шапочку. Они кивнули ему в ответ.

И вдруг та, что помоложе, заговорила:

– Вы новый испытатель?

– Да, мадам.

– Мадемуазель.

– Простите. . .

– И кто же вы сегодня?

– Кто я?

– Ну да, каков ваш характер?

– Волевой, с чуточкой гордыни и капелькой мистицизма.

– Как это прекрасно! А я нежна, немного наивна и чуть-чуть поэтична.

– Ну и у вас неплохой характер. На сколько дней?

– Еще на пять.

– А я на целых девять.

– Вам повезло!

– Почему?

– Всегда неприятно меняться.

– Так откажитесь менять характер!

– Посмотри, мамочка, какой он властный! Это великолепно!

– Мадам ваша мать?

Она засмеялась:

– Нет, мы называем ее мамочкой, потому что она испытательница с самым большим стажем. Мы с ней советуемся, она нас направляет. . .

Альбер Пинселе пододвинул к ним поближе свой стул, и разговор продолжался весело и непринужденно, так что они даже позабыли, что пора идти на обед. Матрикул четырнадцать рассказал о своих неприятностях и узнал, что молодую женщину зовут Иоланда Венсан, что родители ее умерли и что Фостен Вантр спас ее в ту минуту, когда она собиралась броситься в Сену. У нее было приятное, немного продолговатое бледное лицо с сине-зелеными глазами, взгляд которых странным образом вас освежал.

– Я уже собиралась прыгнуть. Мне было страшно. И вдруг кто-то схватил меня за плечо.

– Слава Богу! – вздохнул Альбер Пинселе.

– Вы очень любезны.

– Да нет же, я эгоист!

Мимо них прошли два испытателя в таких же коричневых больничных халатах, как и у него.

– Номер семь сегодня «подозрителен», – заметила Иоланда. – А двенадцатый сегодня последний день «холерик, но в глубине души добрый малый».

 – Жизнь здесь, очевидно, печальна! – вздохнул Альбер Пинселе.

– Не надо так думать, – сказала мамочка. – У нас здесь очень сплоченный, дружеский кружок. . . Вот увидите, когда подольше поживете среди нас. . .

– Я здесь надолго, – сказал Альбер Пинселе.

И он взглянул на Иоланду с видом монгольского завоевателя, а она скромно опустила глаза.

После обеда Отто Дюпон пригласил все парные номера для демонстрации моделей.

В большом зале с оббитыми богатой тканью сиденьями устроили эстраду, снабдив ее рампой и микрофоном на стояке. Клиенты сидели в тени. Фостен Вантр, стоя на сцене, оглашал характеристики каждого матрикула, а затем зрители задавали вопросы представленному. Политический деятель, заказавший характер Альбера Пинселе, маленький, плотный господин, с колеей, поросшей рыжими волосами, и маленькими свиными глазками, был в восторге от модели.

– Вы уверены, что такого же результата добьетесь и со мной, – спросил он у профессора.

– Абсолютно уверен. Мы немного приспособим сыворотку к вашему контексту, но вы можете рассчитывать на полное подобие.

– Великолепно! Великолепно! А скажите-ка, матрикул четырнадцать, вы никогда не сомневаетесь в правильности своего решения?

– Никогда! – ответил Альбер Пинселе.

– А если бы партийная дисциплина запрещала вам высказываться искренне?..

– Я бы все же высказался.

– Ай! Ай! Ай! Ну а если это чревато?..

– Я бы перешел в другую партию. Я бы, в конце концов, создал свою!

– Хорошо! Хорошо! А. . . если бы вы узнали, что жена вам неверна? Это только предположение. . .

– Я бы ее вышвырнул из дому.

– Хорошо! Знаете, здесь придется подправить, – вздохнул толстяк, поворачиваясь к Отто Дюпону, – Как прикажете. Но учтите, что при применении вы всегда можете попросить о дополнительных изменениях.

Альбер Пинселе покинул сцену под ропот одобрения. Какая-то дама, сидящая в глубине зала, даже зааплодировала и закричала:

– Браво!

За кулисами несколько коллег его сдержанно поздравили:

– Вы понравились.

– Но не стоит так стараться.

– Заметьте, что этот характер значительно украшает. А что бы вы запели, если бы у вас был другой!

Альберу Пинселе стало противно от этой профессиональной зависти и комедиантства. Он вернулся в сад. Иоланда ждала его на старом месте. Но на этот раз она была одна.

– Наконец! Я нашел вас, – вскричал он. – Я хочу поговорить с вами после этого смешного сеанса. Люди завистливы и злы.

– Это из-за вашего успеха, – сказала она.

– Думаю, что так.

Она молитвенно сложила руки, и взгляд ее засветился преданностью и обожанием:

– Я горжусь вами. Расскажите, как все происходило.

Он сел рядом с ней и, рассказывая, следил за ее лицом. Она была красива той трогательной, очаровательно-уязвимой красотой, которая требует защиты. А Альберу Пинселе не терпелось защитить кого-нибудь. Он чувствовал себя более сильным, более стойким, трогательно заботливым рядом с этой беззащитной девушкой. Он был хозяином положения. Он положил руку на колено Иоланды. Она вздрогнула и опустила голову.

В последующие дни он сладостно боролся с мыслью о своей любви. И совсем не потому, что влюбленным быть неприятно. А потому, что он считал необходимым сначала разобраться в собственных чувствах. Вскоре он заметил, что все его сомнения разлетаются в прах при встрече с Иоландой. Он думал о ней, мечтал о ней, представлял себе сладостные, полные нежности сцены, которые больше истощали его, чем если бы она ласкала его на самом деле.

В воскресенье вечером, за несколько минут до отбоя он поцеловал ее в губы. Она не сопротивлялась, только тихонько застонала, как животное. Было уже так темно, что он с трудом различал ее лицо. Опьянев от счастья, он сориентировал свой поцелуй по слабому аромату ананаса, исходившему от душистого ротика, полураскрытого на уровне его рта.

На следующий день он встретил Иоланду только в пять часов вечера. Она решительно шла по аллейке, которую они избрали для свиданий. Он подошел к ней и взял ее за руку. Но она резко отстранилась и засмеялась.

– Что с вами? – спросил он.

– Со мной? Ничего.

Он внимательно пригляделся к ней. Что-то изменилось. Она смело встретила его взгляд.

Она смотрела прямо, смеялась во весь рот, откровенно и нагло, что его удивило.

– Почему вы не пришли утром? – продолжал он.

– Я была на инъектировании.

Ужасное подозрение закралось в душу Альбера Пинселе.

– И. . . и. . . кто же вы теперь? – пробормотал он.

– «Женщина уравновешенная, умная, властная, деловая, любящая хорошо покушать». Профессор Отто Дюпон очень доволен.

Она, казалось, восхищалась этим характером, как новым платьем. Альбер Пинселе в отчаянии опустился на скамейку.

– Что? Что? – простонал он. – Возможно ли, чтобы это очаровательное создание, нежное, тонкое, мечтательное. . .

– Можете с ним проститься.

– Значит, я могу проститься с моей любовью!

– Ну а это совсем другое дело. Прежде всего, вы тот тип мужчины, который мне нравится.

Я только прошу вас отрастить усы и короче подстричь ногти!

– Иоланда, Иоланда, возможно ли это?

– В этом заведении все возможно, дорогой мой. У вас нет сигары? Я их обожаю. Ах! Да, на чем это я остановилась? Садитесь рядом со мной. И не нужно сидеть с таким трагическим видом! Дайте, я вас поцелую.

Она наклонилась к нему и поцеловала в губы умелым и длинным поцелуем опытной женщины.

– Уф! Как хорошо! – продолжала она.

В душе Альбера Пинселе нарастал гнев. Он сердился на Иоланду за это ужасное превращение, будто она действительно была в нем повинна. Он презирал ее за то, что она довольна собой.

– Вы. . . вы мужеподобны! – процедил он сквозь зубы. – Но не забывайте одного: я здесь командую. Я вас сломлю, заставлю измениться.

Она глупо захохотала.

– Замолчите! – прикрикнул он.

И занес руку для пощечины. Но не успел ее опустить, так как сам получил пощечину.

– Потише, дружок, – заявила девица.

И она удалилась, громко и фальшиво насвистывая ковбойскую песню.

Альбер Пинселе тяжело переживал это происшествие. Он плакал о несбывшейся любви, проклинал профессора Отто Дюпона и поклялся завтра же утром сбежать из клиники. Но, сам не зная почему, остался. Больше того, он искал встречи с Иоландой, когда она вышла из женского отделения и прогуливалась вдоль решетки, покуривая сигару. При виде ее его охватила сладостная истома. Он должен был признаться, что и в этом обличье он ее любил.

За этой угнетавшей его наружностью амазонки скрывалась близкая натура, за этим печалившим его непроницаемым лицом – загадочная и нежная душа, очарования которой он еще не забыл. Инъекции профессора Отто Дюпона меняли оболочку, но не скрытые глубины души, а источники тепла, жизни, любви оставались без изменений. Альбер Пинселе храбро помирился с Иоландой, смирился с ее причудами и с терпением мученика слушал ее болтовню.

Он смотрел как бы сквозь нее. Он постарался ей объяснить. Она ничего не поняла и сказала, что он мудрствует.

Как бы там ни было, через несколько дней матрикулу четырнадцать и самому пришлось менять характер. Дозировка состава «мечтатель» была недостаточна и дала «флегматический темперамент». Между тем клиент профессора отказался от заказа, и Отто Дюпон не счел нужным подправлять характер испытателя. Иоланда Венсан отнеслась к такому преображению с раздражением.

– Для меня любовь – борьба, – заявила она. – А как я должна бороться с мокрицей?

– Вы правы! Я сам себе отвратителен! – хныкал Альбер Пинселе. – Я ничтожество! Я вас недостоин! Ах! Если бы у меня хватило смелости застрелиться!..

Охваченная жалостью, она постаралась немного подбодрить его, вернуть ему мужское достоинство. Но долго ей не пришлось им заниматься, так как она вскоре превратилась в «углубленную в себя женщину, немного святошу, с математическими способностями». Отныне Альбер Пинселе ее больше не интересовал. Он волочился за ней, нашептывал признания в любви, подсовывал любовные записки под дверь. Однажды он далее попросил Фостена Вантра замолвить за него слово. Но на следующий день он стал «пресыщенным женщинами кутилой и заядлым карточным игроком». Иоланда Венсан, удивленная и обольщенная, попыталась сблизиться с ним. Он отнесся к ней свысока, с развязностью заядлого Дон-Жуана и отошел, подмигивая медсестрам. Он ударял за всеми женщинами заведения профессора Отто Дюпона.

Он останавливал их, брал за подбородок и говорил бархатным голосом:

– Ах! Эти глаза! Эти глаза!.. Хотелось бы утонуть в них!..

Но в глубине души его любовь к Иоланде Венсан не угасала.

Эти двое людей, характеры которых никак не могли попасть в такт, страдали от того, что счастье им выпадало лишь случайно, будто ворованное, и лишь на короткое время. Их блаженство зависели от неумолимой игры профессора Отто Дюпона. Их радости и горе зависело от какого-то глупого укола в ягодицу, В редкие часы гармонии они плакали над хрупкостью 97 Анри Труайя Подопытные

кролики их союза. Сидеть на скамейке, разговаривать, понимать друг друга и любить так, как они любили, и в то же время знать, что вскоре волей этого хулигана-профессора они вновь будут чужими людьми. Жить в постоянном страхе перед будущим. Бояться себя. Бояться самого дорогого для тебя в мире существа. Ссориться, ругаться, а потом прощать друг другу, удивляться, вновь обретать надежду. Эта смена чувств так их утомляла, что они просто теряли голову. Они больше не говорили: «Я тебя люблю», а говорили: «Как я тебя люблю сегодня!»

Они больше не говорили: «Мы сделаем то-то, мы пойдем туда-то», а говорили: «Если ты не очень изменишься, мы сделаем это, пойдем туда». Их надежды и сомнения зависели от графика инъекций.

– С двадцать пятого я стану «женщиной легкомысленной, но любящей чужих детей».

– Ты думаешь, мы все же сможем найти общий язык?

Она смотрела на него с очаровательной печалью и нежно шептала:

– Боюсь, что нет, Альбер.

Тогда он бежал к Фостену Вантру и умолял отложить инъекцию или хотя бы привить Иоланде характер, который подходил бы к его характеру. Напрасные старания. Коллеги Альбера Пинселе сочувствовали несчастной паре. Все только и разговаривали, что о «влюбленныхxамелеонах», как их называл матрикул тринадцать. Окрыленный этой поддержкой, Альбер Пинселе попытался поднять испытателей на бунт против профессора Отто Дюпона. Но его не поддержали. Как и следовало ожидать, его войскам не хватало последовательности в мыслях.

Со своей стороны Иоланда попросила мамочку помочь ей.

– Хоть бы я еще любила его завтра! – сетовала она.

– Будущее в руках профессора, – ответила мамочка, качая головой.

К концу сентября влюбленные, доведенные до отчаяния, решили заявить Отто Дюпону об уходе. Они отправились к нему, изложили мотивы ухода и извинилась за то, что не могут остаться до истечения двухлетнего срока, предусмотренного контрактом. Отто Дюпон был великодушен: он не только не потребовал возмещения убытков, но даже пообещал выплачивать небольшую ренту в первые три года их супружества. Последняя инъекция вернула им их изначальные характеры. Они отнеслись к ней, как к священнодействию.

Через месяц они поженились и сняли двухкомнатную квартиру недалеко от Итальянских Ворот.

Первое время после свадьбы было безоблачным. Молодые супруги не могли привыкнуть к мысли, что они вместе. Засыпать и просыпаться рядом с тем же человеком! Выходить, зная, что по возвращении тебя встретит то же лицо, те же речи, что и завтра, и всегда, и что в размолвках будете виноваты не только вы сами!

– Мне кажется, что это сон! – мурлыкала Иоланда.

А Альбер целовал ей руки:

– Как чудесно надеяться, предвидеть! Ты помнишь, как были смешны твои причуды амазонки?

– Смешны? Но почему же! Напротив, это ты был смешон в роли дешевого Дон-Жуана!

И они смеялись над былыми горестями.

98 Анри Труайя Подопытные кролики Однажды в воскресенье они решили сходить в гости к профессору Отто Дюпону. Вернулись они грустные и обеспокоенные.

– Ты видел, к флигелю испытателей пристроили еще одно крыло, со стороны женского отделения. . .

– Но и садик стал меньше.

– Да нет же, он просто нам казался больше. . .

* * * Шло время, и Альбер Пинселе становился все задумчивее, все молчаливее и раздражительнее. Иоланда же совсем не выходила из дому и целыми днями сидела в кресле у окна, смотря на карусель автомобилей под дождем. Альбер вставал, подходил к ней, целовал в лоб и возвращался в свой угол, шаркая тапочками. Раздавался бой часов.

– Что мы будем делать сегодня вечером, любимая?

– Что хочешь, любимый.

Вскоре Альбер Пинселе понял, что ему с женой ужасно скучно. А Иоланда вынуждена была признать, что ее жизни с мужем не хватает волнующих неожиданностей. Все время один и тот же мужчина, та же женщина. Они вспоминали о пребывании в клинике, где каждая встреча готовила сюрприз. Буйство фантазии плохо подготовило их к теперешней жизни.

Теперь они больше не могли познать ни ужас, ни наслаждение. Все известно заранее. Ад скучной обеспеченной жизни. Альбер Пинселе тайком завел любовницу. А Иоланда – любовника. Но связи эти были мимолетны. Они вернулись друг к другу, испытывая отвращение и раскаянье. Они извинились:

– Я изменила тебе, любимый.

– И я тоже изменил тебе, любимая!

Они были очень бледны. Голос Альбера звучал угрюмо, он хмурился, пытаясь оправдать свое поведение:

– Видишь ли, раньше я изменял тебе с тобой же. Каждые десять дней ты была собой и не была собой, и я был собой и не был собой. . .

– Как я тебя понимаю!

– Я боялся тебя потерять. Но каждый раз, теряя тебя, я вновь обретал тебя непостижимым образом в другой. Ты ускользала от меня, но была со мной. Ты принадлежала мне, не принадлежа. . .

– Помнишь ли тот день, когда я сказала тебе «любовь для меня – борьба»? Ты был ничтожным неудачником. Ах, как мне хотелось бы, чтобы ты снова им стал!..

– А я так хотел бы, чтобы ты снова стала тем гротескным «синим чулком», увлеченным математикой!..

– Ах! Альбер! Альбер! Что мы потеряли!

И она разрыдалась:

– Целую жизнь, – стонала она, – ты будешь тобой, а я буду мной! Ведь это ужасно!

А он шептал, осушая поцелуями слезы:

– Да! Да, это ужасно, Иоланда! Да! Да, это ужасно!

На следующий день Альбер Пинселе и его жена вернулись на службу к Отто Дюпону.

Тандем

Это был светло-зеленый тандем с тонкими серебристыми спицами. Спаренный велосипедный руль был элегантен и надежен. Четыре ажурные, покрытые серебристо-серой резиной педали, были мягки и удобны. Два седла из рыжеватой кожи, сделанные по размеру маленьких ягодиц, загибались книзу хищными клювами. И от малейшего движения спицы колес рассыпали целый сноп искр.

Все вместе выглядело удивительно ладным, блестящим и модерным, как дорогой хирургический инструмент.

Мсье и мадам Пусид называли его не «тандемом», а «машиной».

– Ну что, поедем сегодня на машине?

– Ты погладила наши костюмы для выезда на машине?

Поэтому – стоит ли добавлять? – когда супруги Пусид выезжали на машине, у них была одинаковая форма.

Одинаковые изумрудного цвета жилеты обтягивали пышные формы мадам Пусид и тощее тело ее мужа. Одинаковые вязанные шапочки с помпонами венчали продолговатую голову мужа и взбитый шиньон его супруги. Одинаковые брюки на молниях подчеркивали формы женских и мужских бедер. А от одинаковых перчаток из зеленой блестящей кожи руки их были похожи на лапки

лягушек.

Так как мсье Пусид был немного подслеповат, да и правая лодыжка у него была слабовата, впереди всегда сидела и направляла тандем мадам Пусид, с глазами орла и мощными ляжками.

Сначала над ними подсмеивались из-за такой полной перемены велосипедных и матримониальных догм, но вскоре жители Валюлеклу должны были признать, что такая комбинация весьма успешна. Каждое воскресное утро Пусиды покидали городок и, как два слившихся майских жука, устремлялись на своем тандеме к туманным далям.

Наклонившись под одинаковым углом на раме своего велосипеда, с одинаково округленными спинами, крутя в такт педали, с одинаковым выражением сосредоточенного задора и возвышенной серьезности на лице, они были похожи на две прекрасно отлаженные детали того же механизма. Никогда муж и жена не были так близки друг к другу, не обращались так сладострастно друг с другом, не вибрировали в унисон друг с другом, как на седлах их тандема. Скорость движения, свист рассекаемого воздуха, запах пыли и травы, легкая усталость мускулов – все это опьяняло.

Они составляли одно целое. Одно существо, с одной головой, одним телом, двумя руками, двумя ногами, обогреваемое одной кровью. И когда они возвращались вечером и ставили «машину» в прихожей своей квартиры, они смотрели друг на друга с нежностью усталых любовников, которые только что проснулись на одной подушке.

Но эти воскресные вылазки не одинаково отражались на здоровье супругов. В то время как эти физические тренировки действовали бодряще и укрепляюще на дородную мадам Пусид, господин Пусид, казалось, еще больше хирел и ссыхался после каждой прогулки. Лицо его становилось бескровным. На свете глаза его часто моргали. Его начал донимать сухой кашель.

Он улыбался криво, как храбрящийся больной. И вот в один прекрасный день он угас с трогательной неназойливостью. Общественное мнение обвинило мадам Пусид в том, что «это она довела его со своей машиной». Но, сделав это заключение, все единодушно принялись хвалить внешние проявления ее горя.

Каждое воскресное утро она отправлялась на кладбище на своем тандеме. Для жителей Валюлеклу это было назидательно-печальное зрелище.

Мадам Пусид в полном трауре, как обычно, сидела впереди, а заднее седло, пустое и ненужное, душераздирающе напоминало о дорогом усопшем. Вдова изо всех сил жала на педали, не оборачиваясь. Ее большая раздутая голова торчала из траурной экипировки платья.

На груди блестел крестик. А по ветру, как темное покрывало моллюска-каракатицы, реяла ее черная вуаль.

Даже самые большие насмешники не смеялись, когда она проезжала по улице.

Однако понемногу набожные поездки мадам Пусид становились все более редкими. Несчастная вдовушка устала афишировать меланхолию, поостывшую со временем. Она страдала от одиночества. Иногда весенним вечером она сидела у окна, вдыхая запах вспаханной земли, и вздыхала, от чего чуть не трескались под платьем двойные бретельки ее комбинации. Она мечтала о сладостных объятиях незнакомца, лица которого не видела. Душа жаждала ласк.

Однажды она зашла в велосипедную лавку, чтобы купить багажник с рыжими ремнями, о котором когда-то мечтал покойный муж. Приказчик, показавший ей багажник, был крепким малым с бычьей шеей и хищными челюстями. Увидев его, мадам Пусид почувствовала, что теряет голову. Приказчик нагло смотрел ей в глаза. Она пробормотала:

– Сколько?

Когда он ответил: «Пятьдесят семь франков семьдесят пять сантимов», – ей показалось, что он взял ее за руку.

– Я должна подумать, – пробормотала она.

Когда она вышла, ноги ее не держали, душа ликовала. И колокольчик на велосипедной лавке прозвучал настоящим похоронным звоном по мсье Пусиду.

Мадам Пусид легко узнала, как зовут приказчика, и назначила ему свидание. Огюстена Бушона соблазнила ее гордая неистовая страсть, подкрепленная обещанием доходного места в фирме, где Мадам Пусид имела друзей.

Он предложил вдове встретиться вечером у него. Он жил в двенадцати километрах от города, в доме на отшибе, с дебильной сестрой и глухонемым отцом. Конечно же, ни отец, ни сестра не могли им

помешать.

– На тандеме вы быстро доедете!

Она потупила глаза, раздираемая стыдом и вожделением.

– Хорошо, – согласилась она, – в десять вечера я буду у вас. . . завтра. . . Но что вы обо мне подумаете?..

И она добавила:

– Понимаете, это в первый раз!

По ночному небу ползли брюхатые тучи. На месте луны дрожало какое-то желеобразное пятно, похожее на медузу в глубине моря. Легкий ветер гнал по дороге голубую пыль.

Придорожные травы слабо шевелились. Воздух был свеж, вечер полон шорохов, Мадам Пусид решительно крутила педали, предвкушая встречу с любовником. Велосипедный фонарик отбрасывал на дорогу загадочный свет, заставляющий думать об ограблении.

Отбросив с лица вуаль, расстегнув ворот платья, она ехала, прижмурив глаза, предвкушая близкое счастье. Кровь бешено билась в висках не от быстрой езды. Через несколько минут она наконец будет у цели. Она входит в незнакомый дом, где ее уже ждут; крепкие руки обнимают за талию; жадный поцелуй в губы. Об остальном она даже не осмеливалась думать.

Дорогу перебежал кролик, и где-то зловеще закричал филин. Она нажала на педали.

Колеса шелестели, как шелк. Вдруг она вздрогнула от хлопка. Затормозила. Соскочила цепь.

При свете фонарика она начала прилаживать цепь к кружевным колесам. Она нервничала, по лицу катился пот, пальцы, испачканы жирной смазкой. Где-то далеко на башне пробило десять.

Успешно справившись с поломкой, она снова села на тандем и упорно заработала ногами, чтобы наверстать упущенное время. Но не успела она проехать и сотню метров, как спустила шина на заднем колесе, Минут пятнадцать она потеряла на то, чтобы кое-как залатать ее и поддуть. Затем потух фонарик, и ей понадобилось десять минут, чтобы наладить контакт.

В отчаянии и беспокойстве она спрашивала себя, по какому такому стечению обстоятельств все эти маленькие неприятности случились с ней именно в этот вечер, когда ей больше всего хотелось доехать без всяких приключений. Дорога шла как раз по лесу, когда она почувствовала, что кто-то дышит ей в затылок. Она обернулась. Никого. Ночь рокотала, как ключ.

– Я с ума сошла, – пробормотала она. – Еще семь-десять минут, и я буду у него.

Послышался странный вздох, и мадам Пусид выпустила руль, чтобы перекреститься. Она узнала специфическое дыхание своего мужа, его одышку, когда он выбивался из сил, но чтобы не уронить мужское достоинство, не хотел просить ее ехать помедленнее.

Она нагнулась вперед, чуть не касаясь животом колен.

– Матильда. . .

Знакомый голос мямлил за спиной ее имя. «Наваждение», – решила она, чтобы унять страх. И действительно, знакомый голос больше ее не окликал. Но мадам Пусид знала, что он сидит у нее за спиной. Она чувствовала его присутствие. Она чувствовала, что под его тяжестью велосипед едет медленнее. Она слышала похрустывание в его левом колене. Да, это он, у нее не было сомнений. Сквозь ночь она везла сзади себя призрак.

Не оборачиваясь, она скосила глаза, и ей показалось, что она видит светящиеся капли пота, стекающие с невидимого лица на землю.

– Ох! Ох! – стонал призрак, – Альбер, это ты? – прошептала несчастная.

– Ох! Ох!

Она сделала резкий поворот в надежде сбросить его с седла. Но он держался крепко, и она ожидала, что с минуты на минуту липкие холодные пальцы вцепятся ей в затылок. . . Цепенея от ужаса, задыхаясь, она закричала:

– Оставь меня! Оставь меня!

Лес кончился. На первом повороте мадам Пусид узнала дом Огюстена Бушона, с белыми стенами,

под черепичной крышей. Она вздохнула с облегчением и налегла на педали. Быстрее!

Быстрее! Дверь открыта. В освещенном проеме вырисовывалась мощная фигура Огюстена, черная и четкая, как рок. Он ждал ее, Он ее видел. Она спасена! Еще метр-два. . . Она налегла на тормоз обеими руками.

Но в эту минуту произошло нечто ужасное. Тормоза отказали под напором сверхъестественной силы. Напрасно она нажимала на стальные ручки, кто-то бешено крутил педали позади нее: тандем, как стрела, унесся вдаль. Она еще успела увидеть, как Огюстен воздел руки к небу.

– На помощь! На помощь! – завопила она.

Но тандем увозил ее с адской быстротой. Она вцепилась в руль, чтобы не упасть.

Им навстречу неслись хрупкие голые деревья. Дорога с шумом втягивала их, как в воронку. Пруды бежали за ними следом, рассыпаясь металлом. Птицы осыпали их криками.

– Останови! Я больше не могу!

Она одновременно теряла дыхание и сознание.

Вдруг ей показалось, что она видит впереди какое-то огромное расплывчатое зарево, что оно ширится и приближается к ней, и она закрыла глаза.

Когда она их снова открыла, пейзаж изменился. Они ехали по звенящему железнодорожному мосту над потоком, ледяное дыхание которого с гневным рыком ударило ей в лицо.

Затем они понеслись по равнине, поросшей кустарником, в котором вспыхивали и гасли желтые искры. Со всех сторон слышался хохот. Начался дождь. За спиной мадам Пусид слышала ужасное дыхание призрака.

Мокрое от пота и дождя траурное платье прилипло к телу. Намокшая вуаль, как волосы, лезла в глаза. Она хотела ее отодвинуть, но вуаль казалась живой. Она вырывалась из рук, крутилась, залепляла все лицо, стегала ее по щекам и снова взмывала в воздух с гулким звуком хлопающих мокрых крыльев.

Вдруг все умолкло. Вуаль набрала высоту, некоторое время парила над ней и вдруг резко захлестнулась вокруг шеи.

Она ужасно закричала и запрокинула голову. При свете молнии она увидела позади себя гомункулуса, одетого в светло-зеленый костюм и прозрачного, как крылышко стрекозы. В его глазах блестели капли дождя. Из висящих клочками губ вырывалось светящееся дыхание. И под легким, как пар, свитером темнели ребра.

Она взвыла, как зверь, и схватилась руками за горло. Петля неумолимо сжималась, сдавливая дыхание, разрезая кожу похлеще веревки. В голове кружились огненные искры. Язык вывалился изо рта. И она провалилась в страшную пустоту, полную криков и всхлипов. Больше ее не видели.

Жители Валюлеклу рассказывают, что иногда грозовыми вечерами далеко, ниже по течению реки, огибающей город, можно услышать звон велосипеда. Люди баррикадируют двери, закрывают ставни. Звук приближается, становится громче, велосипед звенит на улице. И в щелочку между ставнями можно увидеть светло-зеленый тандем, который на бешенной скорости несется в темноте. На заднем седле никого. На переднем – толстая женщина в черном платье, а над ней полощется, танцует и вьется огромная траурная вуаль, разорванная ветром.

.

Суд Божий

Глава I, *в которой читатель знакомится с Александром Миреттом* Когда-то в средние века жил человек, которого звали Александр Миретт. Он был так худ, что кожа лица была до предела натянута на скулах и подбородке. Его светло-русые волосы неопрятными прядями спадали на сухую шею. Выпятив могучую грудь, с постоянно впалым животом, на сильных жилистых ногах он, царственный и грязный, проходил мимо низеньких домов, и женщины отворачивались, встречая его дерзкий взгляд.

У Александра Миретта был друг – обезьянка Валентин, которую он носил на плече.

Это было странное животное, со сморщенной, как спущенный чулок, мордочкой, волосатыми лапками и гладким и победоносно задранным кверху хвостом над красным задом. На голове у обезьянки была шапочка цвета зеленого миндаля, украшенная медальками и павлиньими перышками. По команде хозяина Валентин мог притворяться мертвым, показывал, как пьяный муж

возвращается домой, как девственница томится весенней ночью, базарную торговку: Изобрази нам, Валентин, Наших игривых Жеральдин, Как усердствуют они в постели, Не помышляя о добродетели.

Когда-то Александр Миретт посещал занятия ученых мужей на улице Фуарр, но из этих занятий у него в памяти осталось лишь несколько латинских изречений и большая усталость.

Он с ужасом вспоминал, как приходилось просыпаться, дрожа от холода, на рассвете, когда в Кармском монастыре било пять часов, как ему нужно было сбегать по крутой черной лестнице с фонарем в руке и рогаткой за поясом, огромные засовы, шатающуюся, ступеньку, пустынные улицы, на которых при его приближении шарахались кошки. В конюшне, где проходили уроки, стоял табурет для учителя и лежали охапки соломы для учеников. Их многочисленное и дурно пахнущее стадо освещали восемь свечей. Замерзшие руки едва удерживали гусиные перья. Колени ныли под тяжелой доской для писания с роговой чернильницей. И под мерное бормотание учителя блохи немилостиво кусали за ягодицы. Миретт вскоре отказался от своих интеллектуальных амбиций в угоду более доступным радостям плоти и винного бочонка.

Ленивый, грязный, развратный, он жил на милостыню и промышлял мелкими кражами, ночевал в канавах, питался, чем Бог пошлет, а несколько монеток, заработанных среди щедрой публики выступлениями Валентина, тратил в подозрительных кабаках, где пьют дешевое рвотное вино и лезут под юбки девкам.

В одно прекрасное воскресенье, напившись на деньги, собранные под церковью после мессы, Миретт покинул игорный дом в особенно блаженном и решительном настроении.

Валентин, вскарабкавшись на спину своего хозяина, издавал резкие крики и трепал его по затылку. В карманах было пусто, нутро горело, и Александр решил в тот же вечер раздобыть несколько монет для нового возлияния. Но хорошо одетый буржуа, к которому он подошел на темной улице, не захотел слушать его сетований и продолжал свой путь, не исполнив долг христианского милосердия.

Это так разозлило Миретта, что он вначале потерял контроль над своими речами, а затем и над своими действиями.

– У, подонок! – закричал он. – Чертов безбожник!

И прежде, чем прохожий бросился бежать, опустил ему на голову окованную железом дубинку. Несчастный расставил руки, закрыл глаза, качнул головой и рухнул на землю. Движимый порывом ничего не оставлять незавершенным, Миретт еще раз нанес удар дубинкой в висок, а ногой в пах, после чего присел на корточки возле жертвы и пожалел о содеянном, так как толстяк-буржуа был мертв.

Валентин спрыгнул на землю и, сколько позволяла цепочка, подпрыгивал, корчился, ложился, перекривливая буржуа, и гримасничал, показывая розовые десны.

А Миретт, поразмыслив над последствиями своего преступления, решил извлечь из него выгоду, так как ничего уже нельзя было исправить. Он перерезал шнурки кошелька, висевшего на поясе убитого, пересчитал светлые монетки, вздохнул, перекрестился и поблагодарил небо за то, что никто посторонний не застал его за этим. Но не успел он вознести свою благодарственную молитву, как слух ему резанул женский визг:

– Держите убийцу! Эй, стража!

В конце улицы открылось окно, и темная фигура жестикулировала в освещенном проеме.

Валентин взлетел на плечо хозяина. Александр Миретт выругался и бросился бежать.

Добежав до перекрестка, он остановился, привел в порядок одежду и сел на камень передохнуть. Валентин уселся рядышком и начал уморительно щелкать желуди.

В общем, все закончилось хорошо. Эта визгливая женщина не могла разглядеть Миретта в темноте. Ночная стража не прибежала. В кошельке оказалась богатая добыча. Буржуа особо не защищался. А кабатчик из «Трех яблок» накануне получил вино из Бордо, терпкий вкус которого Миретту не терпелось ощутить в своей глотке. Миретт поцеловал амулеты, которые носил на шее, подаренные его покойной матерью, шлюхой, у которой были почтенные клиенты, но проказа унесла несчастную, когда она уже чуть не выбилась в дворянство. Воспоминание об этой ужасной смерти позволило ему еще больше оценить мирное блаженство настоящей минуты. Он посмотрел на дома с выступающими вторыми этажами, укрепленными потемневшими балконами. В синее весеннее небо вздымались шпили крыш. Деревянные ставни на окнах лавок напоминали поднятые раздвоенные мосты. От слабого ветра скрипела вывеска сапожника на железном штыре. На колокольнях пробили сигнал тушить огни. Миретт поспешил в строящуюся часовенку, где устроил себе убежище среди

обтесанных камней и гипсового мусора.

Глава II, *в которой из-за зловредных козней Дамы Крюш Миретт подвергается всяческим неприятностям* Визгливая женщина все же донесла на Миретта. Ее звали Крюш. Она была повитухой и, кроме прочих , принимала роды у супруги прево Парижа, поэтому к ее заявлению благосклонно прислушались. Стражники арестовали Миретта и Валентина на рассвете в их открытом всем ветрам убежище. Под эскортом их препроводили в Большой Шатле, бросили в сырую каменную темницу и два дня давали только хлеб и гнилую воду. Потом за ними пришли стражники бальи и повели на королевский суд. В огромном зале все лица сливались в какуюто желатинообразную массу. И эта масса дышала и дрожала в своем основании, готовая в любую минуту растечься жидкостью. На помосте, обтянутом тканью, расшитой королевскими лилиями, восседали судейские. Кроме четырех похожих на скорпионов крючковатых и черных секретарей там была вся свора советников по дознанию и адвокатов в траурных одеждах. В центре восседали судьи в красных мантиях, подбитых горностаем. У председателя суда лицо было в бородавках, больших, как мочки ушей, и лезших отовсюду. Рот его, казалось, был зашит изнутри. С двух сторон от арестанта расположились солдаты с пиками.

Дама Крюш изложила свое заявление с многочисленными заверениями, что она-де честная женщина, с цитатами из Библии и крестными знамениями. Председатель приказал подвести к нему Миретта и начал допрашивать его замогильным голосом.

Миретт, обливаясь холодным потом от страха, нагло отрицал свою причастность к преступлению и заплакал, вспомнив о своей бедной матушке. Судьи в нерешительности наклонялись друг к другу и шептались, поглаживая кончиками пальцев подбородки.

– Так вы продолжаете отрицать? – спросил председатель у Миретта.

– Да, монсеньер! – завыл Миретт.

А Валентин завизжал, как недорезанный, цепляясь за бедро хозяина.

– Ввиду недостаточности фактов, – сказал королевский прокурор при церковном суде, облаченный в черную мантию, – я предлагаю прибегнуть к суду Божьему.

– Суд принимает ваше предложение, – сказал председатель суда.

– Суд Божий? А что это такое? – спросил Миретт.

Какой-то маленький судейский с хищным профилем подошел к нему и любезно объяснил.

Все очень просто. Миретта погрузят в котел с кипящим маслом. Если он сварится, значит, его виновность доказана и его труп будет вздернут в общественном месте. Если же он перенесет испытание, его признают невиновным и отпустят, принеся извинения суда. Миретт хотел протестовать, но судьи уже начали вставать, двигая скамьи, стражники звенели алебардами.

Заседание прервали. Ввиду позднего времени суд Божий перенесли на завтра.

Толпа хлынула на вечернюю улицу. Стражники схватили Миретта и препроводили его в ту же темницу, где крысы догрызали оставленный им хлеб.

Сидя на корточках на соломенной подстилке, Миретт вспоминал события дня и уже начинал жалеть о том, что отрицал свою причастность к преступлению. Лучше уж быть повешенным, чем сваренным заживо в котле с кипящим маслом. Хотя в жизни он познал не такие уж изысканные радости, ему все же было жалко уходить из нее так рано. Он вспоминал о долгих попойках в игорных домах, о грязных комнатах, которые он снимал у старой ведьмы на улице Глатиньи в Сите, о шлюхах, которых он ласкал, о прогулках по Клерковому Лугу с весело скачущим на цепочке Валентином. И отчаянье его росло. Он заломил руки и вскричал: 109 Анри Труайя Суд Божий – Каналья буржуа! Ирод проклятый! Зачем только я тебя встретил? Почему ты не защищался?

Валентин уснул, свернувшись калачиком в углу темницы.

– А ты, бедняга Валентин, добрый мой бабуин, единственный мой друг, – продолжал сетовать Миретт, – что будет с тобой? Околеешь от голода под моей виселицей? Или тебя сожгут вместе со мной за то, что ты был мне верным товарищем? Или тебя заберет к себе богатая шлюха, чтобы развлекать своих гостей? Почему я уже не мертв! Почему меня не повесили среди таких же весельчаков с высушенной кожей, сведенными судорогой ногами и вывалившимся языком!

В дверь камеры постучал стражник, приказав ему говорить потише. Тогда Миретт ухватился обеими руками за прутья решетки в оконце камеры и тряс их, пока не содрал кожу с рук. Затем он вернулся на середину камеры, немного повсхлипывал, растянулся на соломе и попробовал уснуть. Но сон не шел. Он с ужасом заметил, как светлеет небо за решеткой, как крысы разбегаются по норам и

утренний ветерок рябит воду в кувшине.

Глава III, *продолжение предыдущей* Когда стражники вошли в его камеру, Миретт был бледен и грыз ногти.

– Берите обезьянку и следуйте за нами, – приказал сержант бальи Дворца Правосудия.

– Это будет не очень долго? – спросил Миретт.

– Это больше зависит от вас, чем от нас, – ответил тот назидательно.

Лучники стали по сторонам обвиняемого. Сержант взмахнул факелом, и они двинулись по душному подземному коридору.

По стенам текла вода. Ступеньки. Лестничная площадка. Снова ступеньки.

Открылась дверь, и стражники втолкнули Миретта в круглую и низкую комнату, освещенную светом пылающих факелов. В этой золотистой полутьме можно было различить мрачные орудия пыток: кобылки, жаровни, воронки, колоды, блоки, секиры, виселицы. Палачи в кожаных передниках и штанах до колен, с оголенными до локтей руками, застыли в ожидании по обе стороны двери, В глубине комнаты, за столом, покрытым алой бархатной скатертью, с зажженными свечами сидели секретарь суда, королевский прокурор, врач, священник и три судьи с неподвижными и круглыми, как у ночных птиц, глазами.

Перед ними лежали свитки пергамента. Над ними из темноты выступал огромный распятый Христос.

– Вы продолжаете запираться? – спросил председатель суда.

Миретт сразу не ответил, так как справа от себя заметил большой медный чан, наполненный маслом, подвешенный над костром. Языки пламени лизали его стенки, и в комнате распространялся запах кипящего масла.

– Я невиновен! – вскричал Александр Миретт.

– Разденьте его, – приказал председатель.

– Правильно, – одобрила Дама Крюш, которую Миретт вначале не заметил: она беззаботно сидела на одной из колод.

Сильные руки сорвали с Миретта одежду, и он стоял гол, как червь, перед судьями, разглядывавшими его с надлежащей им по рангу ненавистью, Сидя подле Миретта, Валентин беззаботно выискивал блох.

– Его тоже подготовить? – осведомился палач.

– Животное после человека, – сказал председатель, – хотя человек этот не лучше животного.

– Вы сожжете Валентина? – вскричал Миретт, не помня себя от возмущения.

– Животное присутствовало при преступлении своего хозяина, – сказал королевский прокурор при церковном суде, – и связывающая вас цепочка определяла в вас сообщников. И этот зверь в подобии обезьяны был дьяволом, связанным с вашей преступной плотью. Сам Вельзевул явился в шкуре и безобразном подобии этого бабуина, с которым вы разгуливали по городу.

Валентин посмотрел на королевского прокурора при церковном суде так, будто понял его слова, и пожал плечами.

А тем временем палач подошел к котлу и начал мешать жидкость деревянной лопаткой.

– Вы готовы, мэтр Шарль? – спросил председатель.

Масло негромко булькало; к потолку поднимался легкий сизый пар и уходил в специальные отдушины в форме звезд. Запах становился все более едким, и обезьянка чихнула. Палач 111 Анри Труайя Суд Божий выпрямился и сказал:

– Я готов.

– Выполняйте свое дело, и да просветит нас воля Божья!

– Вот именно! Вот именно! – завизжала Дама Крюш, – пусть поварится немного в масле.

– Тихо, Дама Крюш! – сказал председатель.

Миретт застонал, так как подручные палача грубо схватили его за руки и за ноги. Священник перекрестился. Секретарь макнул перо в чернильницу. Председатель снял шапочку и заткнул уши пальцами.

– Бросайте, – скомандовал палач.

Подручные в кожаных штанах потащили Миретта к чану, подняли на вытянутых руках и внезапно бросили, отскочив, чтобы уберечься от брызг кипящего масла.

Масло взметнулось к потолку. Судьи одновременно вытянули шеи в сторону пытаемого.

Александр Миретт плюхнулся в кипящее масло. Головой он стукнулся о край котла. Ему показалось, что он теряет сознание, и, собрав все силы, он отважно приготовился к агонии.

Но время шло, и ему было странно, что он ничего не чувствует. Ни малейшего жжения, ни малейшего жара. Тело нежилось, как в ароматической ванне. Сначала он подумал, что масло еще не нагрелось до нужной температуры. Но пар клубился вокруг него все плотнее и плотнее, на поверхности масла лопались пузырьки. Он подтянул ноги и уселся по-турецки на дне чана. Вдруг его оглушил крик. Священник встал и потрясал над головой маленьким серебряным распятием:

– Он невиновен! Он невиновен! Освободите его!

Судей, стоящих за столом, казалось, поразил небесный гром. С отвисшими челюстями, обезумевшими глазами, они быстро крестились. Сконфуженный палач медленно отступал вглубь комнаты. Валентин повизгивал. Дама Крюш неистовствовала:

– Но я же вам говорю, что он преступник! Я же собственными глазами видела, я видела, как он убил беднягу под моими окнами!

Но ее никто не слушал.

Председатель наклонился к королевскому прокурору церковного суда и что-то долго шептал ему на ухо, его бородавки двигались, как какие-то живые насекомые. Наконец он повернулся к врачу и сказал:

– Прошу вас засвидетельствовать чудо или обман.

– Чудо! Чудо! Осанна! – повторял священник.

Один из судейских подошел к котлу, попробовал ладонью голые плечи Миретта, с серьезным видом покачал головой, сунул палец в масло и выдернул его с диким криком.

– Масло жжет, а человек невредим! – и он в доказательство тряс в воздухе обожженным указательным пальцем.

– Секретарь, запишите его слова, – сказал председатель. – А вы, мэтр Шарль, освободите господина Александра Миретта и предоставьте ему необходимую помощь.

В мгновение ока Александра Миретта вытащили из чана, обмыли, вытерли, умастили редкими благовониями и одели в богатую одежду. Палачи дружески похлопывали его по спине. Судьи улыбались ему с высоты своих красных мантий. Ошалев от радости, он не пытался даже понять, что с ним произошло.

– Спасибо, монсеньеры, – бормотал он, – спасибо. . .

Но тут вмешался королевский прокурор церковного суда, явно оскорбленный тем оборотом, который приняло дело:

– Нужно еще разобраться, от Бога это чудо или от нечистого! Нужно со всей беспощадностью разоблачать колдовство. Я требую еще одного подтверждения.

– Согласен, – сказал председатель.

– Я протестую! Я протестую! Здесь был подлог! Масло не кипело! – вопила Дама Крюш.

– Сейчас вы его испытаете на себе, – сказал председатель.

Лицо Дамы Крюш перекосилось от страха.

– Меня в масло? Меня? Но не я же преступница, монсеньер!

– А вот вы сейчас докажете это. Раздеть ее!

– Не прикасайтесь ко мне! Я запрещаю вам ко мне прикасаться! Мне шестьдесят лет! Я принимала роды у всех знатных дам Парижа! Моя дочь замужем за королевским офицером!

Я буду жаловаться королю!

Одежды содрали, и показалось тело, худое и желтое, как кусок глины, с порезанным морщинами животом и сухими, как палки, ногами с грязными подошвами.

– Отпустите меня!.. Отпустите меня!..

Она не закончила. Палачи подняли ее, как перышко, и бросили в чан. Дикий вопль потряс своды. Александр отвернулся.

– Не могу смотреть, – сказал он стоящему подле него стражнику. – Что происходит?

– Она жарится, как карп!

– Ах! – заметил Александр Миретт. – Это ужасно!

Глава IV, *в которой пойдет речь о странной встрече, происшедшей с Александром Миреттом в кабаке «Три яблока», и о ее последствиях* После оглашения постановления суда Миретта отпустили со всяческими напутствиями.

Ему вернули отобранный кошелек. Вернули обезьянку Валентина. Даже выдали небольшую сумму денег, дабы вознаградить за перенесенные страхи.

На следующий же день Александр Миретт отправился в кабак «Три яблока», чтобы радостно отпраздновать Божью милость. На вывеске кабака «Три яблока» как раз хрупкой пирамидкой и были нарисованы три яблока.

На первом этаже был просторный зал с четырехсводчатым потолком, опирающимся на мощные колонны из потемневшего дерева. Длинные столы из грубо обтесанного дерева. На стенах висели кувшины из белого металла, бесформенные окорока и медные котлы. В глубине зала стояли пыльные бочонки с заткнутыми тряпками кранами.

Здесь же среди сильного винного перегара кайфовали посетители. В стельку пьяные спали, уткнув нос в стол. Другие щипали проходящих служанок, играли в карты, пели и дрались развлечения ради.

– Привет честной компании! – поздоровался Миретт, отталкивая мертвецки пьяного верзилу, чтобы очистить себе место за первым столом.

Валентин устроился у него на коленях.

К нему подошла служанка с распаренным, лицом, аппетитными красными губами, распространяя вокруг себя опьяняющий аромат пота самки.

– Вина! – сказал Миретт, дружески шлепнув ее по заду.

– Осталось только сюреснское вино.

– Хорошо, пусть будет сюреснское, хотя оно дерет горло, как известь.

В глубине кабака открылась дверь, в нее можно было разглядеть огромную печь, в которой горел торф. На вертеле жарилась аппетитная дичь. И Миретт почувствовал зверский голод.

Вчерашние переживания помешали ему хорошенько осознать снизошедшую на него милость. Он отупел от радости и надежды. Жизнь никогда еще не казалась ему такой желанной.

Он глотнул вина, и радость, переполнявшая его, хлынула через край:

– Эй, вы! Слушайте! – взревел он. – Я готов танцевать от счастья! Сейчас я должен был бы висеть поджаренный на виселице нашего славного города, а я целый и невредимый пью и пою с вами, как и прежде! Радуйтесь! Радуйтесь! Я спасен!

Пьяница, которого он оттолкнул, освобождая себе место, поднял голову, посмотрел на него добрым, нежным взглядом и изрек:

– Чем больше ты говоришь, тем больше народу у меня в голове.

В эту минуту чья-то рука легла на плечо Миретта. Он вздрогнул, решив, что это снова полиция, и схватил свою окованную железом дубинку, которую держал между ногами. Перед ним стоял

человек лет пятидесяти. На нем было черное свободное платье и докторская шапочка. Длинное бледное лицо его казалось совершенно бескровным. Красный нос печально нависал над губами – ни усов, ни бороды. На пальце перстень с большим синим камнем.

– Вы господин Александр Миретт, которого вчера подвергли суду Божьему и который чудесным образом выдержал испытание? – спросил он.

– Да, это я, – не без гордости, но немного поколебавшись ответил Миретт.

– Чудесно, Миретт! – успокоил его незнакомец. – Я – ваш друг.

– Я вас не знаю.

– Какое это имеет значение! Я знаю вашу историю, я верю в вашу невиновность и хочу подружиться с вами.

– Вы священник?

– Нет. Я очень любопытный и очень ученый человек. Ваша история меня заинтересовала.

Если вы хотите, я дам вам приют и буду хорошо кормить, а вы мне за это будете рассказывать. . .

– Рассказывать?..

– Вы мне будете рассказывать о себе, о своем детстве, о том, когда впервые вы услышали глас Божий.

– Но мне нечего рассказывать! – возразил Миретт – Святая простота! – продолжал незнакомец. И он наболено сложил руки, полузакрыв глаза.

Валентин вскочил на стол и принялся нюхать одежду незнакомца.

– Это ваша обезьянка? – спросил тот. – Она очаровательна. Вам будет хорошо у меня! Я посвящу вас в свои труды. Вы будете моим помощником, моим другом, я буду писать о вас. . .

Миретт почесал в затылке. Предложение заманчиво, да ведь ловушки дьявола усыпаны розами.

– Ведь грустно жить без друга? – продолжал незнакомец.

– Это правда, – ответил Миретт.

– Кошелек ваш скоро опустеет, если вы откажетесь от моей помощи, – продолжал тот.

– Это тоже правда, – согласился Миретт.

– А чего вам бояться меня, если вас бережет Бог?

– И это правда, – кивнул Миретт.

Он немного выпил. Голова у него кружилась от дыма и гама. Лицо незнакомца отдалилось и начало расплываться, как отражение в воде. Глаза его были такими же синими и блестящими, как камень на пальце. Столько доброты и ума, такие спокойствие и расположение светились в этом взгляде, что Миретт почувствовал, как сердце ему переполняет нежность.

– Как вас звать-то? – спросил он у незнакомца.

– Мэтр Марселен Тайяд.

– Мэтр Марселен Тайяд, я в вашем распоряжении, ибо вы мне нравитесь.

Глава V, *в которой подтверждается, что знакомства, завязанные в кабаке, не всегда вульгарны и что Божья милость не покидает того, на кого однажды снизошла* – Жена, – сказал мэтр Марселен Тайяд, – вот человек, о котором я вам говорил.

Миретт посмотрел на изящное создание, стоящее на пороге, которое отличалось от развратниц, с которыми он имел дело, как отличается глинтвейн от кислых опивок. Это была томная, гибкая особа, со стройным станом и нежной грудью. Ее волосы, в которых поблескивали золотые искорки, сплетенные в косы, ниспадали на плечи. Ее красные губки блестели, как вишни, политые сиропом. А глаза ее медового цвета прятались за длинными застенчивыми ресницами.

Супруга мэтра Тайяда, которую звали Дама Бланш, была одета в богатое платье из синего сукна, подбитого горностаем, с квадратным вырезом на груди. На сплетенном из серебряных нитей поясе висела связка ключей и кошелек из фиолетового шелка. Рубиновые и топазовые перстни играли

всеми цветами радуги на ее нежных пальчиках.

– Добро пожаловать в наш дом, сударь.

Будто пораженный молнией, Миретт не знал, что ответить.

– Он умирает от голода, – сказал мэтр Тайяд. – Ужин готов?

– Да, сир, – тихо ответила она, приседая в реверансе.

И она отступила, пропуская мужчин в столовую. Столовая была просторна, с полом, устланным ржаной соломой, большим дубовым столом и скамьями, покрытыми яркими тканями. В углу стоял буфет со множеством полок, уставленный оловянной посудой с копченными свиными языками, кубками, кувшинами и бонбоньерками. Потолок поддерживали толстые, покрашенные в коричневый цвет, балки. На стене висели розетки из желтого металла. Вся эта роскошь до того ослепила Миретта, что он не осмеливался говорить во время ужина. А мэтр Тайяд хлопотал около него с дружеским участием;

– Как вам нравится это вино? Моя жена купила его сегодня утром в Бургундском порту. . . Попробуйте этот бок, фаршированный мягким сыром и свежими яйцами. . . Вашу обезьянку по-королевски накормят в кухне. Все чудесно. Поговорим позже. . . вы должны мне столько рассказать!

Когда на десерт подали пресное печенье, вафли и запеканки, отяжелевший от алкоголя, ощущая во рту жжение от пряностей, с животом, раздувшимся от мучных изделий, Миретт испытывал близкое к отупению блаженство.

На длинном крюке с потолка свисала масляная лампа, от света которой лица казались восковыми. Из кухни доносилось тихое позвякивание блюд и кубков. Пахло мускусом и имбирем.

– Гость мой, – сказал мэтр Тайяд, – я дождался конца трапезы, дабы повести с вами разговор о моих проектах, так как полагаю, что насытившееся тело высвобождает разум для возвышенных размышлений.

Дама Бланш сделала вид, что собирается встать.

– Останьтесь, друг мой, – остановил ее мэтр Тайяд. – Вы можете меня послушать. Сегодня у нас праздник. За нашим столом сидит человек, которого милость Божья избавила от злобы стихий. Наука нас учит, что любое живое существо, попавшее в кипящее масло, сварится насмерть. И вот, чудесным образом законы природы отступили по повелению Господа.

– Неужели вы действительно ничего не ощутили? – по-детски наивно спросила Дама Бланш.

– Ничего, – ответил Миретт. – Ни жжения, ни удушья от жара, даже в глазах не щипало. . .

– А как были одеты судьи? Правда ли, что господин королевский прокурор церковного суда похож на старого филина и носит на пальцах перстни с такими огромными камнями, в которые можно смотреться, как в зеркало?

– Дама Бланш! – с мягкой укоризной одернул ее мэтр Тайяд.

– А палач? Как он выглядит?

– Об этом говорить не стоит, – оборвал ее мэтр Тайяд, начиная терять терпение. – С тех пор, как я занимаюсь проблемами предначертания человеческой судьбы, я никогда бы не подумал, что мне будет дано принимать под моим кровом человека, невиновность которого публично восторжествовала при жесточайшем испытании.

Александр Миретт веселился от души, потому что он много выпил и Дама Бланш была чертовски мила.

– Но я действительно виноват! – признался он, заливаясь хохотом.

– Вы виноваты? Ах, любопытная, любопытная душа человека, на которого снизошла милость Божья! Божье милосердие переполняет ее таким светом, что она считает себя недостойной его. Будучи человеком и существом, унаследовавшим первородный грех от своего предка Адама, он не находит в себе высшую чистоту, полную, ангельскую чистоту, которая одна только могла сделать его достойным особого внимания Божьего.

– Вы действительно в это верите? – изумился Александр Миретт.

– Верю ли я? Вы судите свою невиновность с точки зрения человека смертного. Высший же Судия судит ее в своей бесконечной милости. В Его глазах вы избранник. Он уготовил вам более высокие

добродетели, о которых вы и сами не догадываетесь. Его сердце за ваше сердце. Понимаете меня, Бланш? Перед вами человек, на которого свет Божий пролился, когда он чуть не впал в опалу.

Миретт, засмущавшись, скромно опустил голову.

– Вы преувеличиваете, мэтр Тайяд, – возразил он из вежливости.

– Нет! – изрек мэтр Тайяд, и его наивные глаза вспыхнули решимостью. – Нет, я не преувеличиваю. Я пригласил вас с обезьянкой под свой кров только потому, что знаю цену вашей тайны. Я буду изучать ваше чудесное избавление. Рядом со мной будет исключительный человек, отмеченный благодатью Божьей, хотя и сам об этом не подозревает. Каждый из нас объединяет в себе небо и землю. *Coeli cum terra homo unio est*. По мере своих опытов я пришел к убеждению, что именно соединение этих двух элементов позволяет создать человека. Я мог бы создать человека, если бы сумел определить пропорции этой смеси!..

– А нет ли более простого способа, друг мой? – робко осведомилась Дама Бланш.

– Ах! – вскричал мэтр Тайяд. – Взять немного неба, заключить его в тайный сосуд с хорошей землицей, произнести заклинание и получаешь человека!.. Пойдемте в мой кабинет.

Я вам расскажу о своих изысканиях. Вы ближе к Богу. Я ближе к людям. Наша дружба принесет изумительные плоды. Мэтр Миретт! Мэтр Миретт! Я счастлив!

Он встал из-за стола, бледный, как труп.

Миретт тоже встал. Он никогда не мог бы подумать, что такой уравновешенный и ученый человек, как мэтр Тайяд, склонен к таким порывам. Став невольной причиной такой экзальтации, Миретт упрекал себя в том, что не разделяет этот восторг.

«Он счастлив из-за меня! Он восхищается мной! Ах! Честный человек! – думал он. – Но, может, я действительно заслуживаю восхищения? Одно ясно: Всевышний протянул мне 117 Анри Труайя Суд Божий свою десницу, чтобы вытащить меня из нищеты, где я прозябал, как свинья. Он спас меня от заслуженной смерти и дал мне уважение человека, которого я недостоин. Он загадочным образом распространил на меня свою благодать. Я в лоне Божьем!»

Сделав такие умозаключения, Миретт распрямился и хлопнул себя по бедрам.

– Я также счастлив, мэтр Тайяд, – ответил он с внезапной решимостью. – Я думаю, что мы сделаем доброе дело. Вы необыкновенный человек, и я думаю, что я тоже отмечен судьбой.

Правда, я неучен. . .

– Вам ведома наука сердца, – закончил за него Тайяд.

– Воистину. Итак, по рукам. И я выпью еще немного вашего вина за радость знакомства с вами.

Дама Бланш захлопала в ладоши.

Служанка принесла бутылки с вином. Миретт по привычке подмигнул ей и опорожнил кубок. После чего жизнь ему показалась еще более легкой. Он потребовал Валентина, уснувшего в кухне, и стал настаивать, чтобы обезьянка показала свои трюки компании: Изобрази нам, Валентин, Наших игривых Жеральдин. . .

Бланш звонко хохотала. А мэтр Тайяд задумчиво поглаживал подбородок.

– Такой молодой, такой веселый и посланник Всевышнего! – бормотал он.

Когда обезьянка исчерпала все свои трюки, спохватились, что время идти почивать, и Дама Бланш проводила Александра Миретта и Валентина в их комнату.

Целую ночь Александру Миретту снилось, что Дама Бланш в кожаном переднике и кожаных штанах по колено купает его в чане с кипящим маслом.

Глава VI, *Александр Миретт входит во вкус своей новой жизни к великой радости мэтра Тайяда и к великому горю Дамы Бланш* Назавтра, в семь часов утра, мэтр Тайяд позвал Александра Миретта в свой кабинет, чтобы начать научное и мистическое образование молодого человека. Кабинет представлял собой темную келью, захламленную перегонными кубами, ретортами, колбами. В центре лаборатории стоял длинный стол, заваленный рукописями с шелковыми зелеными и красными закладками, толстыми томами в кожаных переплетах с обтрепанными обрезами, кружки с землей, хрустальные стаканы с какой-то голубой жидкостью, похожей на лужицы голубого неба.

– Вот моя лаборатория, ваша, наша лаборатория, – сказал мэтр Тайяд. – Вот книги, в которых я почерпнул все, что знаю. А это сосуды, которые я использую для опытов. Вот земля, в этой металлической тарелке, и здесь, в этом стакане, жидкость, которую я называю небесной субстанцией. Я только начал свои изыскания, но вы мне поможете. Кстати, я должен вас ободрить. Не в ученых трактатах Амори, Бена, Давида Динонского или древнееврейских мудрецов почерпнул я мои знания. Только Библия должна помогать мне в моих изысканиях.

Все, что человек открывает, основываясь на Библии, – свято. Все, что человек изобретает, основываясь на еретической пачкотне, – от лукавого.

– Хорошо, – согласился Миретт. – И что же говорится в Библии?

– Библия меня одобряет, – гордо заявил мэтр Тайяд. – В книге «Сотворение мира» читаем:

«Бог создал человека из праха земного. . . Он вдохнул в него жизнь». То есть человек – это земля, оживленная Божественным дыханием. Земля и небо! А что написано в «Апокалипсисе»? «Я первый, и последний, и живой», – говорит видение. И у этого видения волосы на голове белые, как руно, как снег, как облака. А ноги его подобны расплавленной в печи бронзе – так говорит нам святое писание. Итак, ноги его в земляной печи, а голова в небесных облаках. И человек этот, *живой*, – *первый*, то есть небо, и *последний* – то есть земля. Небо и земля!

– Я никогда об этом не думал, – сказал Миретт, искренне удивленный такой хитрой диалектикой.

Она вернула его к воспоминаниям об уроках теологии, и он далее начал жалеть, что пренебрег учеными разговорами на улице Фуарр ради девок и плохого вина.

– Имеющий уши да услышит то, что Святой Дух глаголет Церквям! – провозгласил мэтр Тайяд. – Победившему я дам вкусить от древа жизни, что растет в Божьем Раю.

– Древо жизни! – вскричал Миретт. – Корни дерева в земле, а крона в небе. Земля и небо!..

– *Optime!* Кто достоин открыть эту книгу и сломать печать? – вопрошает Святой Иоанн.

– Я! Я! Мы!

Они поцеловались и уселись рядышком за столом, чтобы вместе просмотреть последние труды по алхимии и прикладной теологии.

В конце этого, преисполненного ученых трудов, дня у Александра Миретта болела голова, ломило в коленях, а язык был сухой, как лист крапивы. Библейские тексты, алхимические формулы, латинские и греческие цитаты плавали между перегородками его черепа, как сухие стебельки на поверхности пруда. Он был горд тем, что мэтр Тайяд приобщил его ко всем своим 119 Анри Труайя Суд Божий изысканиям, но и немного обеспокоен мыслью, что теперь каждый день придется заниматься в этой келье, забитой книгами и колбами, где бас мэтра Тайяда пробуждал загробное эхо. Но гордость все же победила беспокойство.

Мэтр Тайяд говорил о нем:

– Когда он постигнет все, что знаю я, он будет ученее меня!

– Я не могу в это поверить, – говорила очарованная Дама Бланш.

А пока, постигая науки мэтра Тайяда, Александр Миретт обзаводился брюшком, изысканными манерами и непоколебимой уверенностью в своих моральных достоинствах. Слова хозяина и чтение теологических сочинений не оставляли сомнений в его избранности свыше.

Избранник Божий, хранимый Богом, он был исключительным человеком, и поведение его должно было соответствовать таковому его положению. Он постарался избавиться от грубых слов. Запретил Валентину проделывать вульгарные телодвижения, которым его когда-то обучил. Мерзкую песенку «Изобрази нам, Валентин, наших игривых Жеральдин. . . » он заменил на более приличную: Изобрази нам, Валентин, Как славный ризничий Звонит в колокола, Сзывая к утренней молитве прихожан. . .

Однако, несмотря на правку текста, Валентин упорно отказывался изменить телодвижения и гримасы, которыми он обычно сопровождал неприличные куплеты хозяина.

И, раздосадованный этой постыдной пародией, Миретт вынужден был отказаться от демонстрации таланта своего компаньона. Дама Бланш очень об этом сожалела и иногда вздыхала:

– А не попросить ли Валентина немного позабавить нас его ужимками и гримасами?

– Нет, – упорно отвечал Миретт. – Когда занимаешься великими делами, нехорошо отвлекаться по

пустякам.

Он тоже часто в экстазе смотрел на небо из окна столовой и замечал:

– Небо слишком велико для людей!

И он действительно в это верил.

– Посмотрите, голубушка, как наш гость общается прямо с Богом, – шептал Тайяд. – Что вы чувствуете, мэтр Миретт?

– Большую пустоту, мэтр Тайяд.

– А что вы почувствовали, когда Господь спас вас от палача?

– Ту же пустоту.

– Ах! Мой друг! Как обогащают меня ваши слова!

Часто Миретт испытывал беспричинную печаль, тайную меланхолию, мистические позывы, головокружительные вспышки и тяжесть в желудке. Он жаловался глухим голосом:

– Тайна! Тайна! Все покрыто тайной в нас и вне нас!

Он перестал брить бороду. Он не стриг ногти. Мэтра Тайяда он попросил купить ему серое студенческое платье, шапочку с длинными ушами и короткие башмаки – одежда эта как нельзя лучше подходила к его мрачным мыслям. По воскресеньям он провожал Даму Бланш и мэтра Тайяда к мессе. Жители квартала знали его историю от слуг и сторонились его с боязливым уважением. Однажды он услышал, как какая-то мамаша сказала дочери:

– Смотри, смотри, вот мсье, которому Господь дал такую толстую кожу, что палачи не смогли его сжечь!

А другая стращала своего сына-дурачка: 120 Анри Труайя Суд Божий – Подожди, бездельник, если ты и дальше будешь цепляться за мои юбки, я тебя отдам мэтру Миретту, и он тебя изжарит в масле, как бедную Даму Крюш, которая возвела на него напраслину!

В церкви Миретт молился с сосредоточенным видом. Он вздыхал, прикрывал глаза, подпирал нос двумя пальцами и шамкал губами.

Во время службы он чувствовал, что соседи следят за его жестами, и от этого он получал истинное удовольствие. Иногда Дама Бланш толкала его локтем:

– Вон та молодая дама в шелках и драгоценностях не сводит с вас глаз.

– Пускай! – отвечал Миретт, – Королевский придворный говорит о вас за моей спиной.

– Не доставляйте ему удовольствия тем, что мы говорим о нем.

Такие ответы отнюдь не удовлетворяли Даму Бланш, которая начала находить, что Миретт не так забавен, как в первые дни, когда муж привел его в их дом. В этом нелестном преображении она винила мужа. Конечно, мэтр Тайяд был человеком весьма ученым и безукоризненно честным, но он источал скуку, как общественный фонтан воду. Он приобщил Миретта к своему делу. Он убил в своем ученике весь его пыл, весь его задор и дерзость.

Она утешала себя в этом горьком разочаровании, закармливая обезьянку дорогими лакомствами. По крайней мере, хоть она не изменилась!

В один прекрасный день, когда она играла с Валентином, мэтр Тайяд зашел к ней предупредить, что ему придется уехать на несколько дней. Ему сообщили, что у одного книготорговца из Блуа имеется рукопись, необходимая для его исследований. Ему срочно нужно ехать, и Миретт предложил его сопровождать.

– Так я останусь одна! – вздохнула Дама Бланш.

– Нет, – ответил Тайяд. – Несмотря на благородное предложение нашего друга, я попросил его оставаться здесь и продолжать наши изыскания. Мы с ним братья. Мы заменяем друг друга. И, возможно, когда я вернусь, наша работа будет завершена.

Глава VII, *из которой читатель, более везучий, чем мэтр Тайяд, узнает в подробностях о том, чем занимались Александр Миретт и Дама Бланш в отсутствие почтенного ученого* После отъезда мэтра Тайяда Александр Миретт спустился в лабораторию и принялся за чтение старого

фолианта о гомункулусах. Первые часы работы ему показались веселыми и насыщенными. По утверждению автора сочинения, гомункулуса можно было произвести из семени некоторых цветов, высеянного в семь различных грунтов. На первый взгляд это казалось правдоподобным. Александр Миретт на какое-то время предался мечтам о создании этого искусственного человека. Но размышления его утомили. Через открытое окно он выглянул в садик с чахлой зеленью. На противоположной стене трепетали листки дикого винограда. Луч солнца золотил лужицы навоза в колеях. Пронзительно пели птицы.

Над лабораторией по кухне ходила Дама Бланш. Должно быть, лицо ее раскраснелось от огня. Очаровательная Дама Бланш! Жаль, что Александр Миретт не познакомился с ней до своего приобщения к тайнам мэтра Тайяда! Как бы он за ней приударил, когда был свободен и не так благочестив! Какой бы счастливой он бы сумел сделать эту женщину, которой были ведомы лишь взвешенные объятия ее мужа! Но он немедленно взял себя в руки.

«Глупые мыслишки, Александр! – сказал он себе. – Твое возвышение не дает тебе права даже мысленно ласкать такие преступно нежные создания. Ты высшее существо, а высшие существа славятся прежде всего воздержанием. Итак, вернемся к гомункулусам».

И он снова ссутулился над рукописями, заглавные буквы в которых были похожи на куски червей. Но напрасно он пытался уловить мысли автора, внимание его рассеивалось и уносилось в небезопасные мечты. Вскоре он должен был себе признаться, что в отсутствие мэтра Тайяда работать ему было скучно. Он выпрямился, вздохнул полной грудью и стукнул кулаком по столу. Вдруг ему безумно захотелось побродить по улицам.

– В конце концов, дураком я буду, если буду протирать ягодицы этим твердым стулом и губить глаза, разбирая каракули в этом фолианте, когда мэтра Тайяда здесь нет!

Словно школьник на каникулах, он отодвинул книги, расстегнул воротник, закатал рукава и вышел из лаборатории, напевая песенку.

В жарко натопленной кухне пахло супом и гвоздикой. В огромной печи на крюке висел котелок, в котором кипела похлебка. Со всех сторон на закопченных треногах его окружали чугунки. Возле печи суетился кухаренок.

Возле шкафчика с пряностями стояла Дама Бланш, проверяла свои запасы и бормотала:

– Кулек миндаля, на дне имбиря, ливр корицы, два ливра кардамона, немного молотого перца, гвоздика, шафран, четыре головы сахара. . .

– Ах! Дама Бланш! – сказал Миретт, подходя к ней, – вы просто очаровательны, когда занимаетесь вашими кухонными сокровищами!

– У каждого своя алхимия, – отвечала она, меланхолично улыбаясь.

– Мне больше нравится ваша, чем наша, – засмеялся Миретт.

Она весело на него взглянула:

– Будьте добры, не насмехайтесь надо мной и извольте вернуться к своим толстым книгам, напичканным шашелем! Другой еды вам не нужно.

Миретт покачал головой, будто отгоняя назойливых мух.

– Ах! Дама Бланш, – сказал он, – я устал от этих занятий. Возможно, Бога я должен познать не через науку, а через неведение!

– Верю, – поспешила согласиться она. – Да, вам нужно проветриться. Почему бы вам не пойти завтра со мной на рынок?

Обрадованный Александр Миретт все же притворился нерешительным:

– Но мои работы. . . Мне кажется, что я вот-вот найду решение занимающего нас вопроса. . .

– Тем более!

– Мы к этому вернемся за ужином, хорошо?

Они к этому не вернулись за ужином, но обменялись массой легких и пустых фраз. Александр Миретт блаженствовал, как замерзший человек у горящего полена. Утка с гренками, вымоченными в вине и посыпанными мускатным орехом, солью, сахаром и корицей, доставили усладу его желудку. А взгляд его наслаждался этой молодушкой, с лицом нежным, как сметана. Он забыл о гомункулусах, семи сортах земли и небесной субстанции. Он пил, ел и развлекал хозяйку. Он

рассказывал ей о своих школьных проказах, о фарсе, который он разыгрывал со священниками, выдавая Валентина за собственного сына и прося его окрестить, о других веселых или скандальных затеях, над которыми Дама Бланш так хохотала, что хваталась руками за вырез горжетки.

– Иногда мне кажется, что вы действительно посланец Божий, а иногда, что вы такой же человек, как и другие!

– И каким я вам нравлюсь больше, Дама Бланш?

– Когда вы такой же, как и другие, – молвила Дама Бланш, опуская глаза.

– Клянусь рогами быка и кишками лягушки, я таким и останусь! – вскричал Миретт, которому кровь ударила в голову. – Пусть принесут Валентина!

И когда служанка принесла обезьянку, он запел старые куплеты, от которых когда-то отказался: Изобрази нам, Валентин, Наших игривых Жеральдин. . .

Когда Валентин закончил танцевать, Александр Миретт подошел к Даме Бланш и взял ее за руки.

Ему показалось, что в его ладонях забились две теплые птички.

– Дама Бланш, – сказал он, – завтра я буду с вами столько, сколько вы захотите.

Глава VIII, *в которой события разворачиваются в направлении, о котором наш читатель, возможно, уже догадался* Улицы были захламлены поломанными телегами, старыми бочками и грудами мокрого навоза. Кумушки, сидя на люках своих подвалов, сплетничали между собой и приветствовали прохожих улыбкой, продолжительность которой зависела от занимаемого данным прохожим места в обществе.

Дама Бланш шла рядом с Александром Миреттом и критические разглядывала раскладки. Они остановились у пекаря купить большой двойной хлеб за два денье, затем зашли в большую мясную лавку, недалеко от Шатле, прилавки которой ломились под кусками свинины, говядины и баранины. Продавец птицы продал Даме Бланш несколько уток с блестящим оперением, а у аптекаря они купили зерна аниса и укропа, кашицу из слив, освежающую адрагантовую камедь и чемерицу, улучшающую пищеварение. Торговцы на все лады хвалили свой товар. Кумушки толпились вокруг подмостков, как муравьи на голове дохлого кролика.

Пахло дичью, вином, потом и пряностями. Александр Миретт наслаждался этими запахами, вдыхая их полной грудью. И какая-то дикая радость вздымалась в нем при виде всех этих хлопочущих и болтающих самок. В нем росло желание насиловать и грабить, потребность снова стать самим собой, вновь облачиться в одежды своих старых пороков. Какая-то цветочница попискивала кислым голосом: «У меня свежий ситник! У меня свежий ситник!» Через драное платье виднелись молочно-белые округлые груди. Губки ее алели от молодости и здоровья.

Александр Миретт облизнулся. Продавец пирожных поставил на землю корзинку, прикрытую белым полотенцем. Очень легко было стащить несколько из них. Но зачем? Ведь сегодня вечером он и так их получит за улейном! Из пирога на раскладке кондитера текло варенье.

Торговец как раз стоял к Миретту спиной. Но сейчас это было ни к чему. Ведь Дама Бланш купит ему любой пирог, если он попросит. Кто-то за его спиной прошептал:

– Это Миретт, отмеченный чудом.

Александр обиделся за этот эпитет. Если бы эти дураки знали, какие противоречивые мысли обуревают его! Руки у него так и чесались стащить какую-то птицу, язык горел желанием крикнуть какую-нибудь крутую гадость в лицо этим матронам. Он вздрогнул, когда Дама Бланш с ним заговорила:

– Вам нравится этот пирог, мэтр Миретт?

Он посмотрел на ее спокойное лицо, и решимость его поколебалась, какое-то нежное томление разлилось по жилам. Он не осмеливался причинить хотя бы малейшую неприятность такому обворожительному созданию. Он вздохнул и ответил, что пирог выглядит весьма аппетитно.

Но на обратной дороге он сам на себя начал сердиться за свою ложь. Он винил всех: Бога, судей, мэтра Тайяда и особенно Даму Бланш. Когда они вернулись домой, он покинул Даму Бланш и спустился в лабораторию. Дама Бланш поднялась в свою комнату.

Расположившись среди пожелтевших бумаг, Миретт еще раз постарался сосредоточиться на гомункулусах, но мысль о Даме Бланш не покидала его. В голове кружился рой очаровательных образов. Золотистые глаза Дамы Бланш, ее атласные розовые губки, нежная шейка, аппетитная

ямочка на груди, мускусный запах, источаемый ею, пленительное шуршание платья. . . Он резко поднялся, взбежал по деревянной лестнице и, запыхавшись, преисполненный тревогой, злой, он влетел в комнату Дамы Бланш.

Молодая женщина, сидевшая у окна, мило склонившись над гобеленом, вскрикнула от страха и схватился рукой за сердце.

– Как вы меня напугали, мэтр Миретт!

Он сделал шаг вперед.

– Какой у вас странный вид! – продолжала она. – Вы так бледны, у вас такие расширенные глаза, такой ужасный взгляд! Не заболели ли вы? Или вам было Божественное видение? Вы услышали глас Божий?

Миретту было больно от того, что она так очаровательно глупа. Она сидела в этой комнате, как трепещущая попавшаяся птичка, и все в ней, от ее чистого девичьего лица до тонких башмаков, так и подбивало на грубость, дерзость, насилие. Она была рождена только для этой минуты. Охрипшим голосом он сказал:

– Дама Бланш, я безумно вас люблю!

– Что вы, сеньор? Но мой муж. . . но. . .

– Вашего мужа нет. Есть я. Есть только я!

Он схватил ее за плечи. Она смотрела на него снизу вверх огромными бархатистыми глазами, губы ее были приоткрыты, как цветок. Она дышала Миретту в лицо. Он сжал это беззащитное тело, будто желая привязать ее к себе.

– Оставьте меня, – простонала она.

Он посмеивался:

– Но ведь я посланник Божий?

– Да! Да! – лепетала она в каком-то пугливом экстазе.

И когда он поцеловал ее в губы, она предпочла потерять сознание.

Не смутившись, Миретт отнес молодую женщину на большую кровать, ждавшую их в глубине комнаты.

Одеваясь, он услышал тяжелые шаги на лестнице, и дверь рывком распахнулась. Но никто не вошел. За дверным проемом была только враждебная пустота, мертвая злая тишина. От сквозняка шевелились занавески на открытом окне. Миретт, обливаясь потом, перекрестился и вышел из комнаты, даже не взглянув на Даму Бланш, которая, кстати, уже пришла в себя.

Александр Миретт откинулся в кресле, положил ноги на ворох бумаг на столе и принялся раздраженно ковырять в ухе мизинцем. Неистовое удовольствие, которое он только что испытал в компании Дамы Бланш, оставило в душе скорее досаду, чем радость. У него было странное ощущение, будто он не добился от Дамы Бланш того, чего хотел, хотя она уступила всем его желаниям.

Чего же ему еще надо? На что ему еще жаловаться? Он закрыл глаза и уснул, недовольный и собой, и Богом.

Глава IX, *в которой мэтр Тайяд узнает о двойном предательстве* Приступы добродетели бывают иногда опаснее, чем мимолетное падение. Когда мэтр Тайяд вернулся из своей поездки домой, Дама Бланш, проведшая ночь в молитвах, призналась ему, что изменила. Мэтр Тайяд выслушал это признание со спокойным видом.

– Дама Бланш, вы еще ребенок, – сказал он ей.

И пошел искать Александра Миретта, которого нашел в лаборатории, где тот укрылся, чтобы отдохнуть после обеда.

Молодой человек, внезапно разбуженный скрипом открывающейся двери, вскочил, посмотрел на ученого и понял, что тому все известно.

– Я знаю все, – сказал мэтр Тайяд.

– Хорошо, – ответил Миретт. – В таком случае я только заберу обезьянку и покину ваш дом с благодарностью за ваше более чем радушное гостеприимство.

Мэтр Тайяд покачал головой и улыбнулся улыбкой счастливого мученика.

– Нет, мэтр Миретт, – возразил он, – вы не уйдете!

– Но я же вас обманул!

– Я обманул себя сам.

Этот загадочный ответ удивил Александра Миретта.

– Как так? – спросил он.

Мэтр Тайяд опустился на табуретку с величием орла, возвращающегося в свое гнездо на высокой скале, скрестил руки на груди, нахмурил брови и начал глухим голосом:

– Мэтр Миретт, я совершил непростительную ошибку, неправильно истолковав ваш случай. Та мерзость, которую я только что узнал, открыла мне вдруг истинный цвет вашей души.

Он не белый, а черный.

– Что вы хотите этим сказать?

– Я начинаю верить, что вы действительно убили этого несчастного буржуа, чтобы украсть его кошелек и что вы действительно заслужили кипящее масло за это преступление.

– Ну а суд Божий? – вскричал Миретт.

– А Бог вас не судил.

– Но ведь кипящее масло. . .

– Да, оно не тронуло вашего тела, но по Божьей ли воле?

Лицо мэтра Тайяда было бледным, как облатка. Он возвел к небу костлявый палец и вдруг изрек:

– Господи, я наконец понимаю! Ты не наказал Александра Миретта за преступление, потому что Ты не стал его наказывать. Ты наделил его не своей милостью, а своим забвением.

Он не был Твоим избранником, Ты просто им пренебрег. Ты не оправдал его, Ты о нем позабыл.

Он не в Тебе, он вне Тебя!

– Что? Что?

– Вспомните ваши уроки латыни, Александр Миретт. Как по латыни будет «не замечаю»?

– *Ignoro*.

– А «я прощаю»?

– *Ignosco*.

– Какая удивительная схожесть слов. Вы считали, что вас простили, а вас проигнорировали! Вы просто не существуете для Бога. Вы даже не имеете возможности ослушаться Его.

Пораженный этой новой интерпретацией чуда, которое произошло с ним, Александр Миретт стоял ошеломленный, потерянный, как ребенок, которого поймали на горячем.

– Так что же делать?

– Доверьтесь мне, – сказал мэтр Тайяд, – вы меня предали, но я вас спасу. Я исследую вашу душу, окружу ее спасительным чтением, буду охранять ее от преступных соблазнов, я ее очищу, как ту небесную воду, которая сверкает в колбах на моем столе, и в один прекрасный день вы станете достойным того чуда, которое вы должны были заслужить раньше!

Произнеся эти слова, он встал и вышел из комнаты походкой архангела.

Оставшись один, Александр Миретт задумался над словами своего благодетеля, и пока он думал, его охватывал ужас. Наконец ему стал понятен истинный смысл всего, что с ним случилось. Истина, как громом, его поразила: «Для Бога вы будто и не существуете вовсе».

Эх! Да, в этом огромном муравейнике, который Господь озирает взглядом своим, он заблудился, маленький несчастный муравей. Его собратья жили своими обязанностями, радостями, ежедневными заботами, а он откололся от их общества. Между ними и им была та же пропасть, которая отделяет хаос от земли. Он бродил по берегу, на котором Бог его больше не замечал. И он звал на помощь из глубины своего одиночества. Но для того, чтобы снова стать человеком, ему нужно было снова приобрести привычки людей, их обязанности, их слабости.

Чтобы снова стать человеком, нужно было, чтобы Бог относился к нему, как к человеку, чтобы он его наказал соразмерно с его преступлением. Теперь как освобождения он жаждал наказания, которого так боялся прежде.

Наверху он услышал звук пощечин и всхлипывания кухаренка. «Он провинился, и его наказали. Он плачет. Но через пять минут он забудет о горе. А почему? Потому что он уплатил по счету! А я. . . я. . . вот что было мне надо! Пощечину от Бога! Дама Бланш! Значит, я вас не люблю! Значит, я овладел вашим телом не для того, чтобы утолить мою страсть, а в надежде понести наказание! Не вас я искал, а небесного гнева. И если покинул я вас усталый и взбешенный, то потому лишь, что всем своим существом я почувствовал, что и эту мою мерзость Бог проигнорировал, как и другие!»

Миретт воздел руки к небу и возопил:

– Господи! Господи! Обрати на меня гневное око Твое! Возвести небесным благовонием о близости Твоей! Я взываю к Тебе! Я грожу Тебе кулаками! Что я должен сделать, чтобы на этом клочке земли Ты заметил черную мошку, требующую Твоего внимания, чтобы Ты дал ей удовлетворение, сбив ее щелчком. Я жду! Жду! Спустись ко мне! Ударь меня! Если Ты меня ударишь, значит, Ты снова заметил меня, если Ты сметешь меня вихрем своего гнева, значит, Ты будешь считать меня достойным Твоего наказания!

Произнеся последние слова, мэтр Миретт вернулся в кресло и зарыдал, обхватив голову руками. Постепенно его сморил сон, и вот что ему приснилось.

Он находился на улице с богатыми лавками. Какой-то купец показывал четырем восторженным матронам золотистые ткани. Ткани эти струились, как расплавленный металл, горячий, сверкающий, брызжущий искрами, так что глазам смотреть больно. Завороженный этим зрелищем, Миретт подошел к купцу и пальцем коснулся края ткани. И вот в том месте, где он ее коснулся, образовалось пятно, оно начало расползаться по ткани, как проказа.

– Держите вора! – закричал купец.

На его крик из всех домов высыпали на улицу женщины, полураздетые и с камнями в руках.

– Бейте! – закричал купец.

И на Миретта посыпался град камней. Но попадавшие в него камни оставляли на его теле глубокие, сладостные раны, будто разрывали мучившую его черную опухоль. И с каждой дырой в его тело вливался свет, свежесть, небесная музыка. Тело его становилось все легче и легче. И он летел сквозь пелену облаков и плакал от радости и благодарности.

– Мэтр Миретт! Мэтр Миретт! Время обедать.

Он проснулся. Перед ним стоял мэтр Тайяд, он так спокойно улыбался, что Миретт засомневался, не приснилось ли ему его приключение с Дамой Бланш.

– Почему вы улыбаетесь? – спросил Миретт.

– Потому что все прожито, прошло, все забыто. Потому что мы снова друзья. . .

Глаза Миретта увлажнились. Сердце быстро и громко билось в груди. Когда ученый раскрыл руки для объятия, молодой человек подошел к нему и с благоговением поцеловал в плечо.

Глава X, *в которой Александр Миретт, влекомый губительной логикой, доводит до края свою неблагодарность, надеясь заслужить гнев Божий* Дама Бланш горько плакала, признаваясь в своем грехе. Когда муж спустился в лабораторию объясниться с Миреттом, она боялась, как бы они не подрались. Сложив руки в молитве и быстро-быстро шепча, она молила Бога вразумить их и ограничить их размолвку несколькими латинскими проклятьями.

– Ну что? – спросила она, когда муж вернулся к ней.

Тайяд ущипнул ее за щечку и сказал:

– Спасибо, что вы чистосердечно обо всем мне рассказали, и я прощаю вам то, что вы уступили этому соблазну – плоду вашей необузданной молодости.

– Когда он уйдет?

– Никогда. Он останется с нами, и вы будете обходиться с ним, будто ничего не случилось. . .

Молодая женщина зарделась от стыда и радости. Она пробормотала:

– Правда, я была в полуобмороке. . .

– Ну так тем легче вам будет забыть ваш безрассудный поступок.

– Но все же. . . видеть его. . . говорить с ним. . .

– Таковым будет ваше покаяние, – прервал ее мэтр Тайяд.

И он поцеловал ее в лоб поцелуем твердым и холодным, как монета.

С этой минуты Дама Бланш обрела былую улыбку и нежный голос. Она все еще думала о бешеном удовольствии, которое она познала в объятиях Миретта; она тосковала по его крепким поцелуям, по его умелым ласкам; но мысль о том, что она прощена, а, значит, женщина честная, помогала ей бороться с этим неясным влечением. Не имея возможности любить Александра Миретта, как признательная любовница, она решила любить его самозабвенной любовью сестры. Она готовила ему любимые блюда, тайком купила дорогой кошелек тисненной кожи, она очиняла ему перья и начала ткать для него коврик. Но Александр Миретт, казалось, совсем не замечал знаков этой ангельской привязанности.

Однажды, когда он отказался отведать специально для него приготовленное фрикасе, чудесно пахнущее барашком, имбирем и белым виноградным вином, Дама Бланш позвала молодого человека к себе в комнату и сказала с мягким укором:

– Вы слишком мрачны, мэтр Миретт! Какая у вас чувствительная душа! На вашем лице написаны благосклонность к вам Бога и Его отступление от вас!

– Бог никогда не бы ко мне благосклонен.

– Не богохульствуйте! Вспомните о чуде с вами!

– Чуда не было, Бог просто меня забыл!

– Ребячество! – вскричала Дама Бланш.

– Нет, правда! Ужасная правда! – застонал Миретт. – Меня забыл Бог. Он меня не замечает. Я больше не человек. Между вами и мной только и есть общего, что человечья оболочка.

Но души наши разделяет непреодолимая пропасть!

– Вы бредите! Нужно пустить вам кровь!

– Кровь не потечет! Я вне рода человеческого! И буду вне рода человеческого, пока меня не настигнет кара Божья!

Произнеся эти слова, он ее покинул и спустился в лабораторию, где его ждал мэтр Тайяд с суровым лицом и фляжкой голубой жидкости в руке.

– Вот новое небесное вещество, – пояснил ученый.

Александр Миретт с ненавистью расхохотался:

– Вы хотите создавать людей, а сами даже не знаете, что же такое человек. Кто я, мэтр Тайяд? Где я? Чему должен подчиняться?

Его охватило ужасное беспокойство. Было похоже на мощные приливы и отливы в его сердце, какое-то шатание, тошнота, как при агонии.

– Что со мной? Что со мной? – простонал он снова.

– Вас давит земля, – объяснил мэтр Тайяд. – В смеси неба и земли, из которой вы состоите, небо составляет ничтожную часть, жадно поглощаемую землей. Нужно восстановить равновесие этих элементов.

– Как?

– Терпением и учением вы воспитаете свою душу. А сейчас выпейте эту небесную жидкость.

И он двумя пальцами протянул ему фляжку. Александр Миретт понюхал свежую воду, пахнущую мелиссой, зажмурился и одним духом выпил ее. Затем они принялись за работу.

Но ни речи ученого, ни небесная жидкость не вылечили Миретта. И пока он писал под диктовку Тайяда прекрасными чернилами из киновари на плотном гладком пергаменте, он почувствовал, как его охватывает гнев, так что далее длинное лебяжье перо дрожало у него в руке.

На следующий день Александр Миретт отыскал Тайяда в кухне, где ученый разговаривал с Дамой Бланш, Служанка и кухаренок следили, чтобы похлебка не выбежала из котелка. Увидев мэтра Тайяда, так мирно решающего хозяйственные вопросы, Александр Миретт почувствовал, что вот он, подходящий момент попытать счастья. Этот человек не только подобрал его, приютил, кормил, обучал, но был так добр, что отдал ему свою жену. Честный или просто воспитанный парень отплатил бы за такую исключительную дружбу бесконечной благодарностью. Любое другое поведение в этом случае могло вызвать только гнев Божий.

Отлично! Александр Миретт выбрал на кухонном столе большой нож для разделки мяса и, весело поблескивая им в лучах солнца, подошел к своему благодетелю. Ученый повернул к нему свое изможденное лицо с лучащимися добротой глазами и сказал:

– Ну что, друг мой, вы избавились от ваших сомнений?

– Нет, – ответил Миретт, – но скоро избавлюсь.

И он всадил нож ему в грудь.

Мэтр Тайяд с доброй укоризной взглянул на молодого человека. Но вот углы его губ опустились, подбородок задрожал, и его тело рухнуло на спину.

– Я его убил! – взревел Миретт. – Я убийца! Арестуйте меня! Ну, арестуйте же меня!

Но отойдя от трупа, он увидел, что кухня пуста. Дама Бланш, служанка и кухаренок исчезли, как по волшебству.

– Где же вы? Сюда! Сюда! Сюда!

Но на его крики никто не пришел. Миретт бросился в столовую, затем в комнату Дамы Бланш, но и там никого не было, кроме котенка, спящего на кожаной подушке. Но на лестнице слышались тяжелые шаги. Задыхаясь, обливаясь холодным потом. Александр Миретт в ужасе открыл окно и закричал:

– Спасите! Я убил мэтра Тайяда!..

Затем он вышел на улицу.

Шагах в пятнадцати от дома группа людей шумела вокруг нескольких солдат, Миретт подошел. В центре, между двумя стражниками стоял бедный водонос; тыква с водой еще висела у него на плече, и он плакал горькими слезами.

– Слушайте все! – закричал Миретт. – Я только что убил моего благодетеля!

Но какой-то священник взял его за руку.

– Вы святой человек, Александр Миретт, – сказал он. – Но Бог не хочет вашей жертвы.

Этот водонос только что признался, что подло убил вашего благодетеля, чтобы украсть у него деньги. . .

Александр Миретт пошатнулся и прислонился к стене. Мысли завертелись в голове огненным снопом. Земля уходила из-под ног.

«Бог не хочет вашей жертвы. . . Бог не хочет вашей жертвы. . . »

Он убежал, согнувшись вдвое, как человек, раненый в сердце. За ним бежал Валентин. И жители квартала крестились при виде их.

Глава XI, *новые приключения нашего несчастного героя* С этого дня для Александра Миретта началась новая жизнь, в полном смятении души и тела. Он покинул город после этого последнего преступления, виновным в котором Бог не хотел его признавать. Он бродил по дорогам со своей обезьянкой, питаясь желудями и овощами, которые он воровал с полей, спал в придорожных канавах и обходил деревни. Он чувствовал себя все менее и менее похожим на этих людей в домотканых одеждах, которых он видел в полях. Он смотрел на них, как на животных особого вида, которых он не мог понять и которые тоже его никогда не поймут. Когда он видел двоих из них,

идущих рядом, он начинал им завидовать, потому что они говорили и смеялись от души, потому что они принадлежали к одной расе, подчинялись известным законам и свет Господний освещал их лица. Для них все было просто, удобно, привычно. Они никогда не были одиноки. Они никогда не были свободны. С ними считался Бог.

Миретт просто голову терял от скуки и одиночества. Мир ограничивался его телом. У него не было другого друга, кроме него самого, другого Бога, кроме него самого. И он задыхался в себе, как в камере без воздуха и света. Иногда ночью в поле он падал на колени, обращая лицо к темному небу, где на месте Луны был бледный, истертый кружок. Посреди огромного молчаливого мира он призывал на себя все возможные проклятия.

Однажды, уставший от ночных молитв, Александр Миретт заметил крестьян, возвращавшихся домой, сгибаясь под тяжелыми заплечными корзинами с капустой.

Они поравнялись с ним. Он хотел бежать. Но один из них весело окликнул его:

– Помогите донести наш груз, незнакомец. Хозяин будет доволен и за это хорошо вас накормит и пустит переночевать.

Миретт с жадным интересом посмотрел на вилланов.

Они были в длинных кафтанах из грубого сукна, и карнаухих шапках, увенчанных свинцовым изображением Божьей Матери. На поясе у каждого висели мошны из козьей шкуры и ножи без ножен, с деревянными держаками. По серым лицам струился пот. От усталости они тяжело дышали открытыми ртами. Миретт хотел было крикнуть им, чтобы они шли своей дорогой, но опомнился и промолчал. Может, это само Провидение толкает к нему этих простых людей, понукая его пойти с ними? Может, именно в их бедном жилище обретет он душевный покой, тот чудесный мир, которого он не нашел в пышном доме своего благодетеля?

Он поднялся и сказал:

– Давайте корзину. Я ее понесу. Вставай, Валентин.

– Большое спасибо, – поблагодарили крестьяне.

По дороге они спросили у него, откуда он, куда идет, чем занимается.

– Иду я издалека, – отвечал Миретт, – иду издалека, и нет у меня другого занятия, как бродить в ожидании смерти.

Еще не стемнело, когда они подошли к саманной мазанке на каменной основе, затерянной среди полей. Старая стреха поросла медвежьим ушком и молодилом, а перед дверью была свалена куча светлого навоза, из которой вытекали жидкие ручейки. На пороге что-то клевали куры. Из хлева доносилось мычание коров.

– Мы припозднились. Входите.

Они вошли в низкую комнату с утрамбованным глиняным полом и толстыми тусклыми стеклами в окнах. Вокруг большого стола сидело человек десять, передавая друг другу миски 132 Анри Труайя Суд Божий с едой и весело разговаривая.

– Ну что, явились, лентяи! – сказал старик, сидевший во главе стола. – Снимайте корзины и садитесь. А кого это вы с собой привели?

– Он нам помог нести капусту, хозяин!

– Ну так добро пожаловать! – сказал старик. – Вот моя жена, а это виноградари, скотник, пастух и служанка. Садитесь с нами. Служанка пододвинула Миретту большой ломоть ржаного хлеба. Скотник протянул ему кружку с молоком, а пастух бросил несколько орешков Валентину, который поблагодарил его смешной гримасой.

В эту минуту дьявольское наваждение нашло на Миретта. Он вытащил из-за пояса рогатку, прицелился и выстрелил. Просвистел камень. Старик, пораженный в висок, упал лицом в миску с каштанами.

– Ну а теперь арестуйте меня! – завопил Миретт.

Но в комнате кроме него и старца с пробитой головой никого не было. Только слышались отдаляющиеся тяжелые шаги.

Какое-то время Миретт еще оставался в этом доме, где даже предметы, казалось, оцепенели от ужаса. Хворост тихо потрескивал, догорая в очаге. Угасая, масляная лампа бросала отсвет на

кадушку для соли, стол и скамьи из отполированных до блеска дубовых досок, С печи свисали гроздья потемневших окороков и солонины. У окна дремала прялка. Только прибитый к стене Христос из потемневшего дерева благословлял убитого плохо выструганными руками.

Миретт чертыхнулся и вышел на дорогу, по которой гнал пыль ветер.

На следующий день он пришел в село, где дома были украшены зелеными ветками и цветами. Здесь готовились к свадьбе. Весело играли волынки, флейты, гобои. В центре села в веселой суете уже собирался свадебный кортеж. Бледная, белокурая невеста была в белом кружевном головном уборе и красивом алом платье, с расшитым лентами корсажем. Жених, приземистый, краснорожий, придурковатый парень, имел на голове круглую шляпу, украшенную цветами шиповника. За ними выстраивались многочисленные родственники и друзья в праздничных одеждах.

Миретт остановился на обочине, достал из-за пояса нож, поднял его на уровень глаз и метнул недрогнувшей рукой.

Раздался крик, хлопанье крыльев, свист рассекаемого воздуха.

Посреди дороги лежала невеста с ножом в сердце. Но деревня была пуста, и только тяжелые шаги сотрясали горизонт.

Александр Миретт совершил еще много преступлений в окрестностях, но свидетели исчезали срезу же, как только он умолял их схватить его и выдать властям. Он стал неузнаваем.

Худой, желтый, с длинными волосами, злобным взглядом, он бродили по дорогам без цели и без надежды.

В Париж он пришел на казнь фальшивомонетчика. Холодный туман еще висел над шпилями, печными трубами и крышами столицы. Вокруг виселицы толпилось несколько окоченевших кумушек. Солдаты удерживали их на расстоянии, наставив пики. Приговоренный к казни, толстенький и дрожащий, вращал круглыми, перепуганными глазами и шептал молитвы. Ветер шевелил подол его белой рубахи. Два палача заставили его подняться на лесенку, накинули ему веревку на шею, и вот тело уже заболталось на виселице, с одеревеневшими ногами и обвисшими плечами, как рыба на вывеске в рыбной лавке. Миретт смотрел на болтающиеся в воздухе стоптанные подошвы, раздутые под тканью колени, искаженное лицо с вывалившимся языком. И он завидовал агонии этого несчастного.

Он, во всяком случае, почувствовал давление Бога на своих плечах!

В тот же вечер Александр Миретт прошел мимо дома мэтра Тайяда. У окна сидела женщина в трауре. Миретт долго смотрел на Даму Бланш, но она его не узнала. Затем он продолжил свой путь и покинул город. Он сюда возвращался не раз, и по странной случайности приход его всегда совпадал с объявлением о казни.

Он видел, как содержательницу публичного дома выставили к позорному столбу, а затем сожгли на костре. Он видел вора, которого на шесть часов привязали к лестнице и выставили на площади, а потом раскаленным железом заклеймили королевской лилией и изгнали из города под звон колоколов. Он видел буйно помешанного, которому отрезали ухо, привязали за руки и за ноги, а на шею повесили ожерелье из мертвых цыплят. Он видел разбойника, хулившего Бога, которому вырезали язык, а тело колесовали. Он видел даже свинью со вспоротым животом, повешенную за задние ноги за то, что она съела ребенка. Это зрелище его возмутило.

– Вешают свиней! – вскричал он. – А меня не хотят повесить! Неужели я стою меньше, чем поросенок? Неужели я меньший преступник, чем животное?

Удивленные такими речами, стоявшие рядом, решили, что он сумасшедший, и в страхе посторонились, бормоча слова сострадания.

Глава XII, *из которой читатель узнает, при каких обстоятельствах мы чуть было не потеряли нашего друга* Через какое-то время, отчаявшись получить от Бога заслуженное наказание, Александр Миретт решил покончить с собой. В небольшой роще он подыскал дерево с крепкими ветвями, вскарабкался повыше, привязал пеньковую веревку к ветке толщиной с телячий огузок и вставил голову в петлю. Внизу, метрах в трех под ним, на земле, усыпанной скромненькими цветочками, сидел Валентин и смотрел на него с интересом. Ну что же, раз Бог не идет к нему, он сам отправится к Богу. И он бросился в пустоту.

Послышался треск, и он тяжело упал к подножию дерева: ветка обломилась и висела над ним, зияя раной. Валентин, пританцовывая, хлопал в ладоши и повизгивал от радости.

Ошарашенный Миретт зарыдал, кусая кулаки.

Когда наступил вечер, он сидел посреди поляны, Вокруг него рокотал лес. В большой разрыв между кронами виднелось сиреневое небо, прорезаемое ласточками. Вот алмазом сверкнула звезда. В уснувшей траве пробежал какой-то зверек. Но вскоре все звуки умолкли, покоренные тишиной ночи, остались лишь загадочные шорохи то ли снов, то ли преступлений.

А Миретт размышлял:

«Увы! Даже Христос погиб, как человек. Гвозди вонзились в Его тело, как в тело простого человека, и мускулы Его выгнулись, как мускулы простого человека, и кровь Его текла, как кровь простых людей, и чудо не свершилось, чтобы спасти Его от креста, на котором Он умирал между двумя разбойниками. Но вот законы природы, не пощадившие Христа, отступают передо мной, Александром Миреттом. Я сильнее Христа. Я противоположность Христу, я дьявол, один из дьяволов. . . Но что же делать, когда ты дьявол? Конечно, в силах зла, как и в силах добра, должна быть какая-то иерархия. Должен быть какой-то главный дьявол, от которого я завишу. Он должен принять меня. Дать совет. Я больше не буду одинок! Ах! Я снова почувствую, что надо мной есть кто-то более сильный! Мир Христа меня отторгает!

Мир Сатаны меня утешит! О счастье! Счастье! Я больше не свободен! О радость! Радость! Я принадлежу кому-то, кроме себя самого!»

Впервые за долгое время он почувствовал себя счастливым. Усталые члены налились новой силой. Он позвал Валентина и прижал его к груди:

– Валентин, мой дружок, теперь для нас все просто. Мы искали свет, а нашли тьму. Мы шли к Богу, а черные силы звали нас к себе. На ближайшем шабаше нас признают, нам укажут нашу роль, нам скажут имена наших друзей, и жизнь станет такой прекрасной, что мы больше не будем скучать по нежности Дамы Бланш.

Миретт немедленно нарисовал на земле крест и семь раз плюнул в него.

Валентин, развеселившись от этой церемонии, станцевал отвратительную джигу вокруг святого креста, а затем оба пустились в дорогу, так как был четверг, а до проклятого леса путь был еще далек.

В шабашную субботу они вышли на опушку пр´оклятого леса. Странные песни указывали им путь. Вскоре они очутились на поляне, где горел костер. Полуголые мужчины и женщины в покрытых письменами колпаках прыгали и качались вокруг костра. Отблески пламени выхватывали из темноты костлявые плечи, обвисшие груди, волосатые задницы. Огромные тени уродливо извивались позади этих розовых тел. В углу поляны блеял козел. Высокий детина, вымазанный красной краской, изрекал, хлопая в ладоши: Все, что скользит, лазает, карабкается, – Наше!

Все, что мяукает, визжит, скрежещет зубами, – Наше!

Все, что жалит, кусает, щиплет, – Наше!

– Вот наши братья! – сказал Миретт перепуганной обезьянке. – Пошли к ним.

Когда он вошел в круг, все проклятые участники шабаша застыли, будто пораженные смертью.

– Я ваш друг, – сказал Миретт. – Я злодей. Я принадлежу аду. Примите меня к себе.

Но не успел он договорить, как на него обрушился столб дыма. Когда ветер разогнал его, поляна опустела, только тяжелые шаги отдалялись в ночи.

Миретт опустился на поваленный ствол дерева и закрыл лицо руками.

Итак, ни Бог, ни дьявол не желали его изможденного тела и больной души! Он не принадлежит ни тому, ни другому! Он вне зла! Дьявол был тоже частью Божественного создания.

Бог создал мир из земли, воздуха, воды, плоти и в свое горнило бросил лукавого. Сатана ему был нужен, как основание созданного им мира. Миретт ему был не нужен!

Ощущение полной свободы ужасало. Полная свобода – ведь это хаос. Ничто не зависит ни от чего. Все может породить все.

– Ах! Валентин! – простонал он. – Ну вот нас и выгнали и из рая и из ада, и теперь мы несчастнее бедных загнанных мулов, хотя сила наша равна силе Бога и силе дьявола!

И Валентин принялся плакать мелкими обезьяньими слезками, так как он понял отчаяние хозяина и не знал, как ему помочь.

Когда рассвело, они двинулись дальше.

Глава XIII, *в которой рассказывается об удивительном путешествии Александра Миретта по странам и векам* Миретт шел, и дорога разматывалась у него под ногами, как ткань, которую меряют аршином. Деревья, села, города бежали ему навстречу, а он медленно и безразлично проходил мимо.

Подошвы его истоптались на камнях дорог, одежда изорвалась о колючие кустарники, кожа на лице потрескалась от холодных рассветов. Спал он мало, ел плохо и бежал при виде людей. Сегодня они с Валентином выходили на берег синего моря, на котором безразлично шелестели пальмы, а на деревьях росли золотые плоды, а назавтра глубокий снег скрипел у него под ногами и обледенелые веточки кустов звенели на обжигающем морозом ветру.

А на следующий день он уже взбирался все выше и выше среди красных скал, и горные орлы кружили вокруг него, а внизу теснилась зеленая долина, готовая выпрыснуть желтые зернышки домишек, голубые жилы рек, подгнивающую плоть своих пашен. А на четвертый день он, согнувшись в три погибели, брел среди овеянных славой песков пустыни, среди обглоданных скелетов верблюдов, простиравших к небу свои белые кости. На пятый день его принимал в свои объятия тропический лес с уродливыми деревьями и ядовитыми папоротниками, ворсистыми лианами и шевелящимися болотами. И Александр Миретт понял, что пространство не существует для него. Но он продолжал идти по миру, не поспевавшему за ним. Он видел, как вздымались ввысь этажи домов, как перештукатуривались они внутри, как раздвигали они, словно крылья, свои крыши. Улицы теснили узкие редуты домов и неумело одевались в камень. Мужчины и женщины облачились в странные одежды и изобрели исключительно изящные прически. Появились белые парики и шляпы в форме фрегата, а затем в форме корнета, а затем в форме миски, а потом вообще без формы. Мужчины прогуливались в панталонах до щиколотки, а галстуки дыбились на манишках, как взбитые сливки. Над землей поднялись трубы из розового камня, плюющиеся дымом. Ночью в шарах из тонкого стекла горели ослепительные огни. И Александр Миретт понял, что время тоже для него не существует.

Он шествовал по векам с маленькой обезьянкой на плече. Он опережал годы. Белая борода выросла до пояса, а длинные седые волосы спускались ниже лопаток. А посредине торчал квадрат обожженного непогодой, обветренного, огрубевшего и потемневшего лица с сухим и блестящим, как рог, носом и грустными глазами, взгляд которых был из другой эпохи, из другого, навсегда утраченного мира.

Однажды в воскресенье Александр Миретт, охваченный новым озарением, последовал за толпой крестьян, идущих на мессу. Он вошел в сельскую церквушку, набитую людьми. Небесный свет, приглушенный витражами, скользил по склоненным головам людей. Алтарь сверкал позолотой и белой краской. Слева вздымалось огромное распятие с Христом из желтого гипса. Голова его свесилась на плечо. Рот открыт в последнем вздохе. Грудь, стиснутая ребрами, дыбилась над ввалившимся животом, а ноги были согнуты в блестящих коленях. Александр Миретт смотрел на этого Христа с раздражением и завистью. И вот он не выдержал.

– Что Ты хочешь от меня? – заорал он, и стекла задрожали от его голоса. – Чего Тебе надо от меня, распятый? Почему Ты отказываешь мне в наказании и смерти? Ты, справедливый и всепрощающий Бог, отчего Ты меня не судишь, отчего Ты меня не прощаешь? Да существуешь ли Ты вообще? Я вызываю Тебя на бой. В доказательство того, что Ты есть там, наверху, 137 Анри Труайя Суд Божий открой глаза и уши своей паствы, дай оружие их слабым рукам, направив их на меня, и пусть они разопнут меня, как распяли Тебя! Если они не двигаются с места, если они дрожат только от моих речей, значит небеса пусты и Ты только абсурдная выдумка человеческого ума. Тогда все ложь от начала веков! Тогда все, что мы знаем о Тебе, ложно, смешно и опасно! Тогда нужно сжечь храмы, растоптать Твои образы и наплевать на святые писания! Послушай же меня! Я оскорбляю Тебя, как извозчик своего соперника! Я презираю и ненавижу Тебя, если Ты есть, а если Тебя нет, я смеюсь над нами! Отвечай же! Докажи свое всемогущество!

Покарай меня! Да покарай же меня!

Он замолчал. Вокруг него крестьяне продолжали молиться, будто ничего не слышали.

Миретт поднял взгляд на Христа и отчетливо увидел, как увенчанная терновым венцом голова трижды медленно качнулась справа налево. Тогда он с ужасом осознал, что карой для него будет то, что его никогда не покарают.

Он вышел из церкви и снова двинулся, куда глаза глядят.

Глава XIV, *конец* И сейчас еще можно до воскресеньям, около четырех по полудни, на скобяных ярмарках встретить странного старца с иссохшим лицом, меланхолическим взглядом и позеленевшей седой бородой. Спина его сгорбилась. Одет он в отрепья. На плече у него сидит худая седая обезьянка, а к поясу привязан медный таз Он останавливается на краю тротуара. Стучит кулаком по звонкому дну таза. Собираются прохожие. Тогда обезьянка спрыгивает на землю и начинает прыгать и гримасничать, а старик хриплым скрипучим, как плохо смазанная ось, голосом

поет: Изобрази нам, Валентин, Наших игривых Жеральдин, Как усердствуют они в постели, Не помышляя о добродетели!

Затем он наполняет тазик маслом, подогревает его на старинный лампе, пока масло не начинает кипеть.

– Ну и вид! – замечают зеваки. – Он похож на ощипанную ворону!

Но старик уже снимает башмаки и погружает ногу в кипящее масло, не издавая ни стона.

– Подходите, славные отроки и изящные барышни, – приглашает он. – Поротозействуйте на игры вашего покорного слуги, у которого кожа такая крепкая, что ее никогда не брал огонь людей; да и сатанинский огонь она даже не почувствует!

И действительно, на большой грязной шишковатой ноге, которую он вынимает из масла, нет и следа ожога. Он вытирает ее тряпкой, натягивает башмак с протершейся подошвой и собирает монетки, которые ему бросают из жалости.

Люди расходятся, качая головой:

– Конечно же, он не опускает ногу в кипящее масло! Это какая-то безвредная смесь, какой-то химический трюк, шутка. . .

Оставшись один, незнакомец собирает свои инструменты и подзывает свистом обезьянку, которая ловко впрыгивает ему на плечо. Потом уходит, прихрамывая, и исчезает за углом.

Столик для верчения

Фердинан Пастр проснулся на рассвете и испытал счастливое желание почесать нос. Из-за закрытых ставен в комнате стояла камерная полутьма. За стеной, в ванной, из плохо закрученного крана капала вода. Фердинан Пастр с наслаждением вдохнул теплый застоявшийся воздух и лениво поднес палец к чесавшейся ноздре. Но палец, без сомнения, промахнулся и попал в пустоту. Фердинан Пастр выругался и снова поднес затекшую руку к своему лицу.

И снова рука не встретила ничего, кроме пустоты. Кожа, хрящи, кости этой пластической выпуклости, которой он гордился, испарились, как утренний туман под порывом ветра. У Фердинана Пастра больше не было носа. На месте носа была дыра, не причинявшая боли рана, воронка, куда его рука свободно погружалась до локтя.

Сердце несчастного сжалось от тревоги. Холодный пот катился по лицу и по спине. Он не осмеливался пошевельнуться, опасаясь, как бы малейшее движение не открыло ему какое-то новое, непредвиденное и ужасное последствие его увечья. Впрочем, через какое-то время его аналитический ум бухгалтера фирмы «Буш и Турнуа, нижняя одежда всех видов» привел в порядок смешавшиеся в первые часы мысли.

– Я дурак, – одернул он себя.

И одним рывком вскочив с постели, он бросился в прихожую к большому настенному зеркалу. Зеркало было прикреплено прямо к стене между двумя этажерками с книгами. Красивое, холодное, новое, не засиженное мухами, без единого пятнышка, без единой трещинки.

Фердинан Пастр остановился перед ним и содрогнулся. Он стоял *перед* зеркалом, но *в* зеркале его не было! Зеркало не отражало его фигуру, будто его здесь и вовсе не было: с невозмутимой дерзостью оно отражало прихожую, глупый сундук и кучу одежды на вешалках.

Между зеркалом и противоположной стеной никого не было.

В тревоге Фердинан Пастр пожал плечами и вернулся в спальню.

От увиденного кровь застыла у него в жилах и перехватило дыхание. Фердинан Пастр, стоя посреди комнаты, смотрел на Фердинана Пастра, лежащего в кровати. Да, на кровати чинно и торжественно почивало тело Фердинана Пастра. Лицо спящего было восково-бледным, а усы топорщились, как пакля. Ноздри были раздуты, челюсть отвисла. Из неприкрытой волосатой груди не вырывалось ни малейшего дыхания. Содрогнувшись от ужаса, Фердинан Пастр понял, что он видит собственный труп.

– Я умер, – пробормотал он.

И это было так. Создание, бродившее по комнате, было лишь призраком лежащего на кровати. Фердинан Пастр больше не принадлежал к миру живых людей. Новая его оболочка была невидима человеческому глазу, человечье ухо не могло больше услышать его астральный голос, человечий нюх не мог больше учуять его запах, а руки не могли ощупать растаявшие формы, и, конечно же, человечье изобретение – зеркало – не могло больше отображать его.

Живые существовали для него, а он для них – нет.

Он в изнеможении опустился на стул. Рукой он провел по этому окаменевшему лбу, по крупному носу, по волевому подбородку, по впавшим щекам, по лицу, которое он любил и с которым отныне должен расстаться до скончания веков. Он умилился при виде забавной бородавки в уголке рта и пучка волос, растущего из ноздри, таких милых недостатков, на которые он когда-то жаловался. Временами ему казалось, что он охраняет последний сон очень близкого друга, жизнь которого тесно переплелась с его жизнью.

«Почему я умер таким молодым? – думал он. – Мне было всего сорок лет. Блестящее будущее в компании «Буш и Турнуа». Я собирался изменить жене с ее лучшей подругой, изысканной Луизеттой Пупар, и вот те на, умер! Не будет больше работы, не будет больше жены, не будет больше Луизетты. . . Ничего. . . Я лишь призрак!»

Его покоробило от этого мрачного слова: призрак! Он стал одним из тех призраков, о ко141 Анри Труайя Столик для верчения торых когда-то говорил весьма легкомысленно. А что такое в действительности призрак? Что делают, будучи призраком? Он вздрогнул при мысли, что его новое положение, возможно, готовит ему новое испытание. Он уже боялся себя самого. Возможно, его обернут в простынь, закуют в цепи и посадят в ледяное подземелье какого-нибудь замка? Должны же быть у призраков какие-то административные обязанности. Верховные умы этого нового мира должны были в своей земной жизни быть учителями, министрами, коммерсантами, налогоплательщиками, пунктуальными и жестокими адъютантами? Самые хитрые, должно быть, давно установили строгое правило, согласно которому все обитатели загробного мира должны были им подчиняться под страхом санкций тем более ужасных, что они не ограничивались телесными наказаниями.

Фердинан Пастр на мгновение представил себе впечатляющую структуру власти этой страны мертвых, строгое строение этого общества граждан без возраста, с загадочной полицией этого мира, в который он только что пришел и в котором останется до скончания веков. Его бухгалтерский ум, падкий на цифры, статистические таблицы и графики, предельно точно оценивал сумму знаний, необходимую для управления этим неисчислимым обществом. У него даже мелькнула мысль предложить свою помощь в тщательной переписи этого огромнейшего населения, в котором он смог бы полностью раскрыть свои таланты.

Как раз в эту секунду будильник залился резким, настойчивым, бесконечным звоном.

Фердинан Пастр хотел нажать на кнопку будильника. Но ничего не получилось. Фердинан Пастр стукнул себя по лбу:

– Я же совсем забыл! Здесь то же, что и с зеркалом! Я не существую по отношению к материальному миру. Мой палец проникает сквозь предметы, не воздействуя на них. Как глупо!

Будильник продолжал звонить, захлебываясь металлическим хрипом, подпрыгивая и скрежеща. Фердинан Пастр услышал, как в соседней комнате заворочалась на кровати, сердито похрапывая, его жена.

Когда будильник зашелся последним дребезжащим хрипом, мадам Пастр появилась на пороге с топорщащимися на голове бигуди и лицом, опухшим от сна. Ее маленькие остренькие глазки моргали в темноте. Она закричала:

– Ты что, с ума сошел, почему не остановишь будильник?

Фердинан Пастр хотел было ей объяснить, что он скончался ночью, но вовремя вспомнил, что живые не могут слышать его голоса, и промолчал. К тому же Гортензия Пастр уже направилась к нему, прошла сквозь него и подошла к кровати, где покоилось тело. Фердинан Пастр печально и тревожно наблюдал, что она будет делать.

– Ты будешь вставать, соня! – прикрикнула Гортензия.

И она схватила труп за руку. Затем она наклонилась к кровати, рукой коснулась лба покойного господина Пастра и взвыла, как дикий зверь:

– Он умер! Врача! Врача! Скорее!..

Вихрем она пронеслась сквозь Фердинана Пастра в прихожую, к телефону, набрала номер и

принялась рыдать в трубку:

– Доктор. . . Доктор!.. Случилось несчастье!..

Тронутый ее горем, Фердинан Пастр подошел к жене и легонько потрепал ее по плечу, чтобы поддержать или хотя бы чтобы она взяла себя в руки.

Но, конечно же, Гортензия не догадывалась о присутствии мужа рядом с собой и топала ногами, привязанная магической силой телефона:

– Мой бедный муж. . . Моя жизнь разбита. . . Вы можете мне помочь. . . Нельзя терять ни минуты. . .

Повесив трубку, она бессильно опустилась на сундук у двери, закрыв лицо руками и вздрагивая от рыданий.

Врач пришел как раз тогда, когда мадам Пастр сняла трубку, чтобы снова звонить и напомнить ему об обещании. Это был грузный мужчина с красным лицом и густой бородой, подстриженной полукругом. Зато череп у него был лысый, покрытый странными коричневыми и розовыми пятнами. Фамилия его была Бумино, и его весьма ценили Гортензия и ее мать.

Задав несколько вопросов на ходу, он вошел в комнату, наступив на ноги призраку, и присел на корточки у кровати, тяжело вздохнув, как портовый грузчик. Ощупав тело своими пухлыми руками, покрытыми веснушками, он просто сказал:

– Я пришел слишком поздно. . .

Он достал из сумки шприц с острой иглой.

Когда врач сделал укол, Пастр почувствовал нестерпимый зуд в позвоночнике. Ему казалось, что какая-то таинственная сила влечет его к его собственным останкам. Ему казалось, будто его тянут к кровати на невидимой веревке, будто его увлекает сквозняком или притягивает сильный магнит. Он приблизился к трупу. Он собирался прильнуть к нему, соединиться с ним. . . Но узы медленно ослабли, и он снова смог свободно двигаться.

– Первый укол ничего не дал, – констатировал врач, – Давайте попробуем еще.

И после второго, и после третьего укола Фердинан Пастр чувствовал то же влечение к телу и тот же печальный обрыв невидимых нитей. Лекарства доктора Бумино оказались бессильны вернуть душу Фердинана Пастра в его тело. Всякая надежда была потеряна. Расставание было окончательным.

– Но от чего же я умер? – вскричал Фердинан Пастр.

Будто услышав его, врач встал, покачал головой и объяснил:

– Церебральная гиперемия, мадам!

– Он слишком много работал, – всхлипнула Гортензия. – Эти цифры его доконали!

– Мужайтесь, мадам, – сказал доктор.

И, понизив голос, прибавил:

– Держись, Гортензия, я тебя прошу. И не забывай, что хотя он и умер, у тебя остаюсь я.

Фердинан Пастр подпрыгнул от негодования и захлебнулся ругательствами. Гортензия ему изменяла с этим подонком, от которого воняло эфиром, и руки были покрыты веснушками!

Гортензия, которая не могла ему простить такой невинный грех, как недолгое пристрастие к пастису – анисовому ликеру, – позволяла себе изменять ему с этим мясником! А он еще не мог решиться изменить жене с очаровательной Луизеттой! И он, дурак, еще терзался благородными сомнениями!

«Я воистину был круглым дураком! – подумал он. – Ну все, с этого дня я снова свободен!

Еще посмотрим, на что я способен!»

Когда врач ушел, впечатлительный Фердинан Пастр не решился присутствовать на обмывании покойника и при посещении служащих похоронной конторы.

Впрочем, он горел нетерпением поскорее ознакомиться с правилами его нового существования. Всю жизнь он старался придерживаться установленных в обществе правил. В сорок лет принципы не меняют!

– Прощай! – сказал он.

И гордый и прямой, как древко флага, он прошел мимо рыдающей жены.

В прихожей он хотел было привычным жестом снять с вешалки пальто. Но рука его прошла сквозь прекрасный бежевый плащ, не сумев сдвинуть его ни на миллиметр.

– Жаль, – подумал Фердинан Пастр.

И он сразу вспомнил, что умер в пижаме. В таком виде стыдно показаться на улице, а переодеться он не сможет. Он утешил себя мыслью, что большинство призраков должны быть в таких же нарядах, и, легко проникнув через стены и двери, он оказался на улице, по которой, толкаясь, спешили прохожие. Очень быстро он различил среди них своих собратьев по загробному миру, по их туманным призрачным фигурам. Все были в той одежде, в которой их застала смерть. Одни, как и он, в пижамах, другие в рубашках, третьи совсем голые, четвертые в вечерних нарядах или в выходных костюмах. Там были даже несколько старых призраков, одетых по старинной моде, в напудренных париках, облегающих трико и расшитых полукафтанах. Свободно двигаясь между живыми людьми, они встречались, здоровались и говорили тонкими голосами. А живые проходили рядом, не догадываясь, что среди этой толпы легких призраков, возможно, были дорогие для них покойники.

Фердинан Пастр не решался подойти к незнакомому призраку и расспросить его о необходимых формальностях, которые следовало соблюсти перед «компетентными органами». Он боялся показаться новичком, над которым будут смеяться старожилы загробного мира, с которыми он заговорит. Лучше обратиться к одному из хороших его друзей, Этьенну Кассаню, умершему два месяца назад, кончину которого он горько оплакивал. Он обнаружил его сидящим на стуле у двери квартиры, в которой он умер от инфаркта миокарда. Кассань от нечего делать считал мух. Заметив Фердинана Пастра, он вскочил и радостно вскричал:

– Это ты? Каким ветром тебя занесло? Неужели ты перешел к нам?

– Да! – не без самодовольства ответил Фердинан Пастр.

– Какая приятная встреча! – сказал Кассань.

И он добродушно толкнул его в бок. Наконец он остановился и серьезно спросил:

– Не очень страдал?

– Я ничего не почувствовал.

– Это главное, – одобрил Кассань. – Давай выйдем. В доме душно.

– А я не знаю, могу ли я выходить, – сказал Пастр. – Можно ли свободно ходить по улицам без специальных документов, паспортов?..

Кассань рассмеялся:

– Ну что ты, старина! Хочешь, чтобы тебе выдали удостоверение личности?..

– А я думал. . . – сказал Пастр, явно разочарованный вольностью, царящей в этом новом мире.

– Нет, нет, – уверил его Кассань. – Здесь мы совершенно свободны, совершенно абстрагированы от всего и совершенно никому не подчиняемся, – А чем же вы занимаетесь целыми днями?

Кассань помрачнел:

– Правду сказать, особенно ничем, – ответил он. – И это ужасно. Мы шатаемся из квартиры в квартиру, делимся воспоминаниями. .

– И все?

– Иногда некоторые из нас исчезают, чтобы предстать перед каким-то высшим судом, который предписывает нам какое-то иное назначение. Говорят, что призванные возрождаются в теле животного или младенца. Но доказать это никто не может. Хотя я знаю призраков 1670 года, которых еще не призвали. Так что, как видишь, нам придется еще немало времени провести вместе.

– Ну а как же общение с живыми, с их миром, который мы покинули?

– А, это другое дело, – посерьезнел Кассань. – Ты уже знаешь, что мы не властны над предметами в обычное время. Но мы можем двигать столики спиритов и частью «конденсироваться» по призыву хорошего медиума.

– Это неплохо развлекает!

– Не шути, – обиделся Кассань. – Нам нравится появляться по призыву спиритов. Есть призраки, на которых существует постоянный «спрос» среди живых. Но есть и такие, которых никто никогда не вызывал с помощью вертящихся столиков. Это предмет неизбежной и неизлечимой зависти. У таких типов, как Наполеон или Виктор Гюго, нет ни одного свободного вечера. И они этим весьма гордятся, что оскорбляет их собратьев. Некоторым из этих звезд пришло в голову нанять дублеров, потому что они не могли бы быть одновременно во многих местах. Что касается меня, то вызывали меня всего один раз, к тому же дочка нашей консьержки, и я от этого страдаю!

– Но почему?

– Почему? Почему? Потому что это свидетельствует о том, что мир живых перестает думать о тебе, что о тебе забывают даже друзья, даже соседи, даже родственники, что в мире живых жизнь идет так, будто ты вообще никогда не существовал. В конце концов в нашем состоянии приобретаешь характер фигляра. Завидуешь собратьям, имеющим многочисленные ангажементы. Начинаешь считать, сколько раз их вызывали. Начинаешь придираться к их заслугам. При встрече мы между собой говорим: «Вы слышали? Кажется, Золя вызывали трижды только за позавчерашний вечер. Его просто распирает спесь. Но знали бы вы куда его вызывают! Ничтожные людишки. Мясник, галантерейщик. . . На его месте я бы не ходил. . . »

Такие разговоры не редкость между нами.

– Ах, какая жалость! – простонал Фердинан Пастр.

– Да. . . да. . . Ты так говоришь сейчас, но через несколько дней ты запоешь по-другому.

Если бы ты знал, какая это радость, когда среди звездной тишины ты слышишь человеческий голос, странный, глухой, боязливый, твердящий: «Дух Этьенна Кассаня, ты здесь?»

Единственный раз, когда я услышал этот тихий призыв, я подскочил, я бросился в темную комнату, где сидели не забывшие еще меня добрые люди, и обеими руками схватил круглый столик, заряженный их экстазом. «Если ты здесь, стукни три раза. . . » Ах! Как милы эти слова. . .

– И ты стукнул три раза?

– А как же! Я не чуял себя от гордости и радости! Я ответил им раньше, чем они успели закончить вопрос! Я просто засыпал и смутил их массой уточнений! Я показывал им трюки с покачивающимся столиком и с вальсирующим столиком и с летающим столиком. Им пришлось в весьма строгих выражениях приказать мне удалиться, а то я бы так и не ушел. После меня они вызвали Вольтера. Это весьма отрадно.

Ошеломленный Фердинан Пастр не знал, что и ответить на этот вдохновенный монолог.

– И все здесь такие, как ты? – пробормотал он.

– Все.

Он снова замолчал.

– Интересно, кто меня вызовет, – вновь заговорил Фердинан Пастр. – Моя жена спиритизмом не занимается. Луизетта, правда, рассказывала, что когда-то в ночь Святого Сильвестра она тщетно пыталась вертеть столик. . . Есть, правда, еще доктор Бумино. . .

– Бумино? – вскричал Кассань. – Ты знаешь Бумино? Гениального, великого Бумино? Но это же счастье! Бумино – лучший наш импресарио. Именно он вызывает всех величайших деятелей истории: Наполеона, Франклина, Робеспьера. . . Если он тебя вызовет, карьера тебе обеспечена!

Фердинан Пастр меланхолически улыбнулся:

– Карьера?

– Конечно. Ты станешь звездой. Женщины будут сходить с ума по тебе. Тебе будут завидовать. Ставить в пример. . .

– Оставь, дружище, – сказал Фердинан Пастр. – Бумино меня никогда не вызовет.

– Почему?

– Потому что он любовник моей жены.

– Тем более! – возразил Кассань. – Ах, Пастр, дружище Пастр! Ставлю на твой успех в будущем! Но

когда ты сделаешь карьеру, ты же не забудешь старых друзей?

– Нет, я тебя не забуду, – уверил его Фердинан Пастр.

И замолчал, почувствовав отвращение при мысли об этом полном интриг, хвастовства и тщеславия мире, в котором ему предстояло жить.

После двух недель, проведенных в компании Этьенна Кассаня, Фердинан Пастр вроде привык к своему новому положению. Друзья прогуливались по набережным, проникали в театры, в музеи, высмеивали одежду людей, встречаемых по дороге. Часто бывший бухгалтер компании «Буш и Турнуа» навещал своих коллег, жену, квартиру нежной Луизетты. Нигде о нем не говорили. Служащие компании «Буш и Турнуа», пославшие в складчину большой венок ему на похороны, теперь занимались текущими делами, прибавками к заработной плате и оплачиваемыми отпусками. Его сосед по комнате в конторе забрал себе его подручные материалы.

Гортензия попросила мать пожить у нее, и разговоры у них велись только об оформлении документов на наследство. А Луизетта недавно съехала, и Фердинан Пастр бесился от того, что не мог докричаться до консьержки, которая, конечно же, знала ее новый адрес.

По мере того как проходило время, Фердинан Пастр начинал все больше страдать от безделья и от своего бессилия. Он заболел «болезнью призраков», помеси ностальгии, безделья и горечи. Иногда во время прогулок с Кассанем он вздрагивал всем телом и бормотал:

– Мне кажется, меня вызывают!

Кассань прислушивался и грустно качал головой:

– Нет, дружище. Никто не говорит о тебе на земле.

И Фердинан Пастр начинал плакать мелкими, прозрачными слезами. Ему было безразлично, что жена его забыла. Он даже был счастлив, что избавился от этой крикливой и неряшливой толстухи, которая отравила ему половину жизни. Но его возмущало то, что нежная, милая, влюбленная Луизетта не додумалась возложить пальчики на край столика и вызвать дух своего дорогого покойника, – это было невыносимо!

Через три месяца после своей смерти Фердинан Пастр превратился в несчастного стенающего призрака, которого Кассань должен был уговаривать с утра до вечера и от которого при виде его печального облика шарахались другие призраки.

– Привыкнешь, как привык и я, – утешал его Кассань.

– Нет. . . нет. . . Я этого не переживу! – стенал Пастр.

Он хотел добавить: «Я от этого умру!» – но вовремя вспомнил, что не может даже умереть, и эта мысль доводила его до безумия. Он не находил ни единого утешения в своей новой жизни. Он с ужасом замечал, что загробный мир был безобразной карикатурой земного. Мертвых занимали те же мелкие страсти, что и в их земной жизни. Генералы возмущались тем, что их выгнали в отставку, и жаждали новых войн. Министры завидовали друг другу, спорили из-за старшинства и выступали с пустыми речами. Коммерсанты продавали воздух и подсчитывали иллюзорные прибыли. Легкомысленные женщины критиковали честных жен, а честные жены завидовали легкомысленным женщинам, все же называя их потаскухами. Повесы вспоминали свои прошлые победы, перечисляя имена и достоинства. Рабочие проклинали фабрикантов.

Фабриканты жаловались, что их не понимают и не поддерживают рабочие. Абсолютно все от первого до последнего, от богатого до бедного, от малого до старого цеплялись за воспоминания. Лишившись родины, они не могли забыть о ней. Потеряв свою былую оболочку, они мечтали о ней. Они прилежно, с какой-то комической серьезностью, продолжали играть тех людей, которыми когда-то были. А так как они теперь были бестелесны, то моральное их уродство было еще заметнее.

В один прекрасный день Фердинан Пастр, потеряв контроль над собой, начал орать посреди улицы:

– Луизетта! Луизетта! Ты не могла меня забыть! Я хочу тебя увидеть! Я хочу с тобой поговорить! Почему к столику вызывают одних и тех же? Там спросом пользуется только всякая дрянь! Хватит привилегий! К черту привилегии! Вставайте, угнетенные, забытые, все, кем пренебрегают! Вставай, проклятьем заклейменный!

Призраки-консерваторы, возмущенные этим скандалом в общественном месте, набросились на Фердинана Пастра, и Кассаню пришлось отбивать своего несчастного друга у разъяренной толпы. Когда они подходили к площади Согласия, странная дрожь пробежала по телу Фердинана Пастра. Он схватил друга за руку и хрипло пробормотал:

– Ты ничего не слышал?

– Слышал! – вскричал Кассань. – На этот раз тебя действительно вызывают. О тебе вспомнили. Поспеши. Удачи, старина!

И в то же мгновение Фердинан Пастр перенесся в салон Бумино. Ставни были закрыты, шторы опущены. Крохотную комнатку, захламленную арабскими пуфами, чеканными медными блюдами и шкурами животных, освещал лишь ночник. В центре стоял столик для верчения на гнутых ножках. За столиком сидели Бумино, сверкающий своей лысиной и с растрепанной бородой, жирная бледная Гортензия, изысканная Луизетта с кошачьей мордочкой и какой-то молодой человек с блестящей черной шевелюрой и спокойным победоносным взглядом.

Сердце Фердинана Пастра бешено колотилось в груди. Оно замирало от радости. Как начинающий актер, он рассматривал публику и взвешивал свои шансы на успех: «Хотя бы все было хорошо! Хотя бы они захотели меня пригласить еще раз!»

Но Бумино уже солидно вещал в бороду:

– Дух, если ты здесь, стукни три раза!

– Я боюсь, – пролепетала Луизетта.

– Успокойтесь, – сказал незнакомый молодой человек. И не разрывайте цепь. Я больше не чувствую ваш мизинец своим мизинцем.

Фердинан Пастр обеими руками схватил столик и с облегчением заметил, что столик поддался. Один, два, три удара звонко раздались в торжественной тишине.

– Он здесь, – прошептала Гортензия, хватаясь за свою мощную грудь.

Фердинан Пастр обрадовался смятению, вызванному его появлением.

К нему относились здесь с уважением. Его боялись. Никогда при жизни он не испытывал по отношению к себе такого лестного внимания.

– Дух Фердинана Пастра, если ты иногда вспоминаешь о нас в безбрежном царстве, где ты сейчас обретаешься, стукни один раз.

Фердинан Пастр поднял столик и стукнул им о пол.

– Он вспоминает о нас, – сказала Гортензия. – Он сейчас подле нас!

– А мы его не видим! – вздохнула Луизетта, складывая сердечком свои розовые губки.

Фердинану захотелось ее поцеловать. Она была чертовски хороша, еще прелестнее, чем раньше, со своим очаровательно накрашенным треугольным личиком и огромными зелеными пронзительными и лживыми глазами.

Нервы четырех спиритов были напряжены до предела. От тишины в салоне кружилась голова.

– О чем ты думаешь, дух? – спросил Бумино. – О мужчине? Тогда дай знать одним ударом.

Если о женщине – двумя.

Не успел Бумино договорить, как Фердинан ответил двумя решительными ударами.

– Он думает о женщине! Он думает обо мне! – всхлипнула Гортензия.

– Дух, может быть, ты назовешь имя этой женщины? – сказал Бумино.

Призрак повиновался, и врач стал переводить его послание, по мере того как Фердинан его отстукивал:

– Тринадцать ударов «Л», двадцать один – «У», десять – «И». . .

– Что это значит? Ты с ума сошел, Фердинан? – обиделась Гортензия.

Ресницы Луизетты затрепетали. Она пролепетала:

– Я тоже ничего не понимаю, очевидно, какие-то помехи в связи. . .

Но Фердинан Пастр вдруг прекратил свой труд. Его взгляд приковало странное зрелище.

Под столиком нога молодого человека поглаживала щиколотку Луизетты. А Луизетта сидела так, будто ничего не происходит. Затем несчастный коснулся коленом колена Луизетты, а та лишь опустила глаза. Затем рука мерзавца сползла со столика и опустилась на круглое бедро.

И Луизетта покраснела и прошептала:

– Жорж. . .

Ну это уже слишком! Потеряв голову, Фердинан Пастр приподнял столик и с силой опустил его сопернику на ноги. Соперник заорал и бросился в другой конец комнаты. Луизетта бросилась за ним и, прильнув к его груди, визжала, будто ее режут.

– Что с вами, – спросил Бумино.

– Сто. . . столик отдавил мне ноги! – пробормотал Жорж. – Этот Пастр. . .

Он не успел закончить фразу. Столик, вырвавшись из рук Бумино, наклонился и, устрашающе скрипя, переваливаясь с ножки на ножку, пошел в наступление.

– Осторожно! Осторожно! – закричал Бумино.

Слишком поздно. Столик уже приобрел вертикальное положение и бухнулся на ноги обольстителя.

– Мерзавец! – вскричал Жорж, глядя на раздавленные ботинки.

– Доктор! Сделайте что-нибудь! – умоляла Луизетта.

– Это немыслимо! – бормотал врач. – Впервые в моей практике!.. Дух, я призываю тебя к порядку. . .

Но столик попятился, взял разгон, оторвался от пола и ринулся в атаку ножками вперед. Жорж ухватил китайскую вазу и запустил ею в противника. Ваза со звоном разбилась об обезумевший столик. Та же судьба постигла и вторую вазу. За ними последовали два подсвечника из саксонского фарфора. Ковер был усеян осколками фарфора, поломанными цветами и залит водой. Мокрый, исцарапанный, дикий, столик неумолимо приближался. Жорж схватил его за ножки. Но столик резко вырвался и выплюнул ему в лицо ящик с крупной мелочью, катушками ниток и фольгой от шоколада.

Луизетта билась в истерике на кушетке. Гортензия бегала вокруг, вопя: «На помощь! На помощь! Нас прокляли!» Но вот она споткнулась об один из арабских пуфов и упала на колени перед Бумино. Щеки ее тряслись, как холодец. Волосы лезли в глаза. Она в молитве сложила руки и рыдала:

– Фердинан, уймись!.. Фердинан, мне стыдно за тебя!.. Ну погоди, Фердинан!.. Мы тебя больше не вызовем!..

Глухой к этим угрозам, столик танцевал по комнате. И когда красавец Жорж попытался добраться до двери, столик догнал его несколькими элегантными движениями и, как таран, пригвоздил к стене. Жорж икнул и раскрыл рот, будто собирался вырвать. Воспользовавшись замешательством, столик еще раз ударил его прямо в лицо. Молодой человек выплюнул два зуба, испустил утробный крик и схватил старинный ятаган, висевший на стене.

Ужасающая дуэль началась. Столик нападал вперед столешницей. Сабля с силой рубила дерево. Вот одна за другой отлетели ножки. Железные; скобы, укреплявшие их, разбили стекла. Осталась одна столешница, похожая на щит, вся изрубленная, во многих местах потрескавшаяся, но не отступавшая. Она катилась, подпрыгивала, наносила удары, принимала удары, делала притворные ходы, скользила на ребре, кружась, взлетала к потолку, планировала, останавливаясь в нескольких сантиметрах от земли, била Жоржа по израненным коленям и затем с триумфом снова взлетала. Борьба была бесконечной, фантастической до такой степени, что Луизетта предпочла потерять сознание.

– Выльем керосин на столик! И подожжем! – кричал Бумино. – Осторожно, справа!..

Слева!.. Берегись!.. Он заходит сверху!..

Оглушенный, полуослепший, окровавленный Жорж устало отбивался. Фердинан Пастр остановился передохнуть перед последней атакой. В эту минуту он заметил Гортензию, которая подкрадывалась к нему сзади. Она подползала на коленях. Глаза горели животной ненавистью. Конечно, она хотела схватить столик сзади и уменьшить силу удара. Фердинан Пастр резко обернулся и опустил столик прямо на голову жене. Она рухнула на пол, даже не крикнув.

Бумино расставил руки и прохрипел помертвевшим голосом:

– Убийца!

В общей суматохе Жорж пробрался к двери и улизнул в коридор.

– Дух Фердинана Пастра!.. Ты. . . Ты убийца!.. Люди тебя проклинают!.. Спириты тебя изгоняют криком «Аро!» – твердил Бумино.

Протрезвев, Фердинан Пастр с удивлением смотрел, как врач наклонился над Гортензией, положил ее голову себе на колени. Лысина Бумино сверкала ярко, как луна. Он простонал:

– Гортензия! Это невозможно! Вы. . . вы живы?.. Он тебя не убил, моя птичка?..

Фердинана Пастра будто током ударило, он хотел сейчас же убежать. Но уже голос Гортензии, ужасный, не терпящий возражений, неземной, звучал в его ушах: 149 Анри Труайя Столик для верчения – Ну вот, я снова с тобой, Фердинан!.. Теперь мы больше никогда не расстанемся!.. Но ты мне сначала объяснишь!..

Умопомрачение

У мадемуазель Паскаль было высохшее лицо со впалыми щеками, острым носом и круглыми глазами злой птицы. Волосы, сдобренные перхотью, она стягивала на затылке в большой узел, который угрожающе топорщился шпильками. Единственными украшениями, которые мадемуазель Паскаль позволяла себе к темным шерстяным платьям, были брошь-барометр и бутон розы, вырезанный из какого-то зернистого материала, который она называла «афганским камнем». Плечи она кутала в зеленую шаль с потрепанной бахромой. Движения ее были резки и скупы. Пожимая вам руку, она будто поворачивала ручку двери.

На протяжении пяти лет мадемуазель Паскаль была заместителем начальника одного из подразделений юридического отдела в Министерстве международных депозитов и подъездных путей. Подлые закулисные интриги задержали ее продвижение по службе, и теперь она знала, что здесь на справедливость ей рассчитывать не приходится. Здесь только и выжидали случая, чтобы ее унизить. Вместо трех или четырех деловодов, на которых ей дает право объем работы, выполняемой на этом участке, ей прислали лишь одного, да и тот какой-то несуразный новичок, который не в состоянии справиться с тем, что от него требуется.

Фамилия деловода была Гюш. Бледное лицо кретина с выпуклыми губами. Под носом, из которого все время течет, будто наклеенная марка, рыжие усики. Мадемуазель Паскаль говорила о нем: «Дурак, но хотя бы не пьет. Если бы он пил, от него несло бы перегаром, не правда ли?» И она относилась к нему с холодным презрением, общаясь только по работе, поручала самые скучные дела, а когда ей надоедало его присутствие, отсылала за какиминибудь ведомостями в другой конец учреждения. А в довершение всего их столы стояли один напротив другого, а комнатка была такой тесной, что расставить их по-другому было невозможно.

Как-то мсье Гюш опоздал на работу на целый час. Он пришел чисто выбритым, в новом костюме и, по-детски стыдливо улыбаясь, мягко извинился:

– Сегодня после обеда открывается вторая выставка «Художественной группы сотрудников Министерства международных депозитов и подъездных путей». . .

Он перевел дыхание, а затем, потупив глаза, сложил губы бантиком и проронил с выражением красавицы, уронившей носовой платочек:

– Там есть и мои работы.

Открытие это поразило мадемуазель Паскаль и какое-то мгновение на лице у нее боролись минутный интерес, издевательская жалость и гнев на подчиненного. В конце концов она сказала:

– Хорошо, посмотрю.

– Это на первом этаже. Фойе Гамбетта. Вход свободный.

– Хорошо! Но есть более неотложные дела. Вы ответили на уведомление господина Кардебоша по поводу оплаты расходов на осуществление специального надзора со стороны руководства Национального общества паритетной жилищной комиссии?

Господин Гюш, будто подкошенный, упал на стул перед своим письменным столом; а мадемуазель Паскаль поздравила себя с тем, что так решительно вернула его к служебным делам.

В пять, закончив важную работу, она решила посетить художественную выставку на первом этаже. Мадемуазель Паскаль расправила шаль, пригладила прическу и величественно выплыла из

кабинета, словно корабль, выходящий в открытое море.

Вторую выставку «Художественной группы» устроили в просторном, холодном и сером зале. Уже с порога вас поражала торжественная молитвенная тишина, будто в часовне. Посетителей было мало, они едва слышно шептались между собой и долго не задерживались.

Мадемуазель Паскаль доброжелательно приблизилась к картинам.

Выставка этих произведений искусства могла только успокоить администрацию относительно настроений персонала. Здесь были полотна, изображавшие оранжевые, густые, как сироп, закаты, зеленые волны, бьющиеся о черные скалы где-то на побережье Бретани, поля белых, будто выжженных перекисью водорода хлебов, кое-где испещренных красными маками. Была там также масса котят в корзинках с глазами, как пуговицы на ботинках, розово-голубых козочек, кроликов с розовыми носиками и цветов с курчавыми лепестками на фоне штор цвета старого потемневшего золота. Все эти картинки были красивы, успокоительны, безопасны. Мадемуазель Паскаль чувствовала себя точно в таком же согласии со своей совестью, как и те сотрудники, которые истратили свой досуг на такое приличное занятие.

Она уже заканчивала осматривать выставку, когда ее поразил стенд с четырьмя большими полотнами. На них были изображены голые женщины. Одна из распутниц, рыжая девка с белым, как сметана, телом валялась на коврике перед кроватью. Другая, оседлав стул, курила сигарету, вперив в пустоту профессионально похотливый взгляд. Третья, спиной к зрителю, сладко потягивалась перед зеркалом. Четвертая боязливо пробовала ногой воду в эмалированном тазике. Оголенные тела были выписаны подчеркнуто натуралистично с таким явным неприличием, что смотреть противно. Хотя бы какой-нибудь спасительный кружевной шарф, или целомудренное облачко, или веточка с искусно расположенными листиками. А то ведь совершенно голые!

Сгорая от смущения, мадемуазель Паскаль подошла поближе, чтобы узнать фамилию художника. Она прочитала ее и чуть не упала в обморок от неожиданности: под этой мерзостью стояло «Гюш»!

Она вернулась в кабинет, ее нервы были на пределе. Как ей поступить? Может, похвалить деловода? Но тогда получится, что она приветствует его омерзительные картины. А может, возмутиться? Но кто дал ей на это право? Молчать? Она остановилась на последнем.

Но на следующий же день для нее начались настоящие мучения. Что говорят о ней у нее за спиной? Очевидно, сочувствуют, что ей приходится по восемь часов в день сидеть наедине с безумцем, рисующим такие неприличные вещи! Хотя бы не смеялись над ее несчастьем!

Возможно, уже и анекдот придумали о парочке «Паскаль-Гюш»? «Ну как же, она там не скучает с таким парнем!» Мысль эта для нее была нестерпима.

Теперь мадемуазель Паскаль новыми глазами начала смотреть на своего помощника. Как это раньше она не заметила подозрительной печати распущенности на его лице? Бледный вид, мутные глаза, разве это не свидетельствовало о тяжелом похмелье после ночных разгулов, дрожащие руки – о сексуальных излишествах! А заикание – изъявление настоящей страсти.

Ах! Она представляла его в мастерской, забитом арабскими пуфами, кадильницами, в которых воскуряются ароматические травы, и мехами, – он подправляет позу голой натурщицы и мимоходом гладит ее. А вкусив мерзкой радости с какой-то вакханкой, приходит на работу, садится напротив нее, изучает дела и мысленно еще переживает всю ночную мерзость.

Исполненная такими мыслями, мадемуазель Паскаль чувствовала липкий взгляд господина Гюша, останавливавшийся на ней, прикипавший к ней, прогуливавшийся по всей ее фигуре, будто слизень. Этот человек раздевал ее взглядом. Он смотрел на нее, как на одну из своих натурщиц.

Горячая волна била в лицо. Она ежилась на стуле, вставала, выходила в коридор. Но стоило вернуться, как мутные зрачки ее помощника снова блуждали по ней, и ей снова казалось, будто он берет над ней верх, судит, оценивает, словно рабыню на восточном базаре. «Рано или поздно, – думала она, – он попробует обесчестить меня».

И до конца рабочего дня она дрожала как осиновый лист.

Однажды утром в их комнату зашли двое рабочих из административно-хозяйственной 153 Анри Труайя Умопомрачение части.

– Мсье, мы принесли вам тахту, которую вы заказывали в материальной части.

У мадемуазель Паскаль чуть не остановилось сердце. Ну и самоуверен же этот негодяй!

Она тайком взглянула на него. Еще и притворяется удивленным, уверяет, что ничего не заказывал! Правда, расспросив, они выяснили, что, действительно, рабочие ошиблись, и тахту вынесли. Но

мадемуазель Паскаль не могла успокоиться до самого вечера.

С этого времени бедняжка не знала ни минуты покоя, только и думала, застывая от ужаса:

«Сегодня или завтра?» Ей казалось, что господин Гюш за своим столом напрягается, будто пантера перед прыжком. Иногда он просил ее передать «рубашку» – папку, это ее приятно смущало. Такие слова, как «отказ в кредите», «заявка на поставку», раздваивались у нее в голове и приобретали новый волнующий смысл, о котором она никогда не догадывалась.

Мадемуазель Паскаль запустила работу. Она больше не осмеливалась вычитывать деловоду.

Она чахла, со страхом ожидая неминуемого. Но господин Гюш никак не мог отважиться. Он играл с ней, как кот с мышью. Наконец, позвав на помощь всю свою храбрость, она спросила:

– Вы пишете с натуры?

Он прищурил глаза с гримасой сатира и ответил:

– Большую часть времени. Но бывает, я встречаю интересную модель, тогда рисую по памяти!

Без сомнения, он «рисовал ее по памяти». Наверное, ящики его стола забиты рисунками, где она изображена в таком же виде, как и те распутницы на выставке. Кто знает, он может их выставить на следующей выставке! Тогда все Министерство международных депозитов и подъездных путей увидит ее в таком виде, в каком ее никто не видел. Этого унижения ей не пережить! – думала она. Но в то же самое время какая-то неприличная радость шевелилась у нее в сердце. Вот так время проходило, и она все больше привыкала к произношению мсье Гюша. Итак, живя рядом с такой дрянью, и сам можешь заразиться. Ночью ей снились распутные сны. Ей мерещились сцены буйного разгула среди папок в министерстве. Он обращался к ней на «ты». Она, как куртизанка, гладила его волосы. Мадемуазель Паскаль просыпалась в жару и томлении. Ее приводило в отчаяние то, что он не торопился открыться. Она же спешила окунуться вместе с ним в океан бесчестья.

И вот в один прекрасный день она пришла на работу расфуфыренная, в светлом платье.

Сладким голоском она обратилась к господину Гюшу:

– Вам было бы приятно нарисовать мой портрет?

– Я никогда не рисую портреты, – ответил он.

Она совсем обмякла и обескураженно пробормотала:

– Да, я знаю: вы специалист по натурщицам.

Но господин Гюш покачал головой:

– О нет! – сказал он. – Это мой коллега Рюш из Генерального секретариата – автор тех натурщиц, которых вы видели на выставке. – И он добавил, по-детски улыбаясь: – А я рисую котят.

Ошибка

Я никогда его не видел. Я ничего не знал о его личной жизни и о его характере. Но одних его статей было достаточно, чтобы я искренне восхищался им. Постоянный читатель «Габиолипонтского голубого листка», я нетерпеливо ждал субботнего номера газеты с его статьей на первой странице под лаконичным и задиристым заголовком: «Сегодня – Адриен Лакель». Нужно сказать, что не только я, но и все габиолипонтцы по субботам с таким же нетерпением ожидали его статьи.

Начинал господин Лакель с малого. Помимо воли улыбнешься, подумав, что этот великий муж, популярность которого теперь ни у кого не вызывает сомнений, так долго публиковал в провинциальной газете статистические сведения об изменениях в количестве населения департамента за последнюю неделю. Просто ради интереса я сохранил несколько старых номеров «Габиолипонтского голубого листка», где на последней странице между рекламой кинотеатров и бакалейных лавок небрежно втиснуты, будто что-то совсем ничтожное, первые таблицы смертности за подписью Адриена Лакеля.

Эти многоэтажные таблицы были украшены фигурными скобками и обозначены звездочками. В левой колонке под рубрикой «Причина смерти» значилось: несчастные случаи, самоубийства,

убийства, старость, болезнь, разное. Соседние колонки носили названия: «Количество умерших в кантоне по полу: а) мужчины; б) женщины»; «Количество умерших по национальности».

Как-то господину Лакелю вздумалось добавить к этому слишком общему списку еще колонку прогнозов на следующую неделю. Внизу колонки на всякий случай было оговорено, что в последних цифрах «возможны изменения».

Читателей заинтересовали эти еженедельные прогнозы. Нашлись и такие, кто ставил на Лакеля или против него. Некоторые пытались вывести его на чистую воду. Но господин Лакель никогда не ошибался. Его прогнозы один к одному сходились с официальной статистикой в конце недели. Можно было подумать, будто в начале каждой недели он давал самые суровые распоряжения судьбе. Вскоре он даже перестал оговаривать, что за свои хмурые прогнозы ответственности не несет. Теперь газета печатала: «Мои прогнозы на первую неделю апреля – 135 смертей». И больше ничего.

Я помню тот сенсационный выпуск «Габиолипонтского голубого листка», в котором цифра умерших за неделю, количество которых колебалось обыкновенно между 115 и 150, вдруг подскочила до 201. Представляете, какая была паника! После восьми вечера никто носа на улицу не высовывал. Матери ни на шаг не отпускали от себя детей. Муниципалитет расставил дежурных на каждом перекрестке. Все убеждали себя, что это, очевидно, какая-то ошибка в подсчетах или опечатка.

И действительно, в субботу утром усовершенствованные тотализаторы «Габиолипонтского голубого листка» показывали незначительную цифру умерших – 125, на 76 меньше, чем прогнозировал господин Лакель. «Поверьте мне, так много не умрет за несколько часов», –

уверял господин Велюр, директор похоронной службы.

Но в ту субботу, в 23 часа 45 минут экспресс потерпел крушение возле Габиолипонтского вокзала. . . 76 погибших.

Господин Лакель стал местной знаменитостью. Им восторгались и одновременно побаивались. Подсознательное чувство самосохранения вынудило габиолипонтцев заискивать перед ним. Когда на попытки парижских газет и страховых компаний перетянуть его к себе господин Лакель ответил, что никогда не бросит газету, в которой начинал, что тут началось! В его честь закатили огромный банкет. Среди приглашенных был и я. В тот день мне наконец выпала возможность собственными глазами увидеть Габиолипонтского кумира.

Господин Лакель был бледный, подтянутый мужчина со скупыми жестами. Сухое, будто 156 Анри Труайя Ошибка маца, лицо свидетельствовало об изнурительных часах расчетов при электрическом освещении. Его черные глаза смотрели мимо собеседника, будто рассматривая что-то невидимое другим. Каждая морщинка светилась умом. Его длинный, белый, безукоризненно прямой нос резко обрывался над тонкой полоской усов, словно отделявшей числитель от знаменателя. В нем чувствовалась какая-то притягательная, простая и немного властная сила, которая произвела глубокое впечатление на меня и на всех присутствующих. Когда к нему обращались, он давал чрезвычайно четкие и простые объяснения, ссылаясь на авторитет ученых, фамилии которых нам ни о чем не говорили.

– Я не позволяю никаких свободных допущений в своей работе. Мои выводы базируются на применении существующих правил. Кто-то другой на моем месте. . .

То ли кто-то сказал ему, что я увлекаюсь его изысканиями, а, может, он сам заметил, с какими уважением и интересом я ловил каждое его слово. Я до сих пор не знаю. Как бы там ни было, но когда все встали из-за стола, он подошел ко мне и дружески похлопал по плечу:

– У вас вид делового человека! – сказал он.

– Насколько это возможно, – пролепетал я.

– Без сомнения, вы увлекаетесь статистикой. Это великая наука. Слава Богу, она уже миновала примитивную эмпирическую стадию своего развития. Она не ограничивается больше простой констатацией; она предугадывает. Да, да, я как раз работаю над очерком по прогнозной статистике. Мы могли бы обсудить это подробнее, если эта тема вас хоть немного интересует. Заходите ко мне как-нибудь вечером между восемнадцатью тридцатью и двадцатью часами.

– Простите, учитель, но вы меня совсем не знаете!

– Я вас предвижу.

Меня охватили такая неудержимая гордость и благодарность, что я не успел его как следует поблагодарить. Мы договорились встретиться на следующий день.

Господин Лакель жил в скромной холостяцкой квартире на одной из малолюдных улиц Габиолипонта. Он пригласил меня в кабинет, захламленный книгами и бумагами. Стены были сплошь покрыты графиками, разрисованными акварельными красками. Кривые смертности взлетали кверху сквозь сетку цифр и фамилий. Синусоиды рождаемости, будто змеи, извивались по пестрым столбикам годов. Зигзаги женитьб колебались, будто график температуры, между двумя параллелями. А в глубине комнаты виднелась черная доска, сплошь испещренная какими-то многоэтажными уравнениями со сложением, вычитанием, умножением и делением.

– Это моя лаборатория! – объяснил господин Лакель, протягивая мне испачканную мелом руку.

Я искренне позавидовал этому человеку, который живет среди этих волнующих изображений человеческой судьбы. В каждом уголке комнаты я наталкивался на памятник чьим-то старательно пронумерованным, потерянным или счастливым судьбам, И уже мои мысли летели на крыльях мечты. Я представил себе тех несчастных, смерть которых заставила подняться вверх эту чернильную черту, далекие эпидемии, которые увеличили площадь этого желтого квадрата. . .

– Садитесь, друг мой, – пригласил господин Лакель. – Я сейчас приготовлю чай.

Я уже хорошо и не припоминаю, о чем именно мы говорили в тот раз. Но будто сейчас вижу, как он в зеленоватом домашнем халате с расширенными книзу рукавами пальцем водит по графикам, висящим на стене:

– Здесь собрано все. Все сводится к этому. Крепко сжатые лепестки цветка, которые приходится разворачивать по одному.

– А вы не боитесь подражателей?

– Если кто-то попробует мне подражать, я просто буду презирать его и не буду обращать внимания. Но если кто-то сможет пойти дальше меня, я благодарно склоню перед ним голову.

Вскоре после нашего разговора «Республиканский листок» открыл новую рубрику прогнозной статистики, аналогичную рубрике «Габиолипонтского голубого листка». Таблицы подписывал Фортиш. Я несколько раз встречал этого типа в «Почтовом и американском кафе», где он запивал ежедневным аперитивом желудочные таблетки. Это был увалень с розовым, поросшим белесым пушком, будто новая промокашка, лицом и глазами цвета лакрицы. Ни по образованию, ни по характеру он не подходил для того дела, за которое взялся. А впрочем, поединок между Лакелем и Фортишем будоражил общественное мнение. Жители Габиолипонта разделились на два вражеских лагеря. У каждого из них были свои преданные приверженцы.

На стенах появились язвительные надписи: «Лакель – дурак; Фортиша – на виселицу!»

Очень скоро Фортишу пришлось признать свое поражение. Прогнозы господина Лакеля всегда подтверждались, в то время как цифры Фортиша непременно оказывались ошибочными. Приверженцы Фортиша перестали ему доверять. Однажды, утоляя жажду в «Почтовом и американском кафе», я был свидетелем, как Фортиш вскричал в присутствии нескольких журналистов:

– Ничего странного нет в том, что он так точно предвидит количество смертей, ведь он сам их доводит до полного счета, если нужно.

Эти ужасные слова были подхвачены. Сначала их считали просто остротой. Но незаметно выражение это сделало свое подлое дело. Даже общаясь с друзьями господина Лакеля, я начал чувствовать некоторую неловкость, и это меня весьма встревожило.

– Вы же не верите этой болтовне, правда?

– Да нет. . . нет. . . конечно. . . Хотя, согласитесь, странно все же, что прогнозы Лакеля всегда безупречно точны. Это не только странно, но здесь еще что-то не так. . . Вот если бы он ошибся хотя бы раз! А то ведь такая необычная точность вызывает подозрения. . . Конечно, он сам не действует: мне говорили, что существуют шайки преступников, которые охотно выполняют такую работу, «доводят до полного счета», по выражению Фортиша!

Мне было больно чувствовать, как вокруг моего друга постепенно нагнетается мрачная атмосфера недоверия, страха, отвращения, будто он действительно был повинен во всех тех смертях, которые прогнозировал.

Однажды вечером в сквере Дерулед я услышал, как какая-то мамаша пугала свою маленькую капризу:

– Если не будешь послушной, мсье Лакель занесет тебя в свой список!

И до чего же непостоянна популярность! Не прошло и двух месяцев, а уже от человека, которого недавно так бурно прославлял весь Габиолипонт, бегут, как от прокаженного. Целая семья, жившая с ним по соседству, выехала. В один прекрасный день на двери его дома я увидел написанное мелом слово «Убийца».

Ну, это уж слишком! Я решил поговорить с господином Лакелем. Когда я зашел к нему, он со страдальчески-счастливым видом как раз разбирал ругательные письма, – Они сами не ведают, что творят, – пожаловался он.

158 Анри Труайя Ошибка – Знают или нет, а так продолжаться не может! Нам сейчас важно немедленно прекратить разговоры, реабилитировать вас, посрамить ваших врагов!

Он с достоинством пожал плечами:

– Я не знаю, как это сделать.

– Очень просто: вам нужно лишь раз ошибиться в ваших прогнозах. Именно точность ваших расчетов и беспокоит читателей. Одна-единственная ошибка вернет ваш былой авторитет.

Господин Лакель возвел глаза к потолку, развел руками с выражением милой беспомощности и сказал эти ужасные слова:

– Я не могу ошибиться!

– Что вы говорите! Итак, если вместо того, чтобы рассчитывать количество смертей на следующую неделю, вы придумаете какую-нибудь цифру наобум. . .

– Судьба приспособится к этой цифре!

Я смотрел на него в каком-то оцепенении.

– Вы считаете, что я не пробовал ошибаться? – продолжал он глухим голосом. – Я только этим и занимаюсь! Я всегда только этим и занимался! Конечно, я не могу назвать какуюто смехотворную цифру, к примеру, пятьдесят умерших, так как читатели сразу заподозрят обман, но всякая другая цифра, более-менее правдоподобная, немедленно подтверждается фактами. Меня преследует какая-то неумолимая случайность. Я уже и сам не имею власти над собой. Я уже больше не прогнозирую. Я приказываю. Теперь вы поняли весь ужас моего положения?

Он горько улыбнулся, упал на стул и закрыл худыми руками лицо.

– Горе мне! – снова застонал он. – Я хотел бы быть беззащитным простофилей, как каждый из вас. Я хотел бы избавиться от этого проклятого дара провидца. Я хотел бы снова стать таким, как все!..

Смеркалось. Линии на графиках сливались, и казалось, будто со стен смотрят какие-то уродливые лица в морщинах фиолетовых черточек, разрисованные цифрами. В углу собственный тотализатор господина Лакеля показывал длинный язык из белой бумаги. На черной доске знаки сложения казались кладбищенскими крестами в миниатюре. Меня охватило какое-то странное беспокойство.

– Постойте, – пробормотал я, – надо найти какой-то выход. Может. . . а что, если бы вы в прогнозе смертей на следующую неделю дали не свою, а мою цифру? Ведь довлеющее над вами колдовство не имеет силы надо мной! Я обязательно ошибусь. . .

– Кто знает!

– Но ведь ничего не стоит попробовать!

Он улыбнулся:

– Говорите вашу цифру!

– Сто восемнадцать, например!

Он внес это число в записную книжку, сокрушенно качая головой.

Срок кончался в следующую субботу, в полночь. Уже с восьми вечера я был в редакции «Габиолипонтского голубого листка», где тотализатор каждый час выдавал нам сведения о последних случаях смерти в департаменте: «114. . . 115. . . » В тревожном оцепенении я не сводил 159 Анри Труайя Ошибка глаз с неумолимого аппарата. Доброе имя, само будущее господина Лакеля были поставлены на карту в зловещем соревновании смертей. Я представлял, как он у себя в кабинете, как и я, затаив дыхание, следит за сведениями, надеясь на ошибку, а может, и вымаливая ее. К одиннадцати часам количество смертных случаев составляло 116, Рядом со мной журналисты делились предположениями:

– Не может быть, чтобы всего за час умерли сразу двое!

– Но такое уже бывало!

– Я считаю, что на этот раз Лакель попал пальцем в небо!

– Но старая обезьяна хитрее, чем ты думаешь!

– Фортиш предсказал сто семнадцать.

Мне было тяжело слушать. Я встал. И уже хотел выйти, когда кто-то крикнул:

– Сто семнадцать!

У меня перехватило дыхание, я прислонился к стене и зажмурил глаза: «Хотя бы до полуночи больше никто не умер! Хотя бы до полуночи больше никто не умер! – повторял я мысленно. – Или пускай уже сразу двое. . . »

Больше никто не умер. Без пяти минут двенадцать тотализатор все еще показывал цифру 117. Не помня себя от радости, я бросился к господину Лакелю. Перед его домом я столкнулся с Фортишем, который как раз собирался заходить.

– Видели? Он ошибся! – смеялся этот несчастный.

– Конечно же, – ответил я, – но эта ошибка далась с большим трудом.

Мы вместе поднялись по лестнице. Дверь в квартиру была открыта. Мы зашли в кабинет. Часы на камине показывали полночь. Тотализатор в углу остановился на 117. Пол был устлан бумагами. Какая-то грозная тишина повисла над мебелью. Вдруг слух нам резанул звук выстрела. Мы опрометью бросились в спальню. Господин Лакель лежал поперек кровати в расстегнутой рубашке с мертвенно бледным лицом. Изо рта и из носа текла кровь.

Револьвер валялся возле кровати на коврике.

– Застрелился! – вскричал я. – Бегите скорее в полицию! Приведите врача. . .

Фортиш чесал в затылке.

– Сто восемнадцать! – констатировал он. – Ровный счет, черт возьми, и как красиво исправил ошибку!

Филантроп

Уже на протяжении четырех поколений все Дюпон-Марианны были филантропами. Как и его отец, дед и прадеды, Ахилл Дюпон-Марианн, последний отпрыск этого древнего рода, любил своих ближних и старался облегчить их участь. По правде сказать, он был еще более щедрым, чем кто бы то ни было из его предков, так как в отличие от них не женился. А ведь все знают, что активный филантроп должен быть холостяком. Это необъяснимое, но тем не менее необходимое условие благородного призвания. Никто никогда не узнал, то ли любовь к филантропии укрепила Ахилла в решении остаться холостяком, то ли его холостяцтво привило ему любовь к филантропии. Во всяком случае Ахилл Дюпон-Марианн отдавался филантропии неистово, исступленно, так отдаются пороку. Он нуждался в несчастных, которых он мог бы спасать так же, как другие нуждаются в женщинах, чтобы их губить.

После смерти родителей Ахилл Дюпон-Марианн жил в фамильном замке в департаменте Луара-и-Гаронна, в нескольких километрах от Браскуле-Лезубли. Замок был большой, выстроенный из местного розового известняка. Винтовая лестница вела к парадному крыльцу и большой центральной двери, увенчанной замком свода эпохи Возрождения и обрамленной ионическими пилястрами с четырьмя группами плачущих львов. В замке были зал тысячи гвардейцев и зал флейтистов, зал ожидаемых принцев и зал потерянных стремен, а также множество потайных лестниц, голубых и сиреневых будуаров, вертящихся башенок и застенков. В столовой мог разместиться целый манеж, да еще художнику, оформлявшему ее, взбрело в голову разукрасить ее в стиле китайского декаданса фризом из розовых лягушек на фоне увядших желтых нарциссов. Спальня Ахилла Дюпон-Марианна была облицована мрамором из Иудеи и Флоренции. Его кровать, на которую поднимались по трем ониксовым ступенькам, инкрустированным антильским перламутром, служила ложем еще Генриху IV, Людовику XIII, Наполеону I и Феликсу Фору, как об этом свидетельствовала небольшая табличка, укрепленная в ее изголовье. Окна спальни выходили в парк, спланированный Лекотром, в котором благородно сочеталась безупречность искусства с

безупречностью природы. Там были кусты, подстриженные в форме кофейника, статуи Венеры и Дианы резца Реноделя и Вуазена, беседки с музыкальными флюгерами, пруды, обрамленные извивающимися сатирами, озеро с золотыми рыбками и настоящим островом, гондолой и гондольером, выписанным из Венеции, большой и малый водопады, действующие по воскресеньям и по праздничным дням, а также целый сельский поселок, населенный ручными овцами и поющими пастухами. У Ахилла Дюпон-Марианна было пять сотен служащих, работавших в поместье, а так как он был филантропом, то хорошо им платил и никогда не проверял, как они работают. Поэтому, как это часто случается, слуги тем больше усердствовали в работе, чем меньше ими руководили.

Здесь было целое племя садовников, целое племя каменщиков, племя слесарей, племя поваров и племя прачек, племя смотрителей погребов, племя лакеев и горничных. Все они жили в нарядной деревне, недалеко от замка. Домики в ней были опрятны и утопали в цветах.

У каждой семьи было пианино и холодильник. На крышах ворковали голуби. Двери были украшены трогательными надписями:

«Я объездил всю Европу, Но только здесь обрел приют свой.

Где еще возможны такие радость и покой, Как не в объятьях филантропа?»

Или еще:

«Друзья мои, чтоб счастье обрести, Привязывайтесь, как лианы, 162 Анри Труайя Филантроп К скромному и сильному стволу Ахилла Дюпон-Марианна».

Каждый день Ахилл Дюпон-Марианн навещал село своих счастливых служащих. На рассвете, до начала работы, обязанные ему служащие видели, как он появляется в начале главной улицы, и женщины открывали двери, а дети с радостными криками крутили свои трещотки.

Ахилл Дюпон-Марианн шествовал розовый, упитанный, мягкий, с улыбкой на устах и руками, сложенными на животе. На голове у него была бархатная ермолка цвета свежего укропа, облачен он был в халат из гобеленовой ткани, изображавшей сцены лосиной охоты среди ветвей кораллов. По дороге он напевал:

«Просыпайтесь, я пришел Возвестить вам солнечный день.

Открывайте сердца, открывайте двери И скажите мне: «Добрый день!»

В пасмурную погоду он шел под зонтиком и вторую строку четверостишия заменял на такую:

«Возвестить вам дождливый день».

Он заходил в дома, трепал малышей по щекам, делал комплименты матерям, шутил с мужьями и уходил в блаженном настроении. Он возвращался в замок с сердцем, преисполненным тихой музыки. Он получал странное вознаграждение от этих людей, которые благодаря ему жили в комфорте и честности. Он как бы купался в любви, осыпаемый поцелуями. Он плыл в океане безупречной морали. Однако, несмотря на проявленные им чудеса нежности, в век роботов и социальных законов у Ахилла Дюпон-Марианна было ощущение, что он еще не рассчитался со своими подопечными. Стремление к совершенствованию не давало ему покоя.

Он хотел сделать все еще лучше. Он хотел удивить себя самого. Не имея возможности не разорившись устроить счастье всего человечества, он во всю старался улучшить существование тех нескольких сотен человек, которые находились на его попечении. Поселок счастливых людей был его полигоном, где он мог применить всю силу страсти. В один прекрасный день он решил покрасить все дома в поселке в розовый цвет, а в другой – установил карусель посреди улицы, или еще ему захотелось, чтобы все женщины были украшены цветами и чтобы юноши в его присутствии называли их именами цветов. Но вскоре воображение его исчерпалось и он уже не знал, что бы еще придумать, чтобы превзойти все его добрые дела, осуществленные накануне.

Где-то в это время он познакомился с изобретателем Миошем, которому он рассказал о своих страданиях.

Изобретатель Миош уже создал к тому времени немалое количество механизмов, способных совершить переворот в мировой экономике, когда Ахилл Дюпон-Марианн пригласил его в 163 Анри Труайя Филантроп замок, чтобы он установил там гидроэлеватор с переменным периметром. Когда работы были успешно закончены, Ахилл Дюпон-Марианн подружился с ученым и поведал ему, как тяжело удовлетворять его любовь к ближнему. Миош был худосочный коротышка лет сорока. Зрачки, как два мерцающих опала, освещали его крупное лицо морского угря. Как большинство много размышляющих людей, он постоянно грыз ногти и при разговоре выплевывал маленькие кусочки. Поэтому на концах его пальцев блестели крохотные чешуйки, как у креветок. Когда уже нечего было откусывать, он сосал их с не меньшим наслаждением. Выслушав Ахилла Дюпон-

Марианна, он стукнул себя по лбу и вскричал:

– Я знаю, как вам помочь!

– Неужели? – вполне понятно удивился филантроп.

– Вы слышали о моем последнем аппарате?

– Нет.

– Неудивительно, потому что я ревниво охранял тайну моих изобретений. А этот аппарат еще не закончен. Но через несколько недель я материализую свою идею. Это механизм, контролирующий сновидения.

– Не вижу, чем бы меня могло заинтересовать это изобретение, – заметил филантроп.

В ответ Миош засмеялся в нос:

– Человеческая жизнь состоит из сна и бодрствования, ночи и дня.

– Согласен, – сказал Дюпон-Марианн, хмуря брови и внимательно слушая.

– Вы сделали все возможное, чтобы улучшить дневную жизнь ваших слуг. И без нанесения существенного ущерба вашему состоянию вы уже не сможете сделать что-то большее. Но есть область, в которой вы можете еще показать свою щедрость: это сон. Все, чего вы не можете им дать в реальной жизни, вы можете с лихвой дать им во сне: богатство, красоту, талант. Днем вы лишь богатый человек, благодеяния которого ограничены счетом в банке. А ночью вы – Бог. Вы изменяете лица, облагораживаете характер, осушаете океаны, стираете с лица земли горы, вы заставляете орла дрожать перед бабочкой и делаете так, что осел летит быстрее пушечного ядра.

– Я смогу делать все это? – растерянно пробормотал филантроп.

– Вы сможете все это делать благодаря моему аппарату, – сказал Миош, выпячивая грудь.

И от гордости он откусил себе целый ноготь.

Ахилл Дюпон-Марианн задумчиво молчал. Разговор происходил в небольшом салоне со стенами, оббитыми сиреневым шелком, за столом, уставленным различными прохладительными напитками За окнами в саду распевали садовники:

«Будем, сестричка, садовничать, Мы не вырастим никогда Слишком много цветов, Чтобы отплатить нашему благодетелю. . . »

Ахилл Дюпон-Марианн задумчиво потеребил подбородок кончиками пальцев и глубоко вздохнул:

– Конечно, – согласился он, – я не могу дать им все, что они заслуживают. А ваш новый аппарат дает неоценимые возможности. Нужно подумать, поразмыслить. . .

Но как раз думать он не любил. К тому же было жарко. Миош выпил стакан ледяного оранжада, вытер усы и сказал:

– Через две недели все будет готово.

– Хорошо, – сказал филантроп. – Лабораторию можете устроить в аппендиксе, рядом с залом флейтистов.

После двух недель интенсивной работы за закрытыми дверями, с контролируемыми взрывами, с лязгом привязных ремней, серным дымом и вырубанием электричества Миош позвал филантропа в свою лабораторию и показал ему аппарат по производству сновидений. Механизм был очень простой, и казалось странным, что никто до Миоша не додумался до этого.

Он состоял из винта с цветными прозрачными лопастями, смонтированного перед люминесцирующим источником и приводимого в действие часовым механизмом. Силой вращения эти различно окрашенные лопасти попадали под свет лампы, и на лицо спящего падали разноцветные блики. Для программирования сновидений, по мнению Миоша, достаточно было изменения количества вращений винта в минуту, чередования оттенков цвета, направления движения воздуха и звона адвентистского колокольчика. Миош составил словарь сновидений на 237 страницах, где темы сновидений были представлены в виде уравнений. Но Ахилл Дюпон-Марианн был настроен весьма скептически. Миош предложил ему сначала самому испытать аппарат. Но филантроп отклонил это предложение. Ему никогда не снились сны. Самое большее, это во время затруднительного пищеварения ему случалось ночью через закрытые веки увидеть маргаритку, с которой под порывами ветра облетали лепестки. Так что настоящим сновидением это вряд ли

можно было назвать. Для опыта требовалась более благодарная почва. Да и Ахилл Дюпон-Марианн не хотел обзаводиться дурными привычками.

После долгого обсуждения было решено, что старший подметальщик как нельзя лучше подходил для этого. Он был ленив, лунатик и полуидиот. Звали его Бравур.

Когда его посвятили в замысел, он совсем не удивился.

– Хорошо, – повторял он, – только чтобы аппарат не вонял.

– Не бойтесь, – отвечал Миош. – Скажите только, какой сон вы хотели бы увидеть сегодня ночью? Экзотическое путешествие? Встреча с полуодетой женщиной? Горноспасательные работы? Прогулку в гондоле летним вечером?

Бравур качал ногой в воздухе и упорно молчал.

– Ну же, Бравур, – подбодрил филантроп. – Не стесняйтесь. Скажите мсье, кем бы вы хотели быть сегодня ночью.

– Мне и так хорошо, – отвечал Бравур.

– Вы уверены? – вскричал Ахилл Дюпон-Марианн. – Но каждый из нас, даже если он очень счастлив, в глубине души лелеет какую-то тайную надежду, какую-то давнюю мечту. . . Ну же. . . Говорите. . .

Бравур зарделся, пожевал губами и наконец сказал:

– Я хотел бы быть филантропом.

– Что. . . что вы говорите?

– Я хотел бы быть филантропом, – повторил подметальщик, и глаза его насмешливо вспыхнули под кустистыми бровями.

Ахилл Дюпон-Марианн чуть было не возмутился при мысли, что этот мужик, пусть даже во сне, хочет отнять у него его роль. Но вскоре он понял, насколько лестным для него было желание этого неотесанного человека. Он почувствовал, как его подняло, возвеличило это дерзкое желание. Стать Ахиллом Дюпон-Марианном было для Бравура немыслимым, возможным только во сне, чудом. Ему хотелось этого, как ребенку хочется достать луну с неба. Всем своим дряхлым плебейским телом он тянулся к этому. Но сколько бы он не выбивался из сил, расстояние было непреодолимо. Милый Бравур! Как ему отказать, как не подать милостыню этой иллюзии? Со слезами на глазах, с дрожащими от волнения губами Ахилл Дюпон-Марианн протянул руку подметальщику и сказал:

– Согласен!

И у него возникло сладостное ощущение, будто он отдал свое тело на съедение трудящемуся классу.

Миош, послюнив палец, немедленно принялся листать свой словарь:

– Феникс, Филадельфия. . . Филантроп, ну вот. . . «Формула 724». Я сейчас настрою аппарат, поставлю у вашего изголовья, и в эту ночь вы будете филантропом, милый мой, это такая же правда, как и то, что меня звать Миош.

Бравур вяло помахал на прощание и ушел из замка, волоча ноги.

Ахилл Дюпон-Марианн не спал целую ночь. Он все время думал о Бравуре, который сейчас жил жизнью филантропа в замке из розового известняка, с винтовой лестницей, залом тысячи гвардейцев, залом флейтистов и с каменными мешками для любовников. Эта мысль странным образом нарушила привычки благодетеля. Несмотря на убеждения своего ума, он беспокоился.

Он крутился в кровати. В конце концов он встал, оделся и отправился в деревню, спящую под небом, усыпанным мерцающими звездами. Он долго бродил вокруг домика, где жил Бравур.

Луна ярким светом заливала стену, увитую плющом. Ахилл Дюпон-Марианн прижался ухом к закрытым ставням, и ему показалось, что он слышит могучий храп подметальщика. «Он храпит, – подумал он, – и сейчас он счастливый филантроп, в то время как я дрожу от холода у него под дверью». Эта мысль его рассердила. Он был зол на себя за эту ночную прогулку.

Гремя цепью, залаяла собака. Ахилл Дюпон-Марианн поспешил вернуться домой.

На следующее утро он вызвал Бравура в лабораторию Миоша. Подметальщик вошел развязной походкой, покачивая головой и устремив взгляд в пустоту. Он улыбался каким-то внутренним

видениям и казался пьяным.

– Ну как? – спросил Ахилл Дюпон-Марианн сдавленным голосом.

– Я был филантропом, – сказал Бравур.

И он глупо засмеялся.

– Ну что я говорил? – вскричал Миош, с торжеством сверкая очками.

– Помолчите, Миош, – сказал филантроп. – Позже мы займемся вами и я вознагражу вас по заслугам. А сейчас меня интересует только Бравур.

И он продолжал:

– Итак, Бравур, вы были филантропом?

– Да.

– И вам понравилось?

– Черт возьми!

Бравур облизал губы.

– И что же вы делали, будучи филантропом? – продолжал Ахилл Дюпон-Марианн.

Бравур закрыл глаза и начал рассказывать бесцветным голосом:

– О, это было красиво. . . Я спал в отделанной мрамором комнате среди шелка. . . Я лакомился фруктами. . . Слушал музыку. . . Мне принадлежали и замок, и земля. . . Другим я говорил: «Ну как?» А они отвечали: «Хорошо, наш благодетель!» А я раздувался от радости.

Я был розовый, упитанный, с зеленой ермолкой на голове. Во рту у меня был вкус конфеты.

Когда я уходил, подметальщики пели, в такт орудуя метлами: 166 Анри Труайя Филантроп «Будем, будем подметать для него, Отметем все горести, все печали. . . »

– А кем был я в вашем сне? – поинтересовался филантроп.

– Подметальщиком, – ответил Бравур. Ахилл Дюпон-Марианн подавил досаду. Его злость удивила его самого. Стоит ли обижаться на непочтение к нему всего лишь в каком-то сновидении? Мог ли он отказать этому несчастному в перемене ценностей, такой же фиктивной, как и временной? Сделав над собой усилие, он сказал дружеским голосом:

– Хорошо, Бравур. Я рад за вас. Но в следующую ночь вам, очевидно, захочется побыть кем-то другим?

– Нет, – отвечал Бравур, – я хочу остаться филантропом.

– Ну как хотите, – сказал филантроп.

Он отослал его несколько более резко, чем ему хотелось бы.

Миош энергично потирал руки.

– Вот видите, – воскликнул он, – благодаря весьма недорогому аппарату я предупреждаю социальные революции. Я устанавливаю равенство, братство. Я убиваю зависть. Я спасаю мир. . .

– Давайте не преувеличивать, – заметил Ахилл Дюпон-Марианн.

– Подумайте, что было бы с Францией, если бы у Людовика XVI был аппарат, который позволил бы ему при минимальных расходах удовлетворить, тщеславие будущих санкюлотов.

Все пользуются привилегиями, но по очереди. Дневная бригада. Ночная бригада. . .

– Как бы там ни было, – возразил Ахилл Дюпон-Марианн, хитро улыбаясь, – дневная, как вы ее назвали, бригада была бы в гораздо более выгодном положении.

– Вряд ли, – сказал Миош.

Эта реплика удивила филантропа. Неужели Миош считает, что мираж ничем не хуже реальности? Теория забавна.

– Ну а если бы я расплатился с вами только во сне? – пошутил филантроп.

Миош недовольно поморщился, оттопырив губу и изрек:

– Возможно, это было бы лучше!

Но Ахилл Дюпон-Марианн уже достал свою чековую книжку и снял колпачок со своей авторучки из массивного золота, усыпанной бриллиантами, изумрудами и рубинами.

– Отдайте мне ручку, и этого будет достаточно, – сказал Миош.

Более месяца ушло на изготовление пятисот аппаратов, необходимых для населения замка.

Ахилла Дюпон-Марианна лихорадило. Он представлял себе, насколько захватывающим будет такой широкомасштабный эксперимент. После нескольких пререканий с Миошем он наконец согласился, что изобретение ученого может изменить мир. Возможно, благодаря его личной инициативе все человечество в сновидениях сможет забыть неурядицы каждодневной жизни?

Возможно, будущие поколения будут ему благодарны за применение этого «винтового утешителя», как говорит изобретатель Миош? Может, им обоим воздвигнут памятники? Как можно оставаться равнодушным к такой многообещающей перспективе?

Когда все «утешители» были готовы, смазаны и налажены, Миош сделал окошечко в двери своей лаборатории, и к нему выстроилась жаждущие заказать сновидение. Клиенты по очереди подходили к окошку, делали заказ и получали из рук Миоша аппарат, настроенный на нужный сон. С гордостью шеф-повара, которому льстит аппетит гостей, Миош объявлял:

– И одно морское путешествие! И охота в компании Президента республики! И филантроп!

И еще один филантроп! Еще целая группа филантропов!

Ахилл Дюпон-Марианн вел учет заказов. К концу дня он смог отметить, что девять десятых его служащих желают быть филантропами. Четверо или пятеро подростков пожелали увидеть любовные сны. Несколько нервных горничных заказали путешествия или светские приемы. Но все серьезные люди были единодушны: ночь они хотели посвятить филантропии.

Это подавляющее единодушие в заказе сновидений обеспокоило Ахилла Дюпон-Марианна. Он задавался вопросом, какими будут его служащие утром, после альтруистических сновидений.

Результат превзошел все самые мрачные его предположения.

На следующий день, когда он, как обычно, отправился в поселок, его встретили только насмешливые и дерзкие взгляды. Он начал задавать вопросы. Ответы отличались грубой откровенностью. Да, все, кто видели себя филантропами во сне, были счастливы. Они от души повеселились, от души поели, от души попили, от души побездельничали несколько часов. Ахилл Дюпон-Марианн был напуган скандальным представлением этих людей о его особе и о его жизни. У них, как и у Бравура, он спросил, каким они видели его в своих снах. Ответы были уничтожающи. Одни видели его лакеем, другие – конюхом, третьи –

садовником, распутной женщиной или нищим. В виде извинения эти бесхитростные люди добавляли с улыбкой:

– Вы не можете на нас обижаться, благодетель! Ведь это во сне! Какие-то глупости, не больше!

Но на следующую ночь все пожелали сохранить тот же заказ: увидеть себя филантропами с замком, парком и всем причитающимся.

Время шло, а служащие упорно отказывались менять сновидения. «Утешители» раз и навсегда были настроены на формулу 724. Каждую ночь Ахилл Дюпон-Марианн лишался своего движимого и недвижимого имущества в пользу пятисот обойденных судьбой служащих. Каждую ночь чужие завладевали его бумажником, комнатными тапочками, валялись на его кровати, мылись в его ванной и плевали на его дорогие ковры. В конце концов эта методическая узурпация разозлила филантропа. Нет, нет, он не был чрезмерно горд своим положением. Но ему казалось несправедливым уступать его кому-то хотя бы на несколько часов, хотя бы в уме, ничтожным дублерам, отрывая своих слуг от работ по хозяйству.

А простолюдины, наоборот, быстро привыкли к своей ночной жизни. И с восходом солнца в сердце их оставалось что-то похожее на спокойное высокомерие. Свои обязанности они выполняли с небрежностью великих аристократов. Теперь они больше не приветствовали своего благодетеля веселыми песнями. Можно было подумать, что настоящая их жизнь ограничивается часами сна, а днем они переживают какое-то непоследовательное и пустяковое сновидение. Они были

филантропами, а им снилось, что они подметальщики или слуги. У них были замок, музыкальные флюгера, потайные лестницы, шелковые простыни, и только какой-то странный кошмар заставлял их ежедневно заниматься недостойными хозяйственными работами. Ахилл Дюпон-Марианн чувствовал себя трагически безоружным при виде этих сомнамбул. Как заставить этих дураков понять, что они обманываются, что богатый, сильный, добрый филантроп – все еще он и что их шанс иллюзорен? Вот Бравур поздоровался с ним по-приятельски. Хуже того, часто слуги ошибались, путали сон и действительность и, завидя Ахилла Дюпон-Марианна в конце аллеи, кричали: 168 Анри Труайя Филантроп – А! Вот вы где! Я вас искал!..

Один золотарь обратился к нему даже с такими словами:

– Эй, дружок, вам бы следовало почистить пруды. . .

Правда, он сразу спохватился:

– О! Простите, наш благодетель!

Но рана, нанесенная этими словами, кровоточила.

Через месяц ситуация вышла из-под контроля. Обслуживающий персонал замка использовал каждую свободную минуту, чтобы соснуть, включив «винтовой утешитель». Средь бела дня они могли бросить работу и сбегать домой, чтобы вкусить несколько мгновений сладостных иллюзий. Некоторые стали даже принимать снотворное. Это, конечно же, отражалось на их работе. И Ахилл Дюпон-Марианн проклинал Миоша при виде этой разленившейся прислуги. К тому же среди этих так явно оторванных от реальности людей его роль филантропа становилась совершенно ненужной. Он ничего не мог больше сделать для улучшения положения этих людей, живущих сновидениями. Единственным источником их радости стал винтовой аппарат. Теперь не ему, а этому аппарату отдавали они всю свою признательность.

А он, Ахилл Дюпон-Марианн, оставался вроде и не у дел, с отвергнутой нежностью и ненужными деньгами. Он решил бороться с этим вопиющим безобразием. И, прежде всего, ему открылась одна истина: филантроп среди счастливых людей, что врач среди атлетов. Нужно хоть немного горя и нищеты, чтобы благодетель мог применить свои таланты. Итак, нужно уменьшить энтузиазм этих мечтателей, создать им трудности, чтобы потом легче было их утешать.

В один прекрасный день, не посоветовавшись с Миошем, он развесил в поселке объявления, крупными буквами оповещавшие об увеличении количества часов работы, сокращении заработной платы и для мужчин обязательные, дважды в неделю, занятия по практической зоопатии. Результаты не заставили себя долго ждать. Ахилл Дюпон-Марианн курил сигару в библиотеке, когда туда вбежал бледный, в изодранной одежде и с расцарапанной щекой Миош.

– Что вы наделали, несчастный, – возопил он. – Что это за объявления?

– Я хотел воссоздать благоприятный для моей благодетельной деятельности климат, –

невинно ответил Ахилл Дюпон-Марианн.

– А, ну да! – горько засмеялся Миош, откусывая кончик ногтя. – Прекрасный климат!

Настоящий бунт!

– Что?

– Бунт, дорогой мой! Я должен бы даже сказать: революция!

И он потащил филантропа к окну. Ахилл Дюпон-Марианн увидел толпу слуг, надвигающихся сомкнутыми рядами на замок. Они потрясали транспарантами с ужасными лозунгами:

«Ахилл, верни наши деньги!», «Ахилл, верни наши привилегии!» И даже неизвестно почему:

«Ахилл, *go home!* » Они остановились на некотором расстоянии от крыльца. Во главе был Бравур. Ахилл Дюпон-Марианн кипел от бешенства и страха.

– Что вам нужно?! – крикнул он дрожащим голосом.

– Мы больше не хотим быть филантропами только во сне! – ответил Бравур. – Всего каких-нибудь восемь или десять часов счастья в сутки. Хватит!

– Но до создания «утешителей» у вас не было даже этих восьми или десяти часов разрядки, – возразил филантроп. – А вы ведь не жаловались!

– Мы не знали, что теряем! – завизжала одна из женщин. – Теперь мы знаем. Все – или ничего. Чего

выдумали, дразните людей, даете им всего на несколько часов деньги, замок, 169 Анри Труайя Филантроп красивую одежду, а после: «Возвращайся к своей метле, к своей грязной посуде!» А я хочу быть филантропом и днем и ночью!

– Мы тоже! Мы тоже!

Ахилл Дюпон-Марианн начал терять терпение. Он взревел:

– Несчастные кретины, ведь если вы будете филантропами и днем и ночью, мне придется уйти в отставку, уехать. . .

– Убирайтесь! – сказал Бравур, – Но даже если я уйду, – продолжал Ахилл Дюпон-Марианн, – мое состояние, разделенное между пятьюстами душ, не позволит каждому из вас быть филантропом! Быть филантропом стоит очень дорого!..

– Мы сами увидим!

– А как быть с замком? Ведь он у меня один. А вам нужно пять сотен замков!

– Как-нибудь разберемся. Все это лишь глупые отговорки. . .

Толпа глухо ворчала, потрясая кулаками, транспарантами и дико гримасничая.

Ахилл Дюпон-Марианн повернулся к Миошу:

– А вы говорили, что ваш аппарат позволит избежать новых революций! Ах! Будь проклят тот день, когда я приютил вас у себя! Как весело раньше мы жили: они работали, я занимался филантропией. А теперь зависть и лень вселились в их сердца. Да и я уже ни на что не гожусь.

Меня одолевают сомнения!..

Камень, запущенный издали, разбил вдребезги окно библиотеки.

Пораженный неблагодарностью и злобой своих подопечных, филантроп раскаивался в том, что убил столько времени, холя и лелея их.

– Они нас убьют, – пробормотал Миош, позеленев от страха и стуча зубами.

– Другой судьбы вы и не заслужили, – ответил Ахилл Дюпон-Марианн.

А затем, повернувшись к окну, крикнул в волнующуюся толпу:

– Последний раз спрашиваю, хотите мне отдать аппараты и вернуться к прежней жизни?

– Нет! – промычала толпа и бросилась к крыльцу.

Филантроп и изобретатель через потайную дверь проникли в извилистый и темный подземный переход, который через несколько километров вывел их в чистое поле. По дороге Ахилл Дюпон-Марианн решил оставаться филантропом до конца и подписать дарственную, по которой замок с прилегающими землями становился собственностью его слуг. Миош же поклялся больше нигде не применять свою талантливую и опасную технику. Так как оба остались без работы, а у Ахилла Дюпон-Марианна было еще много денег в банках, они отправились в кругосветное путешествие.

Вернулись они через пятнадцать лет, увидев все, что только можно увидеть на суше, на море и в воздухе. Ахилл Дюпон-Марианн, расточительный по натуре, порастратил последние деньги, помогая бедным в экзотических странах и выплачивая баснословные выкупы пиратам-капитанам, которые время от времени изолировали его в своих каютах. Кредит его истощился, гардероб износился, а башмаки протекали. Постаревшие и израненные, друзья решили посетить с визитом вежливости замок, видевший некогда их беззаботную и богатую жизнь.

Прибыв на место, они решили, что ошиблись. Дорожки в парке и пруды заросли какими-то серыми бурьянами. Поверженные статуи лежали в высокой траве. Гигантские корни пробивались в бассейне, выложенном золотой мозаикой. Остов гондолы висел на верхних ветвях дуба. От замка осталось только несколько обломков стен с зияющими дырами окон и оббитыми барельефами. В развалинах ютились целые стаи птиц, взлетевших с громкими криками в воздух при их приближении. В поселке счастливых людей осталось лишь несколько хижин с облупившимися стенами, прохудившимися крышами, выбитыми дверями и кучами мусора в рост человека. Среди этих развалин бродили какие-то бледные, трясущиеся оборванцы.

Зрачки у них были блестящие и неподвижные, как у наркоманов.

Филантроп и изобретатель приметили старика, сидевшего у дороги и жадно пожиравшего желуди.

Это был Бравур.

– Эй! Бравур, – позвал Ахилл Дюпон-Марианн.

Но Бравур не узнавал этих припозднившихся путешественников.

– Кто вы? – спросил он, – Я ваш филантроп, – ответил Ахилл Дюпон-Марианн. – Ваш благодетель.

Бравур покачал своей тяжелой головой с землистым, покрытым морщинами лицом. Седые волосы падали ему на плечи. У него был волчий взгляд.

– Здесь нет другого филантропа, кроме меня, – сказал он. – Если хотите разделить мою трапезу, пожалуйста. Попробуйте немного этой фаршированной индейки. . .

И он протянул им несколько желудей на своей морщинистой ладони.

– Но, может, – продолжал он, – вам хотелось бы полюбоваться видом? Вот замок с винтовой лестницей. Я сплю в кровати Наполеона I и Феликса Фора. Из моего окна я вижу парк со статуями и деревьями, подстриженными в форме кофейника. Я заслужил все это, так как целый день занимаюсь благодеяниями. . .

Ахилл Дюпон-Марианн грустно покачал головой. Как раз мимо проходила какая-то девчушка, неся ведро воды, он ее остановил:

– Кто ты, крошка?

– Я – местный филантроп, – отвечала она. – Я несу золото, чтобы раздать его бедным.

– А тебе самой ничего не нужно?

– Ничего. Вот мой замок с винтовой лестницей. Моя комната облицована мрамором. Пока я сплю, специально для меня играет музыка. В моей кровати почивал Наполеон I.

И она удалилась, выкрикивая:

– Вот золото, свежайшее золото для бедных!

Тогда филантроп и изобретатель вошли в одну из лачуг. Над дверью еще можно было прочитать полустершуюся надпись:

«Объехав всю Европу, Я нашел приют здесь. . . »

Лачуга была сырая, темная, обставленная ящиками из некрашеного дерева. Пол был устлан шелухой каштанов, корнями и сухими листьями. Но на столе, покрытом бархатной пурпурной скатертью, красовался аппарат Миоша. Его владелец, высокий дистрофик с выпирающими из-под кожи скулами, тщательно его натирал, бормоча:

– Мое сокровище, мой Бог, моя радость. . .

Заметив посетителей, он им улыбнулся:

– Как мило, что вы решили навестить вашего филантропа.

Друзья удалились на цыпочках. Отойдя на изрядное расстояние от поселка, Ахилл ДюпонМарианн схватил Миоша за руку и прохрипел:

– Вы негодяй!

– Почему? – спросил Миош. – Разве они не счастливее нас?

Они долго шли по трепещущему лесу. Под его сводами уже стемнело. Тропа, по которой они шли, исчезла в зарослях ненасытной ежевики. Где-то в лесной чаще треснула и упала ветка. Они продолжали путь, усталые, обеспокоенные, недовольные. Выйдя на поляну, они удивились, увидев ночное небо, усеянное звездами, мерцавшими среди верхушек деревьев.

Какой-то зверь с серебристыми лапками и усатой мордочкой бросился в заросли, долго шуршавшие за ним. За траву цеплялись отяжелевшие от слез и лунных испарений паутинки.

Путешественники прошли еще несколько шагов среди клочьев тумана – пенных валов, пробитых темными коридорами, в конце которых мерцали гигантские светлячки.

Наконец они обнаружили покосившуюся пристройку – то, что осталось от лаборатории.

Ахилл Дюпон-Марианн решил здесь остановиться до рассвета. Они вошли в хибару, в лицо им бросилась летучая мышь. Миош зажег карманный фонарик. На этажерке еще валялись несколько забытых аппаратов.

– Я их починю, – сказал Миош.

– Зачем?

– Просто так, – пробормотал Миош с улыбкой сластены. – Чтобы чем-то заняться. Это меня развлечет. . .

– Это бес вводит вас в искупление, Миош.

– Да нет же! Нужно же чем-то занять время до рассвета. Дайте вспомнить. Проветривающий клапан. . . Так. . . Переключатель. . . А, вот здесь стерся винт. . . А я неплохо придумал!

Маятник не пострадал от сырости. . .

Печальный лунный свет проникал через окошко в двери лаборатории. Ахилл ДюпонМарианн съел несколько желудей, подобранных по дороге, и нашел, что они отнюдь неплохи на вкус. Чем-то они напоминали ему запах клубники.

– Попробуйте-ка эти желуди, Миош, – предложил он. – Скажите, как они вам?

– У меня нет времени, – ответил Миош.

К десяти вечера два аппарата были налажены.

– Какой сон хотели бы вы увидеть сегодня ночью? – спросил Миош.

– Я хотел бы быть филантропом, – сказал Ахилл Дюпон-Марианн и потупил взор.

– Я тоже, – сказал Миош, рассматривая свои разошедшиеся по швам брюки и рваные ботинки.

Он включил механизм, послышалось тихое воркование. Тогда оба путешественника улеглись рядышком на пол и смежили веки.

Больше за пределами поместья их не видели.

Дама в черном

Когда я вошел в столовую, меня остановил метрдотель. Что-то наподобие гориллы с бледным, весьма озабоченным лицом. Он сложил на животе свои лапищи в перчатках и сказал:

– Простите, мсье, мы вам зарезервировали столик у окна, как вы просили, но в гостиницу прибыла дама, которая останавливается у нас на весь сезон в течение десяти лет и всегда занимает этот столик. . . Вы понимаете. . . Женщина пожилая. . . постоянный клиент. . . мы не могли ей отказать. . .

– Хорошо! – ответил я.

И направился к столику. Несмотря на конец сезона, в старой швейцарской гостинице было много постояльцев. Большинство столиков заняты: семьи, парочки, одиночки, как я.

Все они были похожи между собой намеренно небрежными туалетами и подгоревшими на солнце носами. Они все были мне одинаково симпатичны на расстоянии. Уехав из Парижа, чтобы закончить срочную работу, я не стремился с ними знакомиться и опасался, как бы кому-нибудь из них не пришло в голову искать знакомства со мной.

Я допивал компот, когда заметил, что место у окна все так же пустует. Метрдотель заметил мой взгляд и подошел ко мне.

– Эта дама спускается только в восемь тридцать, – счел необходимым объяснить он.

Действительно, как только часы пробили половину девятого, дверь открылась и некоторые любопытные повернули головы. В столовую вошла маленькая, сухонькая, прямая старушка в черном. Она медленно пересекла комнату, не удостоив взглядом публику, с любопытством рассматривавшую ее. Она немного хромала, и палка ее ритмично постукивала об пол. Дойдя до своего столика, она остановилась передохнуть, сняла темную шаль, покрывавшую ей плечи,

повесила палку, зацепив ее за спинку стула, и, поддерживаемая под руки метрдотелем и официантом, наконец уселась.

Я с интересом ее рассматривал. Треугольное, вытянутое, морщинистое лицо, наштукатуренное белой пудрой до такой степени, что на скулах и под нижней губой она приобретала серо-сиреневый оттенок. Пышные седые волосы, взбитые и легкие, как пар. Но особенно меня поразили ее глаза: карие, глубоко сидящие в глазницах, и пристальный, озаренный взгляд.

Она ела крохотными кусочками, скупыми беличьими жестами. Время от времени она отпивала из стакана глоток воды, в которой несколько капель микстуры зависли молочным облачком, и при этом каждый раз морщила нос. Я заметил, что она часто промокает губы платком, лежащим справа, и вытирает нос платком, лежащим слева, никогда не ошибаясь.

Через какое-то время, опасаясь, как бы она не заметила, с какой настойчивостью я ее разглядываю, я встал и вышел в холл, где несколько господ, развалившись в креслах, пробовали придать своей сиесте вид значительной медитации. Я взял со столика журнал. Попробовал читать. Потом посмотрел в окно на освещенную террасу и темную косматую массу леса вдалеке, сбегающего к солнечной равнине. Из соседней комнаты доносились невнятные звуки радио и стук шарика – там играли в пинг-понг. Мне не хотелось работать. Мне не хотелось гулять. Я глупо наслаждался этим тихим вечером за окном, этими неназойливыми звуками, теплом.

Вдруг послышался равномерный стук палки о паркет, и я повернул голову. Ко мне приближалась дама в черном, она шла выпрямившись, хромая, как автомат. Когда она была в нескольких шагах, я встал. Она замахала на меня своей крохотной сухонькой ручкой, будто призывая меня молчать.

– Вы, конечно же, медитируете, – сказала она, – а я вам помешала! Ну ничего! Я хотела поблагодарить вас за то, что вы уступили мне столик.

У нее был тонкий, дребезжащий, задыхающийся голосок, она немного заикалась.

– Это вполне естественно, – ответил я. – Я здесь впервые, а вы. . .

– А! Они вам сказали? Должно быть вы приняли меня за сумасшедшую! Но я, действительно, вот уже десять лет останавливаюсь в этой ужасной гостинице, где служащие огрызаются, как собаки, где кухня ежедневно травит вас, а у постояльцев вид либо клинических кретинов, либо уголовников! Не смейтесь! Здесь есть такие люди, вы не догадываетесь об их достойном сожаления прошлом и об их болезнях!..

– Я не любопытен, – заметил я.

Она щелкнула пальцами:

– Не любопытны? Тогда почему вы так пристально меня разглядывали в столовой?

– Я вас. . .

– Не отрицайте! Вы любопытны! Я тоже любопытна! И это чудесно! Если бы вы знали, как мое любопытство послужило мне в жизни! Оно позволило мне по достоинству оценивать людей и их поступки. И достоинство это, смотрите. . .

Она соединила в колечко большой и указательный пальцы левой руки:

– Ноль, ноль и ноль! И все, что вы видите, все, что вы чувствуете, воспоминания, радость, злоба и разочарование, все это – ноль, ноль и ноль!

На скулах вспыхнул румянец, она надолго закашлялась. Вынула из ридикюля платок и поднесла его ко рту, а другим вытерла нос.

– У вас случайно нет солодки? – продолжала она. – Нет? Жаль! Так на чем я остановилась?

Ах, да. . . если вам скучно со мной, прощайте. . . а если нет, оставайтесь!.. Мне говорили, вы писатель. Не стоит говорить, что я не читала ни единой вашей книги, потому что все это –

ноль, ноль и ноль! Но, возможно, вы лучше других сможете меня понять. Мне так нужно, чтобы меня поняли!

Она вздохнула, закатив глаза и тряся подбородком.

Меня прошиб холодный пот от предчувствия, что придется выслушать историю всей ее жизни, и я попытался уклониться от ее излияний.

– Да, в конце концов, все к этому сводится, – сказал я.

– Но я это почувствовала сильнее, чем другие! Я – мадам Нод. Вдова. Сын живет в Америке, он там занят производством, не знаю точно чего: то ли телефонов, то ли точилок для карандашей! То есть – ноль, ноль и компания! Впрочем, мы с ним никогда не встречаемся.

К тому же он не мой сын, а сын моего мужа и какой-то цирковой танцовщицы, с которой он был знаком еще до нашей свадьбы!..

Я сожалел, что не действовал более решительно, и думал о бумагах и книгах, ожидавших меня в комнате. Но старуха не догадывалась о моем нетерпении и продолжала разглагольствовать с гримасами и ужимками:

– Я же не имею постоянного места жительства. Я путешествую. Я знаю здесь все гостиницы. И все они похожи на эту: мерзкая кухня, грубияны-служащие. . .

Какой-то господин, дремавший рядом в кресле, встал, смачно зевнул и удалился вразвалку.

Мадам Нод подмигнула мне:

– Люди заходят. . . Люди выходят. . . Балаган!.. Нельзя спокойно поговорить!.. Приходите завтра ко мне попить чаю. В моей комнате нас никто не побеспокоит. Не отказывайтесь и не соглашайтесь: просто приходите!

– Я очень занят, – сказал я. – Право же, не знаю. . .

Она схватила меня за руку своими цепкими и твердыми, как когти, пальцами.

– Таратата! – сказала она с истинным благородством.

И добавила:

– Жду вас в пять часов.

Я решил не ходить к ней и с двух часов заперся в своей комнате, чтобы поработать. Но что-то отвлекало меня от того, что я писал. Я выстраивал на бумаге пустые фразы, которые тут же вычеркивал, чтобы повторить через несколько строчек и снова вычеркнуть. Статья не получалась. Я зря терял время. Вскоре я убедился, что небольшая прогулка или беседа пойдут мне на пользу. Была половина пятого. В пять я стучал в дверь мадам Нод.

– Войдите!

Я толкнул дверь и остановился на пороге. Никого. Но из ниши, загороженной ширмой, снова раздался голос мадам Нод:

– Я в гардеробной. Кипячу воду на спиртовке. Конечно, это не помои от грязной посуды, которые они называют чаем! У меня специальная смесь. Садитесь. Я через минутку.

Я уже злился на себя за то, что уступил своему любопытству или лени. Но неожиданная обстановка комнаты меня заинтересовала: походная кровать из хромированного железа, как в больнице, столик для бриджа на гнутых ножках, четыре складных стула. С двух сторон у окна сложены чемоданы, пестрящие разноцветными наклейками. На стенах старые календари, каталоги, устаревшие тарифы и расписания поездов. А на камине красовался медицинский Ларусс с бахромой закладок. В комнате царил удушающий запах нафталина и валерианы.

Когда я сделал это наблюдение, как раз вошла мадам Нод.

– Воздух, хоть топор вешай! – заметила она. – Но я боюсь сквозняков. Впрочем, вы быстро привыкнете к запаху.

На ней был фиолетовый пеньюар с широкими рукавами, украшенный черными кружевами.

Волосы были спрятаны под черной сеткой. И лицо, лишенное пушистого ореола седых волос, казалось еще более маленьким и сухоньким. Она поставила на стол поднос с чайником, двумя чашками и тарелкой с сухариками.

– Вы осматривали мою мебель? – спросила она. – Я говорю *«мою»* мебель, потому что вы уже поняли, что это не гостиничная мебель! Я не могу жить среди мебели, которая мне не принадлежит. Мне будет казаться, что я в чужой комнате. А с моей походной мебелью, хоп! хоп! и уже сложены стол, кровать, стулья!.. Вот такая она, мадам Нод – улитка! Носит с собой свой домик! Ха, ха, ха! Хотите, я умолкну на минутку, чтобы вы могли собраться с мыслями! А потом мы продолжим. Или я продолжу болтать, так как вы слишком молоды, чтобы рассказать мне что-нибудь интересное! Еще кусочек? Попробуйте это пойло! Пахнет клонами! Придется сменить поставщика! Но, может, вы не любите чай? Тогда вам подойдет и этот! Тем лучше! А свой я вылью!

Она встала, открыла окно и вылила содержимое чашки в сад. Закрыв окно, она пробормотала:

– Ах! Если бы молено было расстаться с жизнью так же легко, как легко выливаешь в окно не понравившийся чай!

«Ну вот! – подумал я. – Сейчас начнет плакаться на жизнь, уверять меня, что ее жизнь –

настоящий роман, и цитировать дневник, который она вела в юности».

Она вернулась на место, опираясь рукой на стену, так как палка осталась на кровати.

– А вам нравится жить? – спросила она наконец.

– Боже мой, я неплохо приспособился: привычка. . .

Она улыбнулась с надменным презрением:

– Ну, тогда допивайте быстро свой чай и возвращайтесь к себе. Нам не о чем говорить.

Я понял, что совершил ошибку. Я постарался ее исправить: 176 Анри Труайя Дама в черном – Я прекрасно понимаю людей, которые устали от жизни и которые. . .

Она положила руку мне на плечо:

– Усталость! Что за слово! Усталость! Если бы вы знали, какая усталость!.. Она пришла ко мне после смерти мужа. Крупного промышленника. Огромное состояние. И вот его нет.

Снова состояние. Путешествия. Перерыв. И снова путешествия. . .

Через окно я видел синее небо над темной листвой леса. Я начинал думать, что эта старуха не так оригинальна, как мне казалось, и что прогулка развеяла бы меня больше, чем ее унылое квохтанье. Но под каким предлогом уйти?

– Я очень любила мужа, – тараторила она. – После его смерти я жила воспоминаниями. Они поддерживали меня. Но вскоре я пресытилась ими! Конечно, я стала испытывать отвращение не к покойному, а к жизни! Что жизнь?

Она схватила бумажную салфетку, сжала ее в шарик и бросила:

– Вот что такое жизнь!

– Конечно, – на всякий случай согласился я.

Она закурила сигарету и вместо того, чтобы выдохнуть дым, небрежно пускала его колечками через полуоткрытые губы.

– Или вот еще, дым, – продолжала она. – Ничто не стоит любви, ожиданий, опасений!

Ноль, ноль и ноль! Уже давно я готова к переходу в мир иной!..

– Что вы хотите сказать?

Она сразу не ответила, затушила в пепельнице начатую сигарету и закурила новую. Ее пальцы дрожали.

– Мне хочется умереть, – сказала она наконец.

Я подскочил:

– Вы шутите!

Она грустно покачала головой:

– Пойдите проверьте, заперта ли дверь. . . Нет, не надо зажигать свет. . .

Я выполнил ее просьбу и вернулся на прежнее место. Сгущались сумерки. На ее лице играли тени: ввалились виски, щеки, глубже стали впадины глаз. Но и на этом обезображенном лице еще ярче, чем при свете, горели зрачки.

– Я хочу умереть, – прошептала она. Но мне не хочется умирать одной. Не подумайте, что я боюсь. Это, скорее, навязчивая идея. Представьте себе гостиницу. Здесь живут разные люди. И среди них я. И вдруг только я, хоп!.. Вы меня понимаете! И никого с мной? Ни единого попутчика! Как переспелая груша, которая падет с ветки! Это ужасно!

На мгновение она закрыла руками лицо. Я забыл о своем раздражении. Мне больше не хотелось уходить. И я не осмеливался ее перебить. Она продолжала:

– Ужасно и. . . несправедливо! Скажете нет? Но представьте, что кто-нибудь, юный или старый, мужчина или женщина, симпатичный или урод умирает в доме, где я живу! Тогда все устраивается. . . Устанавливается связь. . . Я уже не одна отправляюсь в пустоту, а покидаю землю по изведанному, не безлюдному пути. . .

Она наклонилась так близко, что я чувствовал ее кисловатое дыхание.

– Кажется, некоторым хочется, чтобы им рассказывали истории, или держали за руку, или целовали в лоб, пока они испускают последний вздох. Я не так требовательна! Мне просто хочется, чтобы кто-то умирал рядом со мной, когда я буду умирать! Мне нужен, извините за выражение, партнер! Успокойтесь! Я не собираюсь вас просить покончить с собой, чтобы составить мне компанию! Вы не тот человек, который может покончить с собой ни для того, чтобы сделать мне одолжение, ни даже для того, чтобы сделать одолжение себе! Вы не такой.

Это не укор и не комплимент. Но это позволяет мне быть более искренней с вами, потому что я хорошо понимаю, что этим вас ни к чему не обяжу!

Горящий конец сигареты окрашивал в розовый цвет ее тонкие ноздри и длинные деформированные пальцы. Вокруг нее комната была погружена в сумерки. Звуки гостиницы доносились ослабевшие, сглаженные. Она продолжала, но голос ее временами был так тих, что я с трудом различал слова:

– Скажу больше: смерть соседа по комнате не заставит меня покончить с собой, она сама убьет меня рикошетом. Посмотрите на меня! К жизни я привязана таким тоненьким волоском, что малейший удар может его оборвать! Достаточно, чтобы несколько человек умерли в гостинице, без малейшего усилия с моей стороны, без яда, веревки, револьвера или газовой колонки, тайно предупрежденная, поддаваясь непреодолимому зову, я покину сей мир, который ненавижу! Я вишу на волоске в ожидании агонии! Но она заставляет себя ждать!

Она провела рукой по лбу, распустила сетку, стягивавшую волосы, и они вздыбились белой пеной вокруг лица. Она дышала с трудом, словно после тяжелого боя. Наконец, переведя дыхание, она вскричала с возмущением:

– Десять лет я переезжаю из гостиницы в гостиницу в поисках умирающего! Расположившись в гостинице, я сразу же навожу справки среди персонала, у местного врача, если он любит поговорить, и у торговцев. Вскоре я знаю обо всех легких и тяжелых болезнях всех клиентов. А те, о которых мне не хотят говорить, я выискиваю сама! Я слежу за тем, кто какие пузырьки и пилюли кладет на стол во время обеда. И по названиям лекарств определяю болезнь. У этого такое-то заболевание, потому что он принимает такие-то лекарства!

Когда кто-нибудь сляжет, я как можно чаще справляюсь о его здоровье. Я интересуюсь его здоровьем, как своим собственным! Но хотите – верьте, хотите – нет, как только я поселяюсь в каком-нибудь доме, там сразу же перестают умирать! Это делается нарочно! Я приношу счастье, как божья коровка! Но иногда, стоит мне покинуть гостиницу, как я узнаю о смерти человека, на которого никогда не могла бы подумать! И эти постоянные разочарования меня деморализуют! Я – клубок нервов! Оголенных нервов! Пульсирующих нервов!

Она вдруг замолчала и схватилась за сердце.

– Что с вами? – спросил я.

Она странно улыбалась, прижмурив глаза и сжав губы. Она прошептала:

– Со мной ничего. . . а вот с другим. . . с другим. . .

Она взяла меня за руку.

– Мне кажется, что в гостинице кто-то заболел.

– Откуда вам это известно?

– Я не могу объяснить. Но за десять лет, как я дожидаюсь этого события, я стала так чувствительна, что чувствую малейшее недомогание человека, находящегося рядом!.. Ах! Оставьте меня одну!

– Что вы собираетесь делать?

– Помою руки и спущусь ужинать.

За ужином она ни разу на меня не взглянула. Но когда я вышел из-за стола, она тоже поднялась и последовала за мной в холл. Догнав меня, она пробормотала: 178 Анри Труайя Дама в черном –

Идите!.. Не останавливайтесь!.. Будто ничего не знаете. . . На нас смотрят. . . Когда мы пройдем мимо этих дураков, я сообщу вам интересную новость. . .

Мы вошли в салон. Она уселась, указала мне на кресло и сказала бесцветным голосом:

– Я не ошиблась: портье Эжен сегодня вечером ужасно кашлял!

– Грипп?

– Посмотрим. Гостиничная докторша ни о чем не захотела рассказывать. А ведь моя судьба висит на волоске!..

– Ну а вы сами как себя чувствуете?

– Я никак себя не чувствую, я приспособилась терпеть. . .

И вдруг, вперив в меня свой блуждающий взгляд, она изрекла:

– А ведь это унизительно, что ни говорите, зависеть от какого-то портье, быть привязанным к телу, дыханию, душе какого-то портье. Когда подумаешь, что в этой гостинице полно более приличных людей, которые могли бы заболеть вместо него! Например, эта девушка, играющая в бридж, или этот седовласый господин, читающий газету, или даже вы! Ах! Мне снова не везет! Пойду лягу! Спокойной ночи!..

На следующее утро она ждала меня внизу. С видом заговорщицы, с бегающим взглядом, втянув голову в плечи, она мне сообщила:

– 38,5. Озноб. Сухой кашель. Докторша говорит о пневмонии верхушек легких. Хотят пригласить специалиста из Женевы. . .

И она удалилась.

Но когда я вернулся с прогулки, она поджидала меня на крыльце:

– Сдает сердце. Мерцающий пульс. Хрипы. Тише!..

Теперь каждый раз при встрече со мной она подзывала меня жестом, уводила в угол и со счастливым и одновременно перепуганным видом сообщала:

– Желтые мокроты. . .

Или же:

– Замедленное мочеиспускание.

Или еще:

– Сухие хрипы. . .

На пятый день ко мне подошла женщина, которую я с трудом узнал. Под обильным слоем пудры проступал череп; глаза круглые и неподвижные, как у чучела животного:

– Уколы камфары и прочее. . . Он не протянет до утра. . .

Синие губы растянулись в механической улыбке.

– Вы знаете, что это значит для меня, – добавила она.

– Вы же не будете. . .

– А то не буду, как вы говорите, но мы уйдем. . . уйдем. . . и мне придется только подчиниться. . . За первой же смертью в гостинице последует моя смерть! Крак! (Она щелкнула пальцами, будто повернула выключатель.) Ну что же! Проводите меня до моей комнаты, при условии, конечно, что вы не станете меня по дороге уговаривать. Вы мне так нравитесь, когда молчите!

На пороге она протянула мне руку, и вдруг гримаса боли исказила ее лицо. Челюсть задрожала, и впервые в ее глазах я увидел слезы.

– Я не могу оставить вас в таком состоянии, – вскричал я.

Она улыбнулась грустной улыбкой старого клоуна:

– Ваше присутствие ничего не изменит. . . Впрочем, я счастлива. . . Я. . . я плачу от счастья. . . Я

чувствую себя такой же легкой, как пепел от сигареты!.. У вас есть сигарета?..

Спасибо. . . Такое впечатление, что с минуты на минуту откроются передо мной ворота этой серой тюрьмы. . . Ах! Я смогу бежать, лететь!.. Дайте огня. . .

Она шмыгнула носом и склонила к огоньку моей зажигалки свое сморщенное, мокрое от слез лицо:

– Я дую на огонек. . . пфуф!.. Это последнее воспоминание, которое у вас останется от мадам Нод!.. Прощайте. . .

Она вошла в комнату; я услышал, как она дважды повернула ключ в замке.

Я спустился в сад, поднял голову и отыскал ее окно на третьем этаже. Деревянные ставни были закрыты, но сквозь щели пробивался слабый свет. Я представил себе на секунду госпожу Нод, сидящую за столом с распущенными волосами, с устремленным в пустоту взглядом, дожидающуюся, надеющуюся, молящую о беспощадном сигнале. Но я быстро опомнился.

Конечно, она в конце концов уснет и завтра я встречу ее все такую же хнычущую и прихрамывающую. Вся эта история абсурдна. Я зря волнуюсь. Однако в саду, глядя на ночное небо, на серую дорогу, на долину, я долго терзал себя хмурыми мыслями, недовольный собой и другими, будто я сделал что-то предосудительное. В десять я вернулся в номер и лег спать.

Я проснулся рано утром, после тревожной ночи. И сразу же вспомнил о мадам Нод. Я упрекал себя за легкомысленное к ней отношение. Вчера, когда мы расстались с ней, она ушла в таком экзальтированном состоянии, что можно было опасаться умственного помрачения или нервного срыва, которые кончаются самоубийством.

Я поспешно оделся и поспешил к ее номеру. На стук никто не ответил. Я постучал сильнее.

Тот же результат. У меня екнуло сердце. Меня охватило ужасное предчувствие. Я позвал коридорного.

– А где мадам Нод? – спросил я сдавленным голосом.

– Она уехала.

– Что?

Я взирал на него ошеломленный, с безвольно опустившимися руками. Он продолжал:

– О, это целая история, мсье. Вчера вечером, в одиннадцать часов, я как раз был внизу, так как заменяю Эжена, и . . .

– Да, да, я знаю. . . И что же?..

– Она спустилась, у нее был странный вид. Спросила, как себя чувствует портье. Я ответил, что он вот-вот отойдет. Она побледнела. Я думал, она потеряет сознание. Но ничуть не бывало! Она начала кричать: «Быстро! Быстро! Принесите мои чемоданы! Позвоните, чтобы мне прислали такси. . . » Но до приезда такси она трижды посылала меня справиться о больном. Наконец в половине двенадцатого она уехала. Она оставила мне адрес гостиницы возле Ниона, куда я должен переслать ей мебель. Если хотите, я его вам дам. . .

Прибой

Вот уже три месяца и восемнадцать дней Жан Дюпон искал повод порвать со своей любовницей, но как-нибудь так, чтобы не сказать ей просто: «Я тебя больше не люблю», – во что влюбленные женщины никак не хотят верить. Седьмого декабря в девять часов вечера он отправился к ней подготовить почву. Конечно, в этом случае лучше всего разыграть переутомление, чуть оттененное печалью. Конечно, несколько фраз придется сказать для начала, поэтому Жан Дюпон мысленно повторял: «Знаешь, я немного переутомился. . . Не обращай внимания. . . Нет, это пройдет. . . Небольшое истощение. . . Тебе не понять. . . Да, да, я слишком много работал в последнее время. . . Расскажи-ка лучше о себе, дорогая. . . »

Но «дорогая» в этот вечер совсем не походила на ту игривую молодую кобылку, к которой он привык. Глаза, мокрые от слез, покрасневшие раздраженные ноздри, а помада, как экзема, расползлась вокруг губ. Она не ответила, когда он чмокнул ее в щечку. Не пригласила присесть в кресло, в котором он устраивался каждую среду и каждую субботу на протяжении последних пяти лет. Она не прильнула к его мужественной груди, мурлыкая: «Ты пахнешь улицей». Не шепнула на

ушко: «Я знаю, о чем ты думаешь, шалунишка!» Нет, она этого не сделала. Дениз Паке посмотрела ему прямо в глаза с выражением женщины, прячущей в ридикюле пузырек серной кислоты. Она произнесла замогильным голосом:

– Жан, я больше тебя не люблю. Нам следует расстаться.

– Что? – взревел он.

Неожиданная радость ошарашила.

– Дорогой! Дорогой! – вскричала Дениз. – Я тебе сделала больно, да? Но так нужно. Я люблю другого. Одного австралийского дантиста. Кстати, я рассказала ему о тебе. Он тебя очень уважает, хотя вы и незнакомы. . .

А дальше сцена вышла просто прелестной. Вздохнув с облегчением, счастливый Жан Дюпон притворился, будто мужественно сдерживает отчаяние: зубы сжаты, будто его шарахнуло электрическим током; под кожей на челюсти ходят желваки; пальцы вцепились в спинку стула, будто в перила моста; дыхание прерывисто.

– Понимаю, понимаю, – стонет он.

А заплаканная, в расстегнувшейся блузке Дениз подробно рассказывает, как это произошло:

– Сначала я противилась. Но это было сильнее меня, сильнее нас. . .

– Он твой любовник?

– Да.

– Прощай, Дениз.

– Мы останемся друзьями, правда?

– Между нами дружбы быть не может.

– Но ведь нам прядется ежедневно встречаться на работе.

– Я перейду на другое место. Во «Франкфуртской компании трубочек и пипеток» больше десятка контор. Только выбирай!

– Ты меня возненавидел?

– Нет, я пытаюсь тебя забыть, – Ты страдаешь?

Жан Дюпон вспомнил какой-то фильм, где бородатый молчаливый актер на аналогичный вопрос отвечал одним словом: «Ужасно».

И тоже ответил:

– Ужасно.

Затем он открыл дверь и переступил порог с видом человека, которому нанесли смертельный удар. Не успела за ним закрыться дверь, он вздохнул с облегчением, хлопнул в ладоши 183 Анри Труайя Прибой и бегом бросился вниз по извилистой, темной лестнице, пахнущей пригорелым жиром.

На улице в лицо ему ударил свежий ветер, и он остановился на минуту перевести дыхание.

Свободен! Свободен! Свободен! Мимо него проносились в праздничном шуме автомобили.

Прохожие радостно улыбались. Витрины магазинов сияли огнями. Зеленые, красные, голубые вывески на домах вспыхивали и угасали в каком-то бешеном танце. Даже дождь был праздничным: казалось, будто вокруг уличных фонарей с матовым стеклом стекают капли растопленного масла. Жан Дюпон почувствовал, как весь мир радуется вместе с ним.

Как он может сейчас ехать на метро? Какая глупость! Он возьмет такси. Такси, а потом кино. Кино, а после сеанса он насладится кружкой темного пива. Полкружки пива, и, если посчастливится, подцепит какую-нибудь девицу – «интрижка», как говорил его коллега Клиш.

Целая вереница такси выстроилась посреди бульвара Монмартр. Жан Дюпон бросился к ним. Но не успел добежать и до половины дороги, как от автомобильной сирены у него екнуло сердце. Какая-то машина, обогнув вереницу неподвижных автомобилей, неслась прямо на него. Он хотел было отскочить, поскользнулся, упал. Две бездушные фары разрезали темноту.

Световая реклама харкнула кровью на мокрый булыжник.

– А-а! – закричал Жан Дюпон.

Когда он пришел в себя и открыл глаза, возле самого лица увидел чьи-то забрызганные грязью ботинки. А выше – кольцо незнакомых лиц, которые разглядывали его, будто в глубине колодца. Он испугался. Его пронзила жгучая боль. И он снова потерял сознание.

Жан Дюпон был сильно искалечен. Он страдал от множества переломов. «Как минимум, два месяца в гипсе», – констатировал хирург. И прибавил: «Ему еще повезло!»

Через день после несчастного случая Жером Клиш, ближайший товарищ Жана Дюпона по работе, зашел навестить его в больнице.

Он присел у кровати больного с серьезным, сочувствующим видом и вздохнул:

– Бедняжка!

И действительно, на Жана Дюпона нельзя было смотреть без сожаления. Голова его была забинтована так, что виднелся только краешек красного, словно ошпаренного носа, глаза и губы. Левая рука закована в гипсовую шину. Вместо кистей два мотка ваты, ощетинившейся английскими булавками. Ввиду его тяжелого состояния его поместили в отдельную палату.

– Да, мне досталось, – согласился он.

Товарищ пожал плечами:

– И все из-за женщины! Вот тебе и на!

– Как это из-за женщины?

– Да хватит притворяться!

– Постой, о какой женщине ты говоришь?

– Да о Дениз же Паке, черт возьми!

– Не понимаю.

– А разве это не из-за нее?..

Жан Дюпон взвыл так, будто снова попал под автомобиль:

– Ты совсем с ума сошел?

– Не понимаю, почему я должен сходить с ума. Дениз Паке мне все рассказала. Разве ты не встречался с ней?

– Ну было.

– А может, вы не виделись в тот вечер, когда ты попал под машину?

– Виделись.

– И она не рассказала тебе о том, о чем в нашей конторе давно уже все знали, а именно, – что она любит другого?

– Да, рассказала.

– Чего же тебе еще?

Клиш торжествовал, он улыбался, как тяжелоатлет, который только что опустил на землю штангу.

– Жду продолжения, – ответил Жан Дюпон.

– Все очень просто: узнав, что тебя разлюбили, ты выходишь на улицу и бросаешься под колеса автомобиля.

Жан Дюпон как-то странно захрипел.

– Сумасшедший! – яростно вскричал он, – разве ты забыл, что я сам хотел с ней порвать почти четыре месяца назад! Дениз лишь облегчила задачу, заговорив об этом первая. Она избавила меня от неприятного разговора. Она. . .

– Интересно, интересно! Почему-то ты мне об этом раньше не говорил.

– Это потому, что я человек вежливый.

– Одно другому не мешает.

– Послушай-ка, Клиш, ты должен мне поверить: вечером седьмого декабря я пошел от Дениз счастливый, как заключенный, которому удалось бежать из тюрьмы, как утопленник, которого вернули к жизни, как. . .

– И поэтому ты бросился под машину?

– Да не бросался я под машину! – разъярился Дюпон. – Я поскользнулся, потерял равновесие, вот и все!

Клиш мерзко улыбнулся с видом человека, которого не так легко обмануть.

– Гениально, – заявил он, – но, к сожалению, свидетели говорят совершенно обратное!

«На такое человек мог пойти только из отчаянья», – уверяют они все до единого.

Жан Дюпон был вне себя от ярости:

– Какая подлость! Какая подлость! – шипел он. – А что же Дениз? Вы же расспрашивали ее в конторе? Она же, наверное, вам все объяснила!..

– Конечно, она сказала нам, что ты слишком чувствительный и ей, очевидно, стоило обращаться с тобой осторожнее.

Лицо Жана Дюпона вспотело. Он поднес свою толстую, неуклюжую, белую, как у снежной бабы, руку к подбородку и раздвинул бинты. Он задыхался. Взгляд его помутнел и блуждал.

– Послушай, – сказал он наконец. – Скажу тебе больше: я не только не люблю больше Дениз, она мне отвратительна. Если бы ее голой поднесли мне на подносе, я бы отказался. Она неуклюжа, толста, бесцветна. У нее ужасные зубы. И утиная походка. Одевается безвкусно.

А пальцы синие, как у душительницы детей!

– Говори, говори! – ответил Клиш, ехидно улыбаясь.

Жан Дюпон в изнеможении упал головой на подушку – он был побежден.

– Знаешь, – продолжал Клиш, – твое неуместное тщеславие меня удивляет. Неужели есть что-то постыдное в такой любви к женщине, когда готов умереть, узнав, что она тебя бросила?

Жан Дюпон зажмурился, будто собирал все свои силы перед последним наступлением.

– Клиш! – прошептал он еле слышно. – Я не хочу тебя видеть. Вон отсюда. Убирайся! И больше не приходи!

Но Клиш, казалось, его не слышал. Со снисходительным видом он поправил одеяло больного.

– Ну, ну, – приговаривал он, – ты крутишься, раскрываешься, еще простудишься. Вот чудак!

– Я запрещаю тебе называть меня чудаком!

– А знаешь, наш шеф Маландрен собирался навестить тебя сегодня вечером.

– Плевал я на него! – вскричал бедняга. – Плевал я на него! Плевал я на все!

Он приподнялся на локте, но от пронзительной боли в плече снова, как подкошенный, упал на подушку. Голова закружилась, и будто сквозь туман он видел, как Клиш встал, надел пальто и шляпу с круглыми, как у гриба, полями.

Шаги удалились.

Господин Маландрен был маленьким кругленьким человечком с лицом, заплывшим желтоватым жиром, носом-картошкой и блестящими, как помойные мухи, черными глазами.

– Ну, ну! Поздравляю вас, юноша, – сказал он, усаживаясь возле кровати Жана Дюпона.

– Вы можете гордиться тем, что взбудоражили тихую жизнь нашей заводи.

– Вы слишком любезны, – ответил Жан Дюпон.

– Какое удивительное приключение! А знаете, я восторгаюсь вами!

– О Господи, да с чего же?

– Как прекрасна любовь, презирающая смерть!

– Но я не люблю и не презираю смерть!

– Друг мой, – сказал господин Маландрен, – мне уже сорок семь, но когда-то и я был молод. И скажу вам откровенно, я вас понимаю. Возможно, на вашем месте я поступил бы так же. Но только люди очень уравновешенные способны на самую безумную страсть.

Утренняя сцена утомила Жана Дюпона, но он попытался протестовать:

– Это просто несчастный случай. . . А не попытка самоубийства, господин Маландрен. . .

Господин Маландрен покровительственно, по-отцовски, улыбнулся.

– Вы славный парень, – сказал он. – И ваша скромность только делает вам честь. А знаете, я попросил господина Мурга ускорить ваше продвижение по службе. . .

– Спасибо, господин Маландрен, – пробормотал Жан Дюпон, – но уверяю вас. . .

– Дайте, я пожму вам руку, дорогой Дюпон. Мы оба натуры тонкие и понимаем друг друга с полуслова.

И господин Маландрен взял своими пухлыми пальцами огромную забинтованную руку больного.

Оставшись вновь один, Жан Дюпон принялся размышлять об этом последнем посещении.

Сначала его возмутила такая романтическая трактовка каждым несчастного случая, приключившегося с ним. Конечно, Дениз Паке сейчас чуть не лопается от гордости, думая, что он 186 Анри Труайя Прибой пытался покончить с собой из-за нее. Конечно, она искренне согласилась на роль женщины роковой, опьяняющей, сводящей мужчин с ума. Очевидно, она сейчас гордится, говоря о нем, называет его «бедняжкой», носит поддельные драгоценности в старинной оправе, рисует шире губы кроваво-красной помадой и приклеивает длинные ресницы. Черт возьми! Он ее больше не любит, он сам хотел порвать с ней еще задолго до того, как она первая ему об этом сказала, а теперь из него сделали посмешище – любовника-неудачника! Все принимают его за жертву, какую-то надоевшую игрушку, которую капризный ребенок отфутболил ногой под радиатор.

Но после разговора с господином Маландреном гнев его начал утихать. Ведь все сочувствуют именно ему! Солидные люди осуждали поведение Дениз и восхищались им. Мысль о самоубийстве из-за женщины льстила всем женщинам, да и некоторым мужчинам тоже. Но ведь в действительности он не собирался умирать из-за женщины. Подобная репутация была для него такой же лживой, как и та, на которую претендовала Дениз. Но ведь и он обманывал знакомых. И тем более не заслуживал ни сочувствия, ни восхищения. Ах! Почему никто не хочет ему поверить?

Жан Дюпон провел отвратительную ночь. Ему приснилась огромная черная обезьяна, повторявшая каждое его движение и в конце концов занявшая его место в конторе.

На следующий день в обед его навестить пришла дежурная машинистка, красивая девушка, накрашенная, в кудряшках и очень разговорчивая.

– То, что вы совершили, – восхитительно! – сказала она ему, зардевшись. – Вы ее очень любили, не правда ли?

Жан Дюпон страдал невыносимо. Он хотел ей все объяснить, но не осмелился и отвернул голову.

– Ах! Если бы все мужчины были похожи на вас! – продолжала девушка (и можно было догадаться, что она имеет в виду совершенно конкретного мужчину). – Вам было очень больно?

Жан Дюпон взглянул на нее. Она ждала его ответа с тревогой. Наверное, боялась разочароваться. Он пожалел девушку и ответил:

– Да, очень больно.

– Вы решились на это внезапно?

– Да. . . нет. . . в конце концов. . . В такие минуты над этим не задумываешься!

Он умолк. Его немного покоробило, и он сам удивился этой лжи, – Когда видишь таких людей, как вы, снова начинаешь верить в любовь, – сказала машинистка.

Жан Дюпон скромно опустил глаза.

– Не будем больше об этом, – пробормотал он.

Машинистка ушла от него в восторге.

В течение следующих дней больного посетили еще несколько сотрудников, и все в один голос хвалили его благородный поступок и верность в любви. Получил он и несколько анонимных писем, которые взбудоражили его. «Хотела бы я, чтобы меня любили так, как любишь ты». Подпись: «Незнакомая блондинка».

И еще небольшой стишок: Хотел ты для нее умереть, – Ну скажи, зачем твоя смерть?!

Ведь я сама доброта – Ты только позови, и я твоя!

Подпись: «Сотрудница, любящая высокие страсти».

Такие разговоры сотрудников начали понемногу убеждать и самого Жана Дюпона. Он попытался вспомнить, какое у него было настроение, когда он в последний раз шел к Дениз.

Действительно ли он намеревался порвать с ней в тот день? Действительно ли обрадовался, когда она призналась, что больше не любит его? Действительно ли он вздохнул с облегчением, когда вышел от нее? Да, к тому времени, когда случился несчастный случай, он уже не любил Дениз так пылко, как когда-то. Но ведь нежность к ней осталась! Очевидно, он все же в глубине души страдал, когда узнал, что ему предпочли какого-то австралийского дантиста.

Просто самолюбие не разрешило ему признаться в этом не только перед ней, но и перед самим собой. А тем временем где-то глубоко в сердце затаилась рана, от которой он еще не оправился. Возможно, когда автомобиль мчался на него, он еще мог отскочить? А какая-то подсознательная сила удержала его на месте. Зачем ему было просто так бросаться под машину? Итак, если он и оказался под колесами, так только потому, что не хотел больше жить.

«И это правда, святая правда», – думал он.

Когда Жером Клиш пришел проведать его и спросил:

– Ну, как настроение?

Он ответил:

– Плохо, дружище, все осталось, как прежде!

И начал расспрашивать о Дениз. Думает ли она о нем? Скучает ли, мучается ли, раскаивается ли в своей вине? Собирается ли к нему в больницу?

Жером Клиш в большом смятении должен был признаться, что Дениз Паке даже не поинтересовалась здоровьем Жана.

– Она такая же гордая, как и я! – объяснил Жан Дюпон. – Она не хочет, чтобы видели, что она меня жалеет.

Когда товарищ по работе ушел, Жан Дюпон попросил дежурную медсестру подать ему коробку из-под туфель, в которой он хранил письма и фотографии своей любовницы. Он перечитал долгие послания, каждая фраза которых пробуждала грустные воспоминания. Он растравлял себе сердце и до рези в глазах всматривался в изображение той, ради которой готов был так или иначе умереть.

Почему она не приходит? Ведь в том, что случилось, – ее вина. И она это хорошо знает.

А может, она боится расчувствоваться? Боится, что между ними снова может что-то быть?

Он попросил медсестру под его диктовку написать письмо:

«Любимая Дениз, я простил тебя и жду. Приходи. Жан».

Следующая неделя стала для него тяжелейшим испытанием. Когда раздавались шаги в коридоре, Жан Дюпон немедленно вскакивал. А если в палату заходил кто-то из сотрудников, он встречал его разъяренным взглядом. Вскоре напуганные таким поведением сотрудники перестали его посещать. Он остался в одиночестве и в течение бесконечно долгих дней либо бредил, либо вслух разговаривал сам с собой, либо плакал. Он разговаривал с фотографиями Дениз, отвечал на

собственные вопросы, считая, что задает их она, кусая уголки подушки.

Медсестры стали бояться его и говорили, что эта вертихвостка свела его с ума. Впрочем, они соглашались снова и снова писать Дениз Паке. Но на письма никто не отвечал:

Через два месяца Жан Дюпон наконец смог вернуться домой. Потом врач разрешил ему часовую прогулку по улице. В первый же раз, не успев выйти на улицу, он немедленно отправился к дому молодой женщины.

На шестом этаже перед дверью квартиры Дениз Паке у него так билось сердце, что ему пришлось на какое-то время прислониться к стене. «Сейчас я ее увижу, сейчас я ее увижу, –

повторял он, – и все снова будет, как когда-то!» Он позвонил. Никто не ответил. Он позвонил еще, и еще, и еще. . . Каждый раз от дребезжания звонка в пустых комнатах у него стыло сердце. Он стукнул кулаком в дверь.

– Что вам там надо? – сердито закричал кто-то с нижних этажей.

Жан Дюпон наклонился через перила и увидел поднимавшуюся к нему консьержку.

– Здесь живет мадемуазель Дениз Паке? – спросил он.

– Да уже три недели, как она съехала отсюда.

– Как съехала?

– А так, сразу после свадьбы!

Жан Дюпон сбежал по лестнице вниз, перескакивая через две ступеньки, и выбежал на улицу. Он бродил по улицам часа два, ошеломленный, несчастный, но удивительно спокойный.

Странная жизнь начиналась для него, совсем не похожая на ту, к которой он привык. Он смотрел на спешащих прохожих, рассматривал ярко освещенные витрины и удивлялся, что мир еще существует, хотя он к нему уже не принадлежит.

Он снова оказался на бульваре Монмартр. Шел дождь. Мокрый асфальт горел от световых реклам. Среди проезжей части стояли такси.

По черному небу ветер гнал сиреневые облака. Какой-то автомобиль несся на большой скорости, почти касаясь бровки. Жан Дюпон вобрал голову в плечи, прижал локти к телу и, когда машина была метрах в двух от него, бросился под колеса.

Громовой скрежет, ужасный удар, вихрь ослепительного света. Когда его подняли, он уже не дышал.

Портрет

Оскар Мальвуазен был художник неординарный. Собратья-художники его презирали, так как разжился он на продаже инсектицидов. А отец, наоборот, ругал его за то, что вместо продажи инсектицидов он большую часть дня марал полотно. Но, правду говоря, Оскару Мальвуазену была больше по душе живопись, чем средства против насекомых. После смерти отца он оставил предприятие на седых директоров и уединился, чтобы телом и душой отдаться своему ненадежному пристрастию. Местом своего уединения он избрал поселок Терра-ле-Фло на берегу Средиземного моря. Это захиревшее селение, расположенное на самой скале, было отделено от моря узенькой полоской песка, гасившего волны. Над селением торчали две древние полуразрушенные римские башни. Оскар Мальвуазен купил землю, приказал снести башни, и искусный архитектор из старых камней построил ему новый дом.

Этот дом состоял из одной комнаты, достаточно большой и высокой, со стеклянным потолком. Кухня, столовая и спальня художника размещались в соседнем строении, соединенном с мастерской подземным ходом. Слуг он набрал из местных жителей, мебель купил самую дешевую у марсельских антикваров, а некий антибский садовник согласился разбить парк. К решетчатой ограде прикрепили железную голубую табличку, на которой золотыми буквами было написано единственное слово «Пенаты».

Благоустройство усадьбы длилось год. Все это время жителей Терра-ле-Фло лихорадило от любопытства и нетерпения, ведь они ничего не знали об их новом соседе. Наконец он явился в

зеленом автомобиле с белыми шинами. Автомобиль медленно проплыл по деревне, а затем по каменистой дороге к «Пенатам» и остановился перед входом в усадьбу. Из машины торжественно вышел мужчина с лысой, как колено, головой, длинным острым носом и лучащимися глазами, которые, казалось, вобрали всю синеву неба. Широкий дорожный плащ в розовую и бежевую клетку доставал ему до лодыжек. Уголком рта он посасывал желтый курчавый цветочек.

Поздоровавшись с любопытными, собравшимися у ворот, он сплюнул желтый цветочек, растер его ботинком и с гордо поднятой головой вошел в дом.

В тот же вечер он пригласил местного мэра господина Богаса на ужин.

Господин Богас, краснощекий толстяк с узким упрямым лбом и пышными усами, гордился своим почетным местом и рассчитывал на еще более высокое положение в политической обойме департамента. Мэр поспешил принять приглашение нового жителя селения. Но это угощение он будет помнить до смерти. Его встретил сам Оскар Мальвуазен, одетый в малиновый домашний халат, усеянный морскими звездами.

Сначала хозяин повел его в мастерскую с голыми, чисто выбеленными известью стенами, и полом, выложенным черными и белыми плитами. В углу мастерской был накрыт стол на одну персону.

– Садитесь и ешьте, – пригласил гостя Оскар Мальвуазен.

– А как же вы?

– Я не хочу есть. Я ем только когда проголодаюсь. Если я проголодаюсь через час, то прикажу подать мне какую-нибудь острую закуску. Если я не проголодаюсь до утра, не стану лишний раз набивать себе живот. Но вы на мой причуды внимания не обращайте и ешьте себе на здоровье. Видите, я, кроме того, с одной стороны, ужасно люблю поговорить, – а разве можно говорить, когда ешь! – а с другой стороны, терпеть не могу, когда меня перебивают.

А вы, когда будете заняты едой, не сможете вставлять свои замечания. Поверьте, это будет великолепно.

– Ну что же, вам видней, – пролепетал мэр.

Оскар Мальвуазен хлопнул в свои костлявые ладони. Господин Богас с большой осторожностью устроился на стуле и принялся грызть сырые овощи, которые поставил перед ним 191 Анри Труайя Портрет лакей в белых перчатках. Между тем пока господин Богас изо всех сил жевал морковь и стебельки пахучего укропа, Оскар Мальвуазен в том же малиновом халате разгуливал из по мастерской.

– Я решил поселиться здесь, так как люблю уединение, свежий воздух и яркое солнце. Я художник.

– Вот оно что! – пробормотал господин Богас, – живопись – прекрасная вещь! Стоит попасть в ее сети и уже не вырвешься. Я знаю одного художника-мариниста, так он без конца рисует алые паруса на синем море.

Оскар Мальвуазен наморщил нос и продолжал, тихо посмеиваясь:

– То, о чем вы говорите, никакая ни живопись. До сих пор всякие бездари из сил выбивались, чтобы изобразить вещи и живые существа такими, как они есть. Эти мазилы рисовали бутафорию, забыв о самой сути.

– О самой сути?

– А как же! – вскричал Мальвуазен. – Скажите, господин мэр, что вы считаете более важным: ваше тело или душу?

Изумленный господин Богас не знал, что ответить. Оскар Мальвуазен хлопнул его по спине:

– Самое главное – ваша душа, тысяча чертей!

– Ну конечно же, тысяча чертей, – согласился мэр.

– Но, несмотря на это, каждый художник, который взялся бы писать ваш портрет, упрямо пытался бы воспроизвести только вашу материальную оболочку.

Последнее выражение неприятно поразило господина Богаса. Его еще никогда не называли материальной оболочкой. Сначала он собирался обидеться. Но сразу же подумав, что такой философской беседе свойственна некоторая вольность выражений, он только вздохнул:

– Ну-ну! Вы хватили через край!

– Я же, – продолжал Оскар Мальвуазен, – изображаю не тело, а душу. Мне достаточно только дважды взглянуть на мою модель, и я вижу ее насквозь: я проникаю сквозь кожу, кости и волосы. Я иду дальше ощутимого. Я вижу больше того, что передо мной в ту минуту.

Лицо, расцветающее на моем полотне, отображает, конечно, не будничную внешность модели, а ее совесть, ее суть, понимаете?

– Конечно, – наугад согласился мэр.

– А вы не хотели бы мне позировать?

– Но я же. . .

Оскар Мальвуазен позвонил. Появились двое слуг и быстро убрали со стола. Вскоре господин Богас уже сидел в кресле на колесиках, лицом к слепящей лампе, свет которой резал глаза.

– Я хотел бы украсить стены мастерской величественными фресками. Я заполню ими всю комнату. А на той стене, что в глубине, в самом центре я хочу как можно точнее изобразить вас или хотя бы вашу душу.

– Неужели это так необходимо? – забеспокоился господин Богас.

– Так вы отклоняете мое предложение?

– Нет. . . Я благодарен вам за честь. . . Но. . . не кажется ли вам. . . что учитывая мое служебное положение. . .

– Но Франциск I позировал же Клуэ. Наполеон – Давиду. Генрих VIII – Гольбейну. . .

– Все это так, – согласился господин Богас. – Но, простите, что именно вы собираетесь рисовать?

– Вашу душу! Вас это смущает?

Господин Богас ответил с затравленным видом:

– Никак нет. Я к вашим услугам, – Вот и хорошо. Вы будете позировать недолго. Час, не больше. Жорж, подай угольные карандаши и кисти. . .

Лакей принес все необходимое, и Оскар Мальвуазен принялся рисовать портрет мэра, которому надлежало украсить большую панель в глубине зала. Ослепляющий свет лампы мешал господину Богасу следить за движениями угольного карандаша на белой стене. Он видел лишь, как Оскар Мальвуазен подходил к стене, потом отскакивал от нее, наклонялся, чтобы подправить какую-то линию, а затем порхал по комнате, и его малиновый халат величественно реял за ним. Иногда художник чуть не задевал несчастного мэра полой своей одежды. А то вдруг он клал руки ему на плечи и вперивал свой инквизиторский взгляд в большие слезящиеся глаза мэра.

– Я вижу, вижу, – бормотал Оскар Мальвуазен, – я различаю, чувствую, улавливаю, хватаю и вытаскиваю на поверхность, выворачиваю наизнанку и выпускаю на свободу все внутреннее, тайное, красное, греховное, существенное и постыдное. . .

– Прошу вас, не надо! – умолял господин Богас.

Оскар Мальвуазен вынул из кармана яблоко и съел его с жадностью. Зернышки он выплюнул на пол. Ноздри его раздувались. Он походил на хищника. Господин Богас печально вспоминал свой удобный домик, в котором его ждали жена и двое детей. Ему казалось, будто этот безжалостный чужак его раздел, обесчестил, изнасиловал. Будто этот жгучий взгляд отбрасывает его муниципальную перевязь, портфель, его политические убеждения, поддержку избирателей, общие фразы его выступлений и даже сам смысл его жизни! Словно он с каждой минутой становится все беднее и в конце концов должен остаться только с тем мизером –

своей душой. Он вздрогнул.

– Мсье, мсье, я устал, – закричал он.

– Молчите! – оборвал его Мальвуазен.

Он схватил кисти и теперь крупными мазками наносил краску на белую стену. И взявшись за краски, он продолжал свои дьявольские прыжки. Борта халата реяли за ним, как красные крылья. От яркого света лампы над его лысиной стояло какое-то огненное сияние. Кисти танцевали у него в руках, как каминные щипцы. Пробили часы.

– Еще несколько минут! – сказал Оскар Мальвуазен. – Если бы вы знали, как вдохновляете

художника!

В два часа ночи он отбросил кисти и вытер лицо оранжевым носовым платком. Господин Богас, у которого тело одеревенело от неподвижного сидения, не осмеливался подняться или пошевелить рукой.

Оскар Мальвуазен взял его за руку и подвел к фреске. А потом, направив лампу на стену, весело вскричал:

– Имею честь отрекомендовать вам господина Богаса, мэра Терра-ле-Фло.

Господин Богас от удивления разинул рот и чуть не упал.

На стене прямо перед собой он увидел какое-то ужасное звериное лицо с темно-фиолетовой кожей и налившимися кровью глазами. Рыжая прядь, как слизняк, свисала на лоб урода. Из мерзко искривленного рта текла слюна.

– Но. . . но. . . это же не я! – простонал господин Богас.

Конечно, господин мэр никогда не считал себя красавцем. Он прекрасно знал, что лоб у него слишком низкий, лицо слишком красное, а усы слишком уж топорщатся. Но что все эти незначительные изъяны в сравнении с этими омерзительными чертами, которыми его наделила кисть художника!

– Такой реакции я ожидал, – сказал Оскар Мальвуазен. – Вы себя не узнаете?

– Нет, мсье! – ответил господин Богас с укоризной.

И он застегнул пиджак, давая понять, что его оскорбили.

– Жаль, – продолжал Оскар Мальвуазен. – Хотя могу уверить вас, что сходство поразительно. Конечно, я не изобразил вашу телесную оболочку. . .

Опять эта телесная оболочка! Господин Богас решил, что самое время рассердиться.

– Я запрещаю вам говорить о моей телесной оболочке! – вскричал он.

– Тогда поговорим о вашей душе. Ведь это ваша душа, которую я узрел силой чудесного гипноза. . .

– Это моя душа?

– А чья же?

Господин Богас прямо посинел от бешенства. На какое-то мгновение он даже стал похож на свой портрет. А потом закричал:

– Мсье, во имя занимаемого мной положения, которое вам следует уважать, я приказываю немедленно стереть это безобразие и извиниться передо мной, как того требуют обстоятельства.

Ничуть не тронутый этими словами, Оскар Мальвуазен подошел к портрету, насвистывая.

Господин Богас не сводил с него глаз. Вот художник макнул кисть в желтую краску, чуть коснулся стены, и над портретом венком расцвела надпись. Мэр с ужасом прочитал слова, которые отныне должны были украшать его изображение:

«Душа господина Богаса, мэра селения Терра-ле-Фло».

– Вы сопляк! – взревел господин Богас.

– Потом, потом скажете мне все по справедливости, – примирительно сказал Оскар Мальвуазен.

И он открыл дверь, чтобы выпустить взбешенного мэра, угрожавшего начать одновременно против него кампанию в газетах, полицейское расследование, а также пожаловаться префекту на его неприличное поведение.

После господина Богаса Оскар Мальвуазен по очереди приглашал к себе всех жителей селения. Конечно же, господин Богас всюду рассказал о неприятности, приключившейся с ним, и славные люди прекрасно знали, что их ждало разочарование за порогом «Пенатов». Но где-то на самом донышке души каждый лелеял надежду, что безобразной могут изобразить только душу соседа и никак не его собственную. Совсем молоденькие девушки приходили позировать с цветком в волосах и яркими косынками на шее, словно надеясь прикрыть ими нечистую совесть. Мужчины исповедовались в церкви прежде, чем идти к Оскару Мальвуазену, так как думали, что грехов,

отпущенных священником и искупленных перед Богом, художник не заметит. Люди даже начали соревноваться между собой в физическом и моральном совершенстве. По каждой новой модели заключали пари. Быть не может, чтобы на всю славную деревню не нашлось никого, кто стал бы примером для других. Но всех от миленьких младенцев до беззубых стариков, от пухленьких девушек до загоревших юношей, абсолютно всех обязательно искажала кисть художника. По мере того как на стенах «Пенатов» появлялись новые портреты, количество врагов Оскара Мальвуазена в Терра-ле-Фло увеличивалось.

Но общее несчастье никак не примирило между собой тех, кто уже посетил «Пенаты».

Они были едины, ненавидя художника, но он научил их также остерегаться друг друга. На улице люди смотрели друг на друга с подозрением. Самые невинные лица не вызывали больше доверия даже у тех, кто знал их годами. Всяческие сделки и соглашения были разорваны, ибо одна из сторон видела портрет другой у Оскара Мальвуазена.

– Не советую тебе продавать землю Кокозу, – предупреждал осторожный отец. – Я видел его душу. Настоящий проходимец!

– Да моя же не лучше, – возражал сын.

На это отец мудро отвечал:

– Со своей душой всегда договоришься, а вот чужой бойся, как чумы.

Девушки, собиравшиеся выйти замуж, разорвали помолвки, увидев ужасный характер своих женихов на фресках Оскара Мальвуазена. Мужья начали подозревать своих жен, а жены, не успев выйти из мастерской художника, ссорились с мужьями. Деревню захлестнул шквал столкновений и ссор. Самые дружные семьи разваливались. Каждое утро почта приносила Оскару Мальвуазену письма с проклятиями и угрозами.

Одинокий и опечаленный, он больше не выходил из своей усадьбы. С парижскими друзьями он порвал, и в гости к нему теперь никто не ездил. Нарисовав всех до единого жителей Терра-ле-Фло, он писал теперь только души вещей, и на его натюрморты страшно было смотреть.

Часто он часами сидел в мастерской и печально разглядывал фрески, которыми расписал стены. С высоты второго этажа огромная чудовищная толпа скалила зубы. Она жила какой-то своей застывшей, страшной жизнью. Беззвучно смотрела, улыбалась, плакала и кричала. Будто запоздалый ночной кошмар, освещенный дневным светом, мерзкая блевотина ада. Здесь были восковые лица, изъеденные проказой, с ввалившимися носами и впалыми ртами, лица с кровожадной радостью и тупостью на них, лица, перекошенные от злости – одни мускулы и нервы, и лица похотливые, задыхающиеся, с красными, будто из сырого мяса губами. У женщин были усы и бороды. Мужчины, наоборот, украсили себя самыми замысловатыми –

прическами и на шеи с выступающими кадыками нацепили бусы из жемчуга. Дети часто имели один глаз, как у Циклопа. Старики зелеными от старости губами сосали орхидею.

Молоденькие девушки курили трубки. И над каждым портретом лаконично было засвидетельствовано ужасную образину: «Душа тетушки Дантеск. . . Душа дядюшки Кокоза. . . Душа мадемуазель Жюльетт Пелу. . . »

По правде сказать, Оскар Мальвуазен, взирая на эти фрески, и сам ужасался своей работе.

Неужели он так и не встретит достойной души, с которой кисть написала бы чарующий портрет?

Однажды вечером, когда он разгуливал по мастерской, среди искаженных гримасами и оскаленных лиц, над морем разразилась сильная гроза. Свет погас. В комнату врывались молнии и стегали белым пламенем стены, усеянные масками. При конвульсивных вспышках молний Оскару Мальвуазену показалось, будто фрески отделяются от стены и оживают посреди зала, шевелят своими кошмарными головами и руками, мигают глазами, лязгают зубами. Художник сдавленно вскричал, опрометью бросился вон из мастерской и остановился на крыльце под ветром и дождем. Какой-то липкий ужас сжимал его нутро. Зуб на зуб не попадал. Ему показалось, будто сквозь шум ливня он различает леденящий топот по плитам.

А ниже крыши деревни, казалось, прогибались под дождем, море сердито клокотало. Деревья трещали. В каком-то окне вспыхнул огонек. Оскар Мальвуазен быстро перекрестился и поклялся, что и ноги его больше не будет в этой проклятой мастерской. Слово он держал на протяжении четырех месяцев.

Через четыре месяца он отправился в Париж, куда звали его директора предприятия в связи с запуском в производство инсектицида новой марки, В «Пенаты» он вернулся совсем другим человеком. А все потому, что с ним приехала молодая женщина, на которой он женился накануне.

Она была такая красивая и ласковая, что жители Терра-ле-Фло простили Оскару Мальвуазену старые обиды. О нем теперь говорили:

– Ему не хватало жены. Теперь он бросит мальчишеские проказы и образумится. На сколько держим пари, что она заставит его сжечь нарисованных им уродов?

И действительно, юная Люсьенна казалась весьма любезной. Личико у нее было нежное и бледное, ангельской чистоты, а глаза светились искренностью. Оскар Мальвуазен был без памяти влюблен в свою жену. В ней он видел все те достоинства, которых напрасно искал доселе. Ей стоило попросить, и он, лишь бы угодить жене, охотно пожертвовал бы всеми фресками из своей мастерской. Но ей фрески нравились. Она говорила:

– Как странно, любимый, когда я смотрю на людей, я тоже прежде всего вижу их души.

Как-то она попросила мужа написать и ее портрет.

– Я не хотел сам тебе это предлагать, так как боялся оскорбить тебя каким-то неуклюжим открытием. Но если ты сама просишь. .

– Ты считаешь, что у меня есть какие-то изъяны? – спросила она, игриво улыбаясь.

– Нет. . . Ну, самое большее какой-нибудь невинный каприз, милый изъян, который мы увидим на полотне.

– Ты боишься?

– Нет. А ты?

– Нисколько.

– Тогда за работу! – весело вскричал он.

И удобно устроив свою модель, он выбрал лучшее полотно, лучшие кисти, чтобы начать картину, которая должна была стать его шедевром.

– Наконец, – приговаривал он, – я буду писать прекрасную душу, которая будет для меня утешением среди всех, которые я до сих пор писал!

Он мысленно провел угольным карандашом по полотну, чтобы наметить нежные очертания лица и пышные волны волос. Но вместо изящной выпуклой щечки уголек вырисовывал заплывшую салом обвисшую щеку, выпяченный, как сапог, подбородок и три топорщащихся волоска вместо роскошных волос. Ужаснувшись, Оскар Мальвуазен быстро стер эти святотатственные линии и, конвульсивно сжимая пальцы, снова принялся за работу. Но ничего другого, кроме уродливых линий, у него не получалось.

– Ну как, ты доволен? – через несколько минут спросила Люсьенна. – Я похожа? Я красива?

– Не мешай, – глухо ответил он.

Он взялся за кисти. Но вскоре отбросил и их.

– Сегодня я не могу работать. Я слишком нервничаю.

– Покажи мне портрет.

– Я его еще не закончил.

– Ну и что!

И прежде, чем он успел прикрыть свою работу, она вскочила, взглянула на портрет и вскричала:

– Неужели эта старуха с похотливо оттопыренной губой, гноящимися глазами и тяжело обвисшими щеками – я? Так ты такой меня видишь? Так ты меня любишь?

– Не сердись, любимая, – пробормотал он. – Завтра я нарисую лучше.

– Надеюсь!

Целый вечер она дулась на него. Оскар Мальвуазен был обеспокоен. Неужели у Люсьенны есть те изъяны, о которых свидетельствовал портрет, или он сам ошибался, стараясь разгля Портрет деть ее душу? Чего же следует опасаться: искусства или жены? Ему хотелось, чтобы правда оказалась на стороне жены.

На следующий же день на чистом полотне он снова принялся за работу. Он просто дрожал от волнения. Но каждый новый штрих карандашом только подтверждал его опасения. Лицо, медленно вырисовывавшееся на полотне, было точно таким же, как и то, которое напугало его вчера. Он попробовал увеличить глаза, сделать более округлыми губы, тоньше шею. Но пальцы не повиновались ему, не шли на обман. Какая-то неведомая сила направляла его движения. Против своей воли он писал портрет, на котором неумолимо проступали самые уродливые черты жадности, кокетства, глупости, неискренности и злобы. Люсьенна, увидев портрет, расплакалась.

– Ты меня ненавидишь! – стонала она. – Ты мне приписываешь те низкие инстинкты, которые скрываешь в себе сам!

Он упал перед ней на колени.

– Любимая, – сказал он. – Я люблю тебя, как и прежде. Если портрет кажется тебе ужасным, то не моя в этом вина.

– Так, может, моя?

– Именно так.

– Так ты считаешь, что я так же уродлива, как на портрете?

Он развел руками:

– Не знаю, что и думать, Люсьенна. Извини меня. . . Возможно, ты права. . . Возможно, мое дарование мне изменяет. . . Возможно, я ошибся. . . Я буду снова и снова писать твои портреты столько раз, сколько будет нужно. . .

Его утешила и подбодрила уже сама Люсьенна. На следующий день, убежденный, что ошибся, он решил исправить свою ошибку.

Но все его старания были тщетны. Третий портрет был такой же уродливый, как и два предыдущих.

Тогда он решил, что поторопился с портретом, что сначала нужно было хорошенько изучить жену, прежде чем рисовать самые глубинные стороны характера. Несколько недель он изучал малейшие поступки жены. Однажды он увидел, что она оттолкнула ногой котенка, хотевшего выбежать из дома, и подумал, что она жестокая. Еще раз он поймал ее на вранье и понял, что она к тому же и лгунья. Позже незначительные поступки убедили его в жадности, кокетстве, детском эгоизме Люсьенны.

Он попробовал показать ей эти изъяны и ласково их исправить. Но она нагло сопротивлялась. Она всегда была чем-то недовольна. На улице погожий день? А у нее от жары разболелась голова. Идет дождь? Она сразу же заявляла, что это безумие забиться так далеко от Парижа, чтобы жить под бесконечными ливнями. Муж сегодня весел? Ее раздражает, что он свистит, когда бреется. Он хмур? Люсьенна сразу же упрекает его за нелюдимый характер. Подали слишком сытный обед? Неужели повар не знает, что она может располнеть?

Слишком легкий ужин? Но при таком питании она через два дня зачахнет! Часто она жаловалась на уединение «Пенатов». Но если Оскар Мальвуазен предлагал пригласить нескольких парижских друзей, она наотрез отказывалась их принимать. Требовательная к другим, зато снисходительная к себе, капризная, болтливая, непостоянная, она жила лишь для собственного удовольствия.

Оскар Мальвуазен хотел бы, если бы мог, возненавидеть эту пустую женщину. Но несмотря на все изъяны, а может, именно из-за них он любил это прекрасное тело и эту ничтожную душу. Чтобы как-то оправдаться, он убеждал себя, что с годами характер Люсьенны улучшится и что когда-нибудь он будет вознагражден за терпение.

Действительно, когда через два года Оскар Мальвуазен снова принялся писать портрет жены, он ему показался не таким уродливым, как портреты первых недель их супружеской жизни. Однако кисть снова воспроизвела на полотке низость ее души, и художнику пришлось сжечь портрет. Люсьенне он сказал:

– Уже есть некоторые сдвиги!

На что она ответила:

– В тебе или во мне, милый?

Эти слова заставили его задуматься.

Люсьенна родила двоих детей. Последние роды были тяжелыми и отразились на ее здоровье. Она посерьезнела, с радостью занималась семьей и хозяйством. Потом ей сделали операцию

аппендицита. Выздоровев, она попросила Оскара Мальвуазена нарисовать ее. Он согласился и был поражен, насколько более приятным стало лицо на портрете. Но с портрета на него все еще смотрела старуха, хотя щеки у нее больше не обвисали и на губах появилась покровительственная улыбка. Оскар Мальвуазен поклялся больше никогда не рисовать Люсьенну.

Проходили годы, принося солнце и непогоду, печаль и утраченные надежды. Родители Люсьенны умерли. Дети росли, болели, выздоравливали, учились в Марселе в лицее, получали плохие оценки, озорничали. Люсьенна понемногу старилась. Глаза ее затуманили усталость и задумчивость. Каждый раз накануне Нового года Оскар Мальвуазен принимался за портрет жены. А тем временем как Люсьенна старилась, портреты ее улучшались и молодели.

Сыновья женились и покинули дом. Люсьенна превратилась в маленькую седовласую старушку с вылинявшими морщинистыми щечками. Всегда приветливая, веселая и свежая, она теперь пеклась лишь о том, чтобы окружить своего мужа самым большим вниманием и неясностью. Вся деревня любила «добрую бабушку из «Пенатов». И стар и мал обращались к ней за советом и помощью. Стоило кому-то заболеть в Терра-ле-Фло, немедленно вызывали не врача, а госпожу Люсьенну. Стоило вспыхнуть ссоре в какой-нибудь семье и снова же госпожу Люсьенну, а не кого-то другого просили решить спор.

Оскар Мальвуазен гордился своей женой и больше не жалел, что ему пришлось терпеть ее капризы первое время после женитьбы. Как раз на свое семидесятилетие она тяжело заболела.

Он ухаживал за ней днем и ночью так самоотверженно, что люди удивлялись. Выздоровела она лишь чудом. Как только она встала на ноги, он попросил ее немного попозировать для портрета.

Она села в то же кресло, в котором сидела после свадьбы с цветами на корсаже платья. А он, ссутулившийся, трясущийся, придвинул тот же мольберт, на котором когда-то ее рисовал. На мольберте он закрепил большое белое полотно. Хорошо вымыл кисти. Выдавил свежие краски на овальную палитру. Вдруг он испугался, что его пальцы и усталые глаза могут ему изменить. Не растерял ли он свой гениальный дар за то время, пока Люсьенна совершенствовала свой характер?

Неяркий свет осеннего дня лился в запыленную мастерскую. Фрески с интересом наблюдали за схваткой этого упрямого человека со своей судьбой.

– Люсьенна, – сказал Оскар Мальвуазен, – ради всего святого!

Он зажал угольный карандаш своими скрюченными пальцами. Но не успел он прикоснуться к полотну, как грифель сам уверенно заскользил по нему. Еще никогда в жизни Оскар Мальвуазен не рисовал так уверенно. С каждой минутой все четче проступало лицо. Но это было совсем не лицо этой печальной и изможденной старушки. Затаив дыхание, не веря собственным глазам, не помня себя от радости, Оскар Мальвуазен смотрел, как на полотне рождаются контуры удивительно красивой девичьей головки: душа Люсьенны приобрела чер198 Анри Труайя Портрет ты той молодой женщины, на которой он женился пятьдесят пять лет назад. И вот теперь каким-то чудом при помощи карандаша и резинки он воспроизводил ее. Словно душа и тело Люсьенны когда-то разошлись во времени и теперь соединились.

– Раньше твоя душа не была достойна твоего тела, – вскричал он. – А теперь твое тело не достойно твоей души!

Она вздохнула:

– Успокойся, любимый. . . Ты весь вспотел. . .

Но Оскар Мальвуазен не слушал ее. Он схватил кисти и палитру. На едва загрунтованном полотне уже сияли краски. Из игры света и тени на полотне рождалась двадцатилетняя Люсьенна с былой улыбкой, красивая, как роза, гибкая, полная энергии. . .

Уроды на стенных фресках обиженно следили за вторжением этой красивой девушки в их омерзительный мир.

В полночь слуга растопил камин. Люсьенна словно застыла в том же положении. Было что-то торжественное в ее покорности. Наконец Оскар Мальвуазен закончил портрет, он с трудом разогнулся, у него болело сердце.

– На этот раз, – сказал он, – я действительно уловил настоящее сходство.

Жена подошла к нему и через плечо взглянула на портрет. Вдруг он услышал, что она плачет.

– Что с тобой? – разволновался он.

– Как же ты жесток, – прошептала Люсьенна.

– Почему жесток?

– Посмотри на меня и на свою работу. Ты выбрал подходящее время, когда я стала старой и больной, чтобы подарить мне портрет красавицы, которой я была когда-то.

– Но я же нарисовал твою душу.

– Она похожа на тело, которое я когда-то слишком хорошо знала и не в состоянии забыть.

– Но что стоит то тело, о котором ты жалеешь!

– А ты разве не жалеешь?

– Нет.

Она заломила свои узловатые руки. Рот болезненно искривился.

Вдруг она вскричала:

– Я ненавижу ее! Ненавижу!

Залившись слезами, она упала на тахту. Оскар Мальвуазен бросился в кухню за водой.

Когда он вернулся, мольберт был пуст.

Полотно догорало в камине. Люсьенна, выпрямившись, застыла у огня, не сводя с него глаз.

– Портрет! – закричал он. – Что ты сделала, несчастная?

Тогда она повернула к нему свое старческое изможденное лицо.

– Ты не должен сердиться на меня за это! – сказала она.

Сын Неба

Анатоль Филатр был печальным мужчиной лет сорока. Бледное, не очень красивое его лицо портил грубо посаженный нос. Глаза у него были круглые и ласковые, как у волнистых попугайчиков. Тонкие усики Анатоль Филатр подстригал в виде фигурных скобок, на китайский манер, за что его и прозвали Сыном Неба.

Он был образцовым мужем и отцом, осознающим свои семейные обязанности. Перебивался он случайными мизерными заработками, в основном выполняя тяжелую, низкооплачиваемую работу. Изможденный, нелюдимый, он изо дня в день в поте чела своего добывал кое-какую еду для своей слабой малышни. Какой работы он только не переделал: рекламировал зонтики, продавал на улице трехцветные авторучки, был и ночным сторожем в универмаге, и статистом в фильмах, которые снимались на плохоньких пригородных киностудиях. Эти съемки я были самым щедрым источником его прибылей. Анатоль Филатр любил очарование декораций и экзотических костюмов, он любил быть рядом со звездами экрана, любил изысканный вкус помады на губах и сладостную усталость, когда в переполненном вагоне метро возвращался домой после съемок вместе со «своим братом-киноартистом». В кино он последовательно играл роли то солидного молчаливого гостя какого-нибудь латиноамериканского посольства, то посетителя прокуренного Гаврского кабачка, или волжского лодочника, горластого и ободранного, или даже евнуха в каком-то восточном гареме с бассейнами, в которых плещутся голые гурии. Но кого бы он не играл – министра, нищего, русского мужика или евнуха, – он всегда прежде всего походил на степенного отца большого семейства. Именно из-за этой неизменной внешности ему и не поручали каких-то более значительных ролей.

Такое положение неудачника особенно угнетало его, так как его старшему брату, не умнее и не хитрее его, странным образом повезло.

Филатр-старший, холостяк, астматик, возглавлял фирму молочных продуктов «Мечтательная телка», поставлявшую молоко, масло и сладкие сырки более чем в сорок департаментов Франции. Филатр-старший мог бы, конечно, подыскать для несчастного Анатоля место хотя бы уполномоченного по торговле, но около пятнадцати лет назад братья повздорили из-за собаки, которую один брат оставил другому, а тот не уберег, и пес погиб под колесами автоцистерны. После этой размолвки Филатр-старший категорически отказался видеть у себя Анатоля, а тот в свою очередь сурово запретил родным покупать продукты «Мечтательной телки».

Конечно, Сын Неба раскаивался в этой глупой размолвке с братом, которая закрыла ему дорогу в фирму. Главным образом это случалось тогда, когда он оставался без работы. Но Анатоль был горд и не хотел первым идти на мировую.

– Подумай о будущем своих детей! – иногда кричала ему мадам Филатр.

– Я пекусь об их чести, – отвечал Анатоль.

– У нас больше нет ни вина, ни сахара. . .

– Зато у нас чистая совесть.

Анатоль Филатр уже заранее готовился к подобному трогательному разговору как-то осенью, в ноябре, дождливым вечером, возвращаясь домой, где его ждала разъяренная жена и четверо плаксивых малышей. Тот день выдался для него особенно хмурым. И на киностудии в Жуанвиле, и в компании Коль, специализировавшейся на выпуске подтяжек, и в фирме Флекс по изготовлению различных вентиляторов отказались от его услуг.

Это ряд неудач угнетал Сына Неба еще и потому, что у него осталось всего десять франков и пятьдесят сантимов, а Объединение электроэнергетической промышленности Франции давно уже грозилось отключить ему электричество за неуплату. Однако утром, выпив чашечку кофе и уже уходя из дому, он уверил жену:

– Можешь положиться на меня, Матильда. Сегодня вечером деньги будут.

Настал вечер. А в кошельке Анатоля Филатра все так же пусто. Хуже того, за день он еще и истратил четыре франка пять сантимов.

– Хватит! – стонал Анатоль Филатр. – Всему конец!

Казалось, само небо сочувствует его несчастью. Мелкий дождик сеялся в желтом свете уличных фонарей. Витрины магазинов плакали крохотными дождевыми капельками над никому не нужными товарами. Вдоль мрачных фасадов домов, будто крысы из канализации, пробегали мокрые от дождя прохожие.

Чтобы немного передохнуть, Анатоль остановился перед похоронной конторой, владельцем которой был Пилат, его бывший одноклассник по лицею Пуарье.

Пилат по привычке стоял на пороге, наглый и пузатый, как дворник доходного дома.

Чтобы придать себе более солидный вид, он нахмурил брови, и от этого нос его казался странно крохотным и смешным. Черная, жесткая, блестящая, словно наваксованная, борода казалась натянутой на подбородок, как ботинок.

– Эй, Анатоль Филатр! Много сегодня заработали? – окликнул его Пилат, пренебрежительно обращавшийся к Сыну Небо исключительно на «вы», и, здороваясь, протягивал ему только три пальца.

– Да что там! Совсем мало! – вздохнул Сын Неба.

И, холодея от отвращения, он поднял глаза на этого человека, богатеющего и жиреющего от торговли гробами. Анатоль Филатр, по натуре своей весьма впечатлительный, не мог привыкнуть к тому, что этот бородатый гробовщик был когда-то его школьным приятелем, шустрым и вороватым мальчишкой, с которым они вместе, присев над ручейком, играли в шарики или в «плывущий плевок».

– А ваш брат, господин Филатр, все еще жиреет на молоке?

– Да.

– А вот пирожные со взбитыми сливками не для вас, ха-ха! Жаль, жаль. . .

Анатоль Филатр склонил голову и увидел темную лужу воды, которая образовалась у его ног. Он не осмеливался сразу же попрощаться с таким важным человеком, как господин Пилат, а тот в свою очередь никак не торопился прекратить разговор.

– А дождик не прекращается, – заметил Пилат. – Заходите, немного погреетесь у меня в конторе.

Анатоль Филатр боязливо вошел в похоронную контору и сел в предложенное кресло.

Но прикоснувшись к мягкой коже сидения, он немедленно вспомнил о заплаканных вдовах и бедных сиротах, сидевших на этом месте, и весь сжался.

В конторе у господина Пилата каждый мог обратить внимание на суровую скромность и чистоту. Прямоугольный стол таких размеров, как могильная плита, под стенами витрины с уменьшенными образцами лакированных гробов, мастерски воссозданных до малейших деталей, стеллажи с образцами медных ручек для гробов и обивки. Увеличенные фотографии роскошных похорон: плюмажи, кони в темных попонах, покровы на гроб, обшитые золотыми кисточками. Господин Пилат выделялся на фоне этих печальных и мрачных вещей своим здоровым и самодовольным видом. Он удовлетворенно потер руки и грубым голосом сказал:

– А вот я, друг мой, не жалуюсь. Дела идут очень хорошо. Только позавчера трое похорон по первому разряду. А сегодня двое. .

– Прекрасно! – смешавшись, вставил Анатоль Филатр.

– Прекрасно?! Да это еще как сказать! Похоронной конторе, как и всякому другому учреждению, нужна клиентура. Вот взять хотя бы контору моего конкурента напротив, Муя. Он же неделями сидит без работы! А почему – можете сказать?

– Действительно, почему? – спросил Анатоль Филатр, которого это совсем не интересовало, но он твердо решил быть как можно более вежливым.

– Да очень просто. Он живет сегодняшним днем. Он обслуживает только тех покойников, о которых его просят, простите за выражение. . .

– А вы сами. . .

– О! Я готовлю почву заранее. Я намечаю себе клиентов. Начинаю их обхаживать. Привязываю к себе. Приманиваю к своему учреждению. Закрепляю исключительно за собой. И в определенное время плачущие родственники узнают из завещания, что покойный господин такой-то доверил выполнить похоронный ритуал конторе Пилата. Это целая дипломатия, милый мой. Все это требует умения, гибкости, изобретательности, фантазии. . .

– Гениальности. . .

– Да, действительно, гениальности. . . Постойте, если бы вы были богаты, я пригласил бы вас в воскресенье к себе, мы бы сыграли в карты, я бы с вами шутил, а потом незаметно перешел бы к серьезным вопросам, я бы говорил с вами о недолговечности человеческой жизни, о своей смерти, о вашей смерти, потихоньку я вырвал бы у вас принципиальное согласие. . . но, к сожалению, вы небогаты!

Он громко захохотал.

– Да, я небогат, – сказал Анатоль Филатр, отводя взгляд. – Я небогат. И не могу вас интересовать. . .

На это Пилат ничего не ответил и поднес свою странно белую руку к бороде цвета черного дерева. Растопырив пальцы, он гладил кончик бороды, щупал его, расчесывал, влюбленно взвешивал на ладони. Из-под нахмуренных бровей его взгляд цепко прощупывал несчастного Анатоля, оценивая его рост и объем. Его ноздри раздувались, он что-то тщательно обдумывал.

Чувствовалось, что какая-то навязчивая мысль крутилась у него в голове.

– Я не могу вас интересовать, – повторил дрожащим голосом Анатоль Филатр.

– А вот и можете, – вскричал Пилат.

И он победоносно стукнул рукой по письменному столу. Анатоль Филатр подскочил и снова сжался в своем кресле.

– Да, можете, – повторил Пилат. – Вы меня интересуете как раз такой, какой вы есть: слабый, бедный, без будущего.

– Но чем? – пролепетал Сын Неба.

– Тем, что за вашей жалкой фигурой я вижу безбрежные молочные реки, высокие горы масла, целые кучи сладких сырков, бесконечные редуты из головок сыра. . .

– Я не понимаю. . .

– У вас есть брат. . . «Мечтательная телка». . .

– Ну и что? Я же с ним навсегда поссорился!

– Навсегда, то есть до вашей смерти: именно это я и хотел от вас услышать. А после смерти?

– После смерти?

– Да после вашей смерти в сердце вашего брата уже не будет гнева на вас, и он не откажется исполнить вашу последнюю волю.

– Конечно нет. . . В конце концов, он не такой уж и плохой человек. . .

– Тогда по рукам? Вы собственноручно на гербовой глянцевой бумаге напишите всего одну короткую фразу: «Я прощаю моему брату причиненную им мне большую обиду при условии, что он закажет мне похороны по первому разряду в похоронной конторе Пилата»! Вот и все!

Затаив дыхание, Анатоль Филатр с изумлением смотрел на собеседника:

– Но. . . но. . . – пробормотал он, – я не вижу никакой выгоды из этой комедии. . .

– Вы рассуждаете по-детски! – сказал Пилат. – Выгода двойная. Для меня – еще одни похороны по первому разряду в актив конторы. . . Для вас. . .

– Ну да же. . .

– Для вас тоже! Об этом не так уж трудно догадаться. . .

И на глазах ошарашенного собеседника Пилат вытащил из кармана пять банкнот по сто франков и разложил их веером на столе.

– Нет, так не годится, – вздохнул Анатоль Филатр я сглотнул слюну.

Пилат посмотрел на него с презрением.

– Разве это будет честно по отношению к брату? – снова сказал Анатоль Филатр.

– Он ничего не будет знать о нашем соглашении.

– Хорошо. Но я не думаю, что смог бы при таких обстоятельствах. . .

Однако, произнося эти слова, он внезапно представил себе, как вернется домой, как униженно будет рассказывать Матильде о своих неудачах, словно наяву увидел раздраженное лицо жены, услышал визг голодных малышей, заметил даже счет от бакалейщика, специально положенный на самом видном месте около его тарелки. Эта картина заставила умолкнуть угрызения совести.

– Может, вы бы все же предупредили моего брата о нашем соглашении, – сказал он.

– Пустое! Вы хотите, чтобы он мне устроил скандал и просто-напросто потребовал порвать эту бумагу? Живым не прощают то, что прощают мертвым.

Анатоль Филатр не мог устоять перед искушением. В его душе шла жестокая борьба между совестью честного человека и инстинктом отца большой семьи. Его терзало множество различных желаний, и он хотел бы умереть на месте.

С омерзительным цинизмом и спокойствием Пилат собрал со стола банкноты и помахал ими под самым носом у бедняги.

– А сколько за эти деньги можно купить, Филатр! Вы об этом подумали?

Анатоль Филатр почувствовал, как к горлу подступает тошнота.

– Давайте, – сказал он, – я согласен.

И схватив банкноты, он спешно засунул их в карман.

– Вот бумага и ручка, – сказал Пилат, любезно улыбаясь. – Сейчас мы закрепим на бумаге наш небольшой посмертный залог. Вы напишите завещание, о котором я вам говорил, и положите его в свой бумажник, так, чтобы его нашли. . . хм. . . в нужный момент. Конечно, второй экземпляр я оставлю у себя. Итак, пишите: «Я прощаю своему брату. . . »

Ссутулившись и склонив голову, Анатоль Филатр начал писать под диктовку Пилата, словно школяр, повторяя каждое слово:

– «Я. . . про. . . ща. . . ю мо. . . е. . . му бра. . . ту. . . »

Время от времени он останавливался, тяжело вздыхал и ворчал:

– И все-таки. . . и все-таки. . .

Осторожно, словно начинающий вор, отпер Анатоль Филатр дверь своей скромной квартиры.

– А, наконец! – послышался резкий женский голос. – Уже восьмой час, и лапша остыла!

– Да, это правда, – согласился Филатр, – но я даром время не терял.

И он чмокнул в лоб свою Матильду, бледную, совершенно истощенную женщину, голову которой, казалось, долго вымачивали в уксусе. Все четверо хилых, сопливых и невыносимо визгливых малышей толклись вокруг них.

– У нас нет ни сыра, ни вина, ни. . .

– Не стоит терять надежду, Матильда, когда тебе посчастливилось быть женой Анатоля Филатра.

– Да знаю я эту песенку!

– А может, и не знаешь, может, и не знаешь! – весело дразнил ее Анатоль Филатр. Но он знал, что в самой глубине души его притаилась неизбывная тоска. Медленно и торжественно, будто фокусник, он достал из бумажника пять банкнот по сто франков и положил их стол.

– Мой дневной заработок, – объяснил он.

– Ну и прекрасно, – воскликнула Матильда, – Филипп, беги-ка купи вина! Огюст купит хлеба. Тереза – ветчины. Мартина. . .

Через десять минут все заказанные продукты были на столе, и семья, весело звеня вилками и чавкая, начала ужинать.

Сын Неба смотрел на тарелки с едой, на полные стаканы и думал, что за эту семейную трапезу заплатил ценой собственной жизни. Действительно, этот хлеб, сыр, вино, ветчина –

это он сам, его собственное, принесенное в жертву тело. С каждым куском ему казалось, что зубы впиваются в его тело.

– Ешьте, мои маленькие, пейте мои хорошие, – приговаривал он, с трудом сдерживая слезы.

– А ты сам почему не ешь? – рассердилась Матильда. – Тебя еще нужно упрашивать?

Анатоль Филатр поднес ко рту кусочек хлеба, но от омерзения ему свело челюсти, будто он собирался совершить что-то противоестественное.

С этого дня для Анатоля Филатра началась беспокойная жизнь. Теперь он смог взять напрокат смокинг для роли «элегантного статиста» и уже целую неделю снимался в сценах монмартрских ночных кабаре в стиле 1925 года. Но каждый вечер, возвращаясь со съемок, он проходил мимо похоронного бюро. А Пилат, стоя на пороге своего заведения, уже поджидал его с неприлично жадным выражением лица.

Стоило Анатолю Филатру поравняться с конторой, как Пилат, еще более надменный, еще более красный, еще более бородатый и еще более пузатый, чем обычно, улыбался ему всей своей щетиной и говорил:

– Ну и как вы себя чувствуете, Филатр?

Если бы это был кто-то другой, то фраза эта звучала бы, как простое изъявление вежливости. Но в устах Пилата она приобретала иное значение: в ней слышался мрачный намек, призыв к порядку, напоминание о том, что Анатоль Филатр больше себе не принадлежит, она звучала, как хозяйский окрик. «Как вы себя чувствуете» – должно было означать: «Скоро ли вы умрете, чтобы я смог вернуть свои пятьсот франков?» Анатоль Филатр стыдливо опускал голову и сухо покашливал.

– Вроде ничего, – жаловался он. – Да вот в горле все время дерет. . . и в конечностях в последнее время покалывает. . .

– Пока человек чувствует свои конечности, это еще не конец, – замечал Пилат.

Анатоль Филатр, полностью удрученный этим язвительным замечанием, пожимал три коротких и вялых пальца, которые ему протягивал Пилат, и, опустив голову, с чувством собственной вины, шел дальше. На следующий день мучения повторялись в то же время, на том же месте и при тех же обстоятельствах .

Сын Неба чувствовал себя честным должником, который не может выполнить свое обязательство. Он выдал чек без обеспечения. Он заложил собственную смерть, а она никак не приходит. С каждой встречей ему казалось, что заинтересованность Пилата перерастает в нетерпение. Пилата

возмущала его медлительность, хилый вид и жалобы. Пилат требовал, чтобы с ним рассчитались в ближайшее время. Пилат, человек прямой в делах, не терпел, чтобы его обманывали. Напрасно Анатоль Филатр исхищрялся во все новых и новых извинениях.

– Господин Пилат, я харкаю кровью, что это может значить? – спрашивал он.

Или же:

– А это опасно, когда кровяное давление двести восемьдесят?

Или такое:

– Что бы вы делали, если бы вы задыхались, у вас останавливалось сердце, отнима. . .

На что Пилат отвечал:

– Я, конечно, лечился бы. А вы – другое дело.

Анатоль Филатр, съежившись, семенил от него старческими шажками, словно за ним по пятам гналась целая стая судебных исполнителей. Ах! Если бы у него были эти проклятые пятьсот франков, он бы с радостью вернул их Пилату!

Но, конечно же, их у него не было.

Он утратил всякую надежду, желание жить и с удивлением заметил, что говорит о себе в прошедшем времени.

На Новый год он получил открытку от своего мучителя. На пышно оформленной визитной карточке была всего одна фраза: «Господин Пилат напоминает о себе господину Анатолю Филатру и шлет ему привет».

Это было уже слишком. Пилат преследовал его и дома. Пилат рвался в плотно закрытую дверь его семейного уюта. Пилат писал ему черным по белому, что ему надоело ждать и что ему как можно скорее нужна шкура Анатоля Филатра. И это чудовище имеет на это право!

Ведь Анатоль Филатр продал ему себя. Анатоль Филатр больше не человек. Он стал товаром, предметом торговых сделок. А как же душа? Его личные качества, уголок искры Божьей? Со всем этим покончено. Такой-то вес, такой-то рост, столько-то сантиметров на столько-то!

Анатоль Филатр сунул карточку в карман и обхватил голову руками:

– Кто это тебе написал? – поинтересовалась Матильда.

– Один. . . один однополчанин. . . Ты его не знаешь. . .

У него кружилась голова. Под предлогом головной боли он рано лег спать. Но целую ночь не мог сомкнуть глаз. Ему не давала покоя мысль о подлости, которую он совершил. Он любой ценой должен заболеть и умереть. Сцепив зубы, он отыскивал в себе симптомы спасительной болезни. До четырех часов утра он выявил пронзительный звон в ушах, невыносимую горечь во рту, резкую боль в животе и зловещие спазмы сердца. Он заснул, подбодренный уверенностью, что наконец наступила агония. Ему приснился Пилат в черных перчатках, который со слезами на глазах склонился над кроватью, целуя его. Толстяк щекотал его своей буйной бородой и приговаривал, всхлипывая:

– Я вас глубоко уважаю, Анатоль Филатр. Я вас глубоко уважаю. . .

Сердце Анатоля Филатра преисполнилось радостью, и он пролепетал: 206 Анри Труайя Сын Неба – Довольно, господин Пилат, если я уже пообещал, так слово сдержу. . .

Потом какой-то господин в цилиндре нацепил на впалую грудь Анатоля золотой крестик, усыпанный бриллиантами.

– Матильда, – вскричал Анатоль Филатр, – меня наградили!

Он проснулся от того, что жена тормошила его за плечо.

Господи! Раскрыв глаза, он сейчас же понял, что все его надежды развеялись. Все его недуги исчезли вместе с последними снами. Он снова почувствовал себя легко и бодро; живот больше не болел, ноги легки, во рту приятная свежесть от миндальной зубной пасты.

– Какой я все-таки негодяй! – выругался он, с ненавистью глядя на себя в зеркало.

Потом он пошел на работу, так как был не менее пунктуален, чем совестлив. В тот день он снимался в сцене, действие которой происходило на улице, искусно сделанной из папьемаше. Равнодушные прохожие ходили по тротуару навстречу друг другу. Филатр тоже играл прохожего и изо всех сил старался придать себе отсутствующий вид.

В определенный момент прохожие должны внезапно услышать выстрел и все вместе броситься к окну первого этажа: в комнате некий юноша покончил жизнь самоубийством.

– Прохожие, по местам, – скомандовал режиссер. – Повторяем сцену в пятый раз.

На шестой пробе Анатоль Филатр понял волю провидения.

– Вы, консьержка, больше чувства, – объяснял постановщик какой-то женщине, – когда будете говорить: «Несчастный, он застрелился! Он сам пошел навстречу смерти, так как она не шла к нему!» – это самое главное! Самое главное!

«Он сам пошел навстречу смерти, так как она не шла к нему», – эту фразу Анатоль Филатр повторял целый день.

После студии он зашел в аптеку и купил крысиного яда. Положив пакетик в карман, он почувствовал, что теперь поквитается с Богом и Пилатом. Теперь у него есть чем расплатиться за долг. Теперь он может идти с высоко поднятой головой. В метро ему показалось, что люди поражены его умным и спокойным видом.

С каким достоинством он пройдет перед Пилатом!

«Завтра я верну вам долг, господин Пилат», – скажет он.

И пойдет себе дальше, больше ничего не объясняя этому зловещему и ошеломленному толстяку.

Поезд метро со скрежетом остановился. Толпа вынесла Анатоля Филатра из переполненного вагона, и он взбежал наверх по лестнице, обклеенной разноцветными афишами.

Фу! Вот и тротуар: свежий воздух! Он твердым шагом ступил на асфальт. За сто пятьдесят метров от него виднелся окрашенный в черный и зеленый цвета фасад конторы Пилата. Но самого Пилата почему-то не видно на обычном месте. Наверное, он сейчас выйдет. Если он не выйдет, Анатоль Филатр сам зайдет в контору и крикнет ему роковую фразу: «Завтра я верну вам долг, господин Пилат. . . » Эту фразу он все время повторял про себя, смакуя ее с наслаждением.

Еще несколько шагов, и Анатоль Филатр поравняется с дверью похоронного бюро Пилата.

Но почему там не горит свет? Почему шторы спущены? Обеспокоенный всем этим, Сын Неба ускорил шаг, подошел к конторе, остановился перед ней и дрожащей рукой снял засаленную шляпу. На двери похоронной конторы висит объявление, обведенное двойной черной рамкой:

«Закрыто в связи со смертью».

Анатоль Филатр ошеломленно вытаращил глаза, сам себе не веря, подошел ближе к двери.

Нет, он не ошибся:

«Закрыто в связи со смертью».

Черные траурные буквы четко выделяются на белом фоне бумаги: «Закрыто в связи со смертью».

Анатоль Филатр стремглав бросился к чуланчику консьержки.

– Чьей смертью? – закричал он. – Кто умер?

Из темного склепа, из множества подушечек и вязанных салфеток до него донесся торжественный голос:

– Господин Пилат. От закупорки вен.

От этой новости у Анатоля Филатра все поплыло перед глазами.

Умер тот, кто взял себе смерть в соучастники. Умер тот, кто наживался на смерти. Теперь сам Пилат только клиент Пилата, Еще минут пятнадцать Сын Неба разглядывал объявление на двери конторы Пилата. А потом заинтересовавшаяся консьержка увидела, как он почесал в затылке, медленно перешел на другую сторону улицы и пошел к похоронной конторе Муя, соблазнительные витрины которой, разукрашенные свидетельствами о смерти и фотографиями, выходили прямо на тротуар.

Анатоль Филатр толкнул дверь конторы и подошел к сутулому черноволосому мужчине, сидевшему за покрытым зеленым сукном столом.

– Мсье, – сказал он, – я брат Филатра-старшего, владельца «Мечтательной телки». Мне пришла в голову одна мысль, мы оба могли бы иметь выгоду. Вот послушайте. . .

О книге

Книга подготовлена пользователями библиотеки . Читайте или скачивайте эту и другие книги на сайте библиотеки бесплатно и без регистрации.

Адрес публикации: